Уинстон Черчилль

МОИ РАННИЕ ГОДЫ 1874–1904

{ ПЕРСОНА
Биографии, автобиографии, мемуары }

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В этой книге Уинстон Черчилль вспоминает свое детство, школьные годы, свою службу в гусарском полку, участие в боевых действиях на Кубе, на индийской границе и в Египте, свои корреспондентские подвиги во время Англо-бурской войны, пленение и побег из плена, а также свое вступление в политику в качестве члена парламента. «Мои ранние годы» не только позволяют читателям проследить за формированием великой личности, но и, как пишет сам Черчилль, рисуют панорамную картину ушедшей эпохи. При этом читаются они как самый захватывающий авантюрный роман.

- Уинстон Черчилль
  -
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
  - Глава 11
  - Глава 12
  - Глава 13
  - Глава 14
  - Глава 15
  - Глава 16
  - Глава 17
  - Глава 18
  - Глава 19
  - Глава 20
  - Глава 21
  - Глава 22
  - Глава 23
  - Глава 24
  - Глава 25
  - Глава 26
  - Глава 27
  - Глава 28

    - Глава 29
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31
    - 32
    - 33
    - 34
    - 35
    - 36
    - 37
    - 38
    - 39
    - 40
    - 41
    - 42

- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56

Уинстон Черчилль
Мои ранние годы. 1874–1904

Редакция издательства «КоЛибри» посвящает эту книгу памяти
замечательного переводчика и человека Владимира Александровича Харитонова

Кто не слышал об Уинстоне Черчилле? Провидец, историк, премьер-министр Великобритании в 1940–1945 и 1951–1955 годах, ярый противник нацистской Германии, он был одной из величайших фигур XX века. Помимо всего прочего Черчилль обладал незаурядным литературным талантом, отмеченным в 1953 году Нобелевской премией. Этот талант со всей яркостью проявился в написанной им автобиографии «Мои ранние годы. 1874–1904», не только позволяющей читателям проследить за формированием грандиозной личности, но и, как пишет сам Черчилль, рисующей панорамную картину ушедшей эпохи.

Если вы хотите до конца понять Уинстона Черчилля, обязательно прочтите «Мои ранние годы». В них нашли отражение поразительные (как определил их сам Черчилль) первые тридцать лет жизни одного из самых противоречивых и неотразимых лидеров XX века.

Глава 1
Детство

Когда начинается память? Когда зарницы и сумерки пробуждающегося сознания отпечатываются в младенческом уме? Мои самые ранние воспоминания — это Ирландия. Я хорошо помню места и события в Ирландии, и даже, хотя смутно, людей. Между тем я родился 30 ноября 1874 года, а уехал из Ирландии в начале 1879-го. Мой отец приехал в Ирландию секретарем к своему отцу, герцогу Мальборо, которого Дизраэли назначил туда лордом-наместником в 1876-м. Мы жили в так называемом Охотничьем домике, откуда было рукой подать до вице-королевской резиденции. Здесь прошли почти три моих младенческих года. Ясно и живо помню некоторые тогдашние события. Помню, как дед, вице-король, открывает в 1878-м памятник лорду Гофу. Огромная темная толпа, конные солдаты в ярко-красном, веревки, тянущие вниз блестящее бурое полотно, голос моего грозного дедушки-герцога, гремящий над толпой. Я даже помню слова: «и убийственным залпом разметал вражеский строй». Я понимал, что речь идет о войне, о сражении и что «залп» — это тот сопровождаемый буханьем трюк, который часто проделывали солдаты в темных мундирах (стрелки) в Феникс-парке, куда меня водили на утреннюю прогулку. Думаю, это мое первое связное воспоминание.

Другие воспоминания встают отчетливее. Мы собираемся на детское представление. По этому случаю все возбуждены. Настает долгожданный день. Из резиденции мы трогаемся к Замку, где заберем остальную ребятню. Большой квадрат внутреннего двора вымощен брусчаткой. Льет дождь. Дождь лил там почти не переставая — льет и сейчас. Вдруг из дверей Замка в панике повалил народ. Потом нам сказали, что никакого представления не будет, поскольку театр взорвали. От директора осталась только связка ключей. В утешение нам обещали назавтра показать руины. Мне очень хотелось увидеть эти ключи, но моей просьбе почему-то не вняли.

В те же годы мы наведались в Эмо-парк, имение лорда Портарлингтона, которого мне представили как какого-то там дядю. Я очень ясно вижу это место, хотя было мне четыре или четыре с половиной года и с тех пор я туда не заглядывал. Первой в памяти встает высокая белокаменная башня, до которой мы порядочно долго добирались. Мне сказали, что ее взрывал Оливер Кромвель. Я усвоил, что он взрывал все что ни попадя и потому

был очень великий человек.

Моя нянюшка, миссис Эверест, ужасно боялась фениев. У меня сложилось впечатление, что фении скверные люди и способны на все, дай им только волю. Как-то раз трусил я на своем ослике, и вдруг глядим — навстречу нам движется угрюмая колонна фениев. Сейчас-то я уверен, что это была стрелковая команда на марше. Но мы все до смерти перепугались, особенно ослик: он со страху взбрыкнул и сбросил меня на землю. Я получил сотрясение мозга. Таким было мое первое знакомство с ирландским вопросом.

В Феникс-парке была раскинувшаяся широким кругом роща, и в глубине ее стоял дом. В доме жил важный господин, не то главный секретарь, не то его помощник — не знаю точно. Как бы там ни было, из этого дома выходил человек, звавшийся мистером Берком. Он подарил мне барабан. Не помню, как Берк выглядел, а барабан помню. Два года спустя, когда мы вернулись в Англию, я узнал, что его убили фении — в том самом Феникс-парке, где мы каждый день гуляли. Все вокруг страшно сокрушались, а я подумал: какая удача, что фении не сграбастали меня, когда я свалился с ослика.

Именно в Охотничьем домике мне впервые явило свой грозный оскал Образование. Ожидалось прибытие жуткой особы, именуемой гувернанткой. День ее приезда был назначен. Готовясь к этому событию, миссис Эверест достала книгу «Чтение без слез». В моем случае название, конечно, не оправдало себя. Мне внушили, что к приезду гувернантки я должен читать, не обливаясь слезами. Мы трудились каждый день. Нянька пером показывала буквы. Это была мука мученическая. Муштра еще далеко не завершилась, а уж грянул роковой час встречи с гувернанткой. Я сделал то, что обычно делают затравленные люди: ушел в кусты. То есть забился в окружавшую Охотничий домик кустарниковую чащу, казавшуюся мне лесом. Прошли часы, прежде чем меня отыскали и сдали гувернантке. Опять мы бились каждый день, и уже не только над буквами, но и над словами и, что еще гаже, — над цифрами. Буквы требовалось всего-навсего заучить, и, когда они складывались определенным образом, можно было распознать в их сочетании определенный звук или слово и, если уж сильно пристанут, — произнести его вслух. А цифры вступали между собой в очень запутанные отношения и проделывали друг с другом такое, чего с точностью никогда не угадаешь. Я должен был говорить, что именно они каждый раз вытворяют, причем гувернантка неизменно настаивала на точности ответа. Если он не был правильным, он был неправильным. «Почти правильный» не годился. Иногда

цифры одалживались друг у друга: нужно было взять, или занять, цифру, а потом вернуть что брал. Все эти сложности бросали упорно сгущающуюся тень на мою повседневную жизнь. Они отвлекали от интереснейших вещей, манивших в детскую или в сад. Они все настойчивее посягали на свободное время. С трудом удавалось выкроить минуту, чтобы заняться чем хочется. Они стали предметом непреходящей тревоги и озабоченности. И положение еще усугубилось, когда мы ступили в зловещую трясину под названием «задачи». Им не предвиделось конца. Решалась одна, а наготове уже другая. Только я приноровлюсь к одной напасти, как на меня сваливают что-нибудь в ином роде — и похитрее.

К этой пытке моя мать не имела отношения, но давала понять, что одобряет принимаемые меры, и почти всегда брала сторону гувернантки. Я вижу ее в Ирландии в плотно облегающей амазонке, частенько картинно запятнанной грязью. Они с отцом постоянно охотились на своих конях-великанах, и случалось, в доме начинался переполох, когда много часов кто-нибудь из них не возвращался.

Мать всегда казалась мне сказочной принцессой — лучезарным существом, всемогущей владычицей несметных богатств. Лорд Дабернон оставил ее портрет той ирландской поры, и я признателен ему за эти слова:

> «Отчетливо помню, как впервые увидел ее. Это было в доме вице-короля в Дублине. Она стояла сбоку, слева от входа. В дальнем конце залы на возвышении красовался вице-король в окружении блистательной свиты, но не он и не его супруга были тем магнитом, что приковывал к себе взгляды, а обрисованная чернотой, чуть обособленная гибкая фигура, словно сотканная из другой, чем все мы, материи — сверкающей, летящей, ослепительной. В волосах любимое украшение — бриллиантовая звезда, чей блеск затмевается победительным сиянием глаз. Обликом скорее пантера, нежели женщина, только с развитым интеллектом, какого не сыскать в джунглях. Мужеством она не уступит супругу — подходящая мать потомкам великого герцога. При этих блистательных качествах в ней столько доброты и живости нрава, что она снискала всеобщее расположение. Ее любезность, жизнелюбие и идущее от сердца стремление всех заразить радостной верой в жизнь сделали ее центром кружка верноподданных».

И таким же блистанием она была окружена в моих детских

глазах. Она светила мне, как вечерняя звезда. Я нежно любил ее — правда, издали. Моей наперсницей была няня. Миссис Эверест ходила за мной и всячески баловала меня. С ней я делился многими своими печалями и тогда, и в школьные годы. До меня она двенадцать лет пестовала девочку Эллу, дочь камберлендского священника. Все мое детство прошло под знаком «Эллоньки», хотя я ее в глаза не видел. Я все про нее знал: что она любит есть, как молится, когда капризничает и когда ведет себя примерно. Я живо представлял себе ее дом на севере. Заодно мне привили горячую любовь к графству Кент. Кент, говорила миссис Эверест, — «это Сад Англии». Она родилась в Чатеме и безмерно гордилась Кентом. Ни одно другое графство не могло сравниться с Кентом, как никакая другая страна — с Англией. Ирландия, например, никуда не годилась. После того как миссис Эверест сподобилась покатать меня в коляске по «Шамз Элизье» (так у нее это звучало), она и Францию не ставила ни во что. Жить нужно в Кенте. Главный город — Мейдстоун, вокруг земляника, вишня, малина, слива. Прелесть! Я всегда хотел жить в Кенте.

Я навестил Охотничий домик зимой 1900-го, приехав в Дублин с лекциями о бурской войне. Я хорошо помнил, что это было длинное приземистое строение белого цвета с зелеными ставнями и террасами, с газоном вокруг — чуть не с Трафальгарскую площадь — в кольце дремучего леса. Где-то на расстоянии мили от вице-королевской резиденции, думал я. Побывав там снова, я поразился тому, что газон имеет всего шестьдесят ярдов в поперечнике, что обступавший его лес — не более чем кустарник и что путь от резиденции вице-короля, где я остановился, занял у меня минуту.

Следующая веха в моих воспоминаниях — Вентнор. Он мне нравился. В Вентноре жила сестра миссис Эверест. Ее муж почти тридцать лет прослужил тюремным надзирателем. Тогда и в позднейшие мои наезды он совершал со мной долгие прогулки по горам или на оползень. Он рассказал мне много историй про тюремные бунты и про то, как его несколько раз калечили заключенные. Когда я впервые приехал в Вентнор, мы воевали с зулусами. В газетах печатались картинки, изображавшие этих зулусов. Черные и голые, они очень ловко бросали свои копья — ассагаи. Зулусы перебили множество наших солдат, но по картинкам получалось, что перебили они все же меньше, чем мы их. Я злился на зулусов и радовался тому, что их продолжают убивать, как и мой друг, старый тюремный надзиратель. Через какое-то время их всех, похоже, поубивали, потому что та война окончилась, зулусов больше в газетах не изображали, и о них

даже думать забыли.

Однажды мы поднялись на утесы вблизи Вентнора и увидели проходивший в миле-другой от берега большой красивый корабль под парусами. «Это транспорт, — сказал кто-то, — ребят с войны везут». А может, он шел из Индии, не помню[1]. Вдруг надвинулись черные тучи, задул ветер, закапал дождь, предваряя шторм, и мы едва успели сухими добраться домой. Когда я в следующий раз залез на эти утесы, красивого корабля с распущенными парусами уже не было, а были три мачты, оцепенело торчавшие из воды. Судно называлось «Эвридика». В ту самую бурю оно опрокинулось и пошло ко дну с тремя сотнями солдат на борту. Ныряльщики поднимали наверх трупы. Я слышал, и это врезалось мне в мозг, что некоторые из них теряли от ужаса сознание при виде пожираемых рыбами тел несчастных утопленников, погибших почти дома после всех перенесенных ими тягот и смертоносных схваток с дикарями. По-моему, я видел, как в солнечный день лодки медленно буксировали к берегу трупы. На утесах собралось много народу, и все мы скорбно обнажили головы.

Примерно в то же время случилось «Несчастье с Тейским мостом». В штормовую погоду мост с шедшим по нему поездом обрушился, и все пассажиры утонули. Думаю, они не смогли вовремя выбраться через вагонные окна. Такое окно нелегко открыть, надо вытягивать на себя длинную лямку, прежде чем оно опустится. Неудивительно, что никто не спасся. Все наши негодовали на правительство, допустившее, чтобы такой мост взял и рухнул. Я винил правительство в крайнем легкомыслии и ничуть не удивлялся, что люди решили голосовать против тех, чье бездействие и наплевательство привело к такому кошмару.

В 1880-м Гладстон стряхнул нас всех с наших постов. Гладстон был очень опасный человек, он будоражил людей, распалял их, и они проголосовали против консерваторов и сместили деда с поста лорда-наместника Ирландии. Эта должность нравилась ему куда меньше прежней — лорда-председателя Тайного совета, — которую он занимал в прежнем правительстве лорда Биконсфилда[2]. Как лорд-наместник он тратил все свои деньги на увеселение ирландцев в Дублине и еще затеял грандиозную подписку в пользу «Фонда голодающих». Ирландцы же, как я себе уяснил, неблагодарный народ, они простое спасибо не сказали ни за увеселения, ни даже за «Фонд голодающих». Герцог охотнее оставался бы в Англии, жил бы себе в Бленхеймском дворце и похаживал на заседания кабинета министров. Но он всегда слушался лорда Биконсфилда. Лорд Биконсфилд был ярым врагом Гладстона, и все звали его Диззи.

На сей раз Диззи уступил Гладстону, нас всех кинуло в оппозицию, и страна стала рушиться на глазах. «Мы летим в тартарары», — твердили вокруг. Вдобавок лорд Биконсфилд тяжело заболел. Он болел долго, и болезнь доконала старика. Я с замиранием сердца следил за ее развитием, потому что только и разговоров было, что о том, как много с его уходом потеряет страна и все мы, ведь никто другой не сможет защитить нас от злокозненных посягательств Гладстона. Конечно, я знал, что лорд Биконсфилд умирает, и вот настал день, когда все разом опечалились, потому что, сетовали они, великому и несравненному государственному мужу, любившему свою страну и бросившему вызов России, разбила сердце неблагодарность радикалов.

Я уже поведал про вторжение в мой мир гувернантки. Теперь же надо мной нависла куда более серьезная угроза. Пришла пора определяться в школу. Мне исполнилось семь лет, и я был, как в своей бестактной манере говорят взрослые, «трудный мальчик». Выяснилось, что мне придется несколько недель кряду жить и делать с учителями уроки в чужом доме. Занятия уже начались, но все равно мне предстояло отбыть там целых семь недель и только потом вернуться домой на Рождество. Многое из того, что я слышал о школе, оставляло малоприятное впечатление, которое, добавлю, только укреплялось уже пережитыми мною испытаниями; однако этот великий перелом в моей жизни кружил мне голову. Пусть будут уроки, зато интересно, что рядом столько других мальчишек, мы подружимся, затеем кучу шалостей. К тому же мне втолковывали, что «школьные годы — самые счастливые в жизни». Некоторые взрослые добавляли, что в их время школы были жуть какими суровыми: сплошная травля, еды никакой, каждое утро «скалываешь лед в кувшине» (в жизни своей такого не видел). Но сейчас все переменилось. Школьная жизнь — одно удовольствие. Мальчикам она нравится. Некоторые мои кузены, внушали мне, с неохотой едут домой на каникулы. Допрошенные мною порознь кузены не подтвердили этого, они только скалили зубы. В общем, я был абсолютно беспомощен. Неудержимые потоки стремительно увлекали меня вперед. Относительно моего отъезда из дома со мною советовались столько же, сколько относительно моего появления на свет божий.

Очень интересно было покупать все для школы. В списке значилось ни много ни мало четырнадцать пар носков. Миссис Эверест сочла это мотовством. Если бережно обращаться, сказала она, то вполне хватит и десяти пар. Но неплохо и про запас иметь, тогда не придется «сидеть с мокрыми ногами», подвергая

себя страшно сказать чему.

Настал роковой день. Мать повезла меня на станцию в экипаже. Она дала мне три монеты по полкроны, которые я уронил на пол кэба, и мы копались в соломе, разыскивая их. Мы только-только успели к поезду. Если бы мы опоздали, наступил бы конец света. Но мы не опоздали, и жизнь продолжилась.

Школа, которую подобрали мне родители, была одной из самых модных и дорогих в стране. Она ориентировалась на Итон и стремилась быть первой среди тех, что готовили к поступлению в прославленный колледж. Короче, это было последнее слово в школьном образовании. В классе всего десять мальчиков; электрическое освещение (редкость тогда); плавательный бассейн; большие футбольное и крикетное поля; две-три экскурсии-«вылазки» в семестр; учителя-магистры в мантиях и академических шапочках; собственная часовня; никаких корзинок с припасами — что надо вам дадут. Мы явились в это заведение в хмурый ноябрьский день. Пили чай с директором, мать завела с ним непринужденную беседу, я же панически боялся плеснуть из чашки и тем самым «плохо начать». Еще угнетала мысль, что я останусь тут совсем один, с чужими людьми, в огромном, неприветливом и опасном месте. Что вы хотите, мне было только семь лет, и я так славно чувствовал себя в детской со своими игрушками. У меня были замечательные игрушки: настоящий паровоз, волшебный фонарь, солдатики числом до тысячи. А теперь будут только уроки. Семь-восемь часовых уроков ежедневно, кроме коротких дней, и вдобавок футбол или крикет.

Когда смолк стук колес увозившего маму экипажа, директор попросил меня сдать карманные деньги. Я выложил свои три монеты, их записали в какую-то книгу и объяснили мне, что время от времени здесь бывает «магазин», торговля всем, чего только пожелаешь, и я смогу выбрать что мне хочется в пределах семи с чем-то пенсов. Потом мы покинули директорскую гостиную и уютную жилую часть дома и перешли в унылые помещения, где обучались и размещались ученики. Меня провели в классную комнату и велели сесть за парту. Другие мальчики были на улице, я один остался с классным наставником. Он достал тонкую буро-зеленую книжицу, полную всяческих слов, написанных разными шрифтами.

— Ты занимался прежде латынью? — спросил он.

— Нет, сэр.

— Это латинская грамматика. — Он открыл ее на залистанной странице. — Выучишь вот это, — он указал на столбик из слов. — Через полчаса вернусь проверить, что ты знаешь.

Теперь представьте себе: хмурый вечер, на сердце кошки скребут, под носом первое склонение.

mensa — стол
mensa — о, стол
mensam — стол
mensae — стола
mensae — столу
mensa — столом, от стола

Что все это значит? Какой в этом смысл? Чушь какая-то. Одно я всегда умел: заучивать наизусть. И посему, одолевая душевную смуту, я затвердил этот акростих, который мне подсунули.

В назначенный срок вернулся наставник.

— Усвоил? — спросил он.

— Думаю, я могу это повторить, сэр, — ответил я и отбарабанил заученное.

Он был настолько доволен, что я осмелился задать вопрос:

— Что это означает, сэр?

— То, что написано. Mensa, стол. Это существительное первого склонения. Всего их пять. Ты освоил единственное число первого склонения.

— А что это означает? — повторил я.

— Mensa означает стол, — ответил он.

— Тогда почему mensa означает еще О, стол? — вязался я. — Что означает О, стол?

— Это звательный падеж, — ответил он.

— Но почему О, стол? — допытывался я в искреннем недоумении.

— Это когда ты обращаешься к столу, взываешь к нему. — И видя, что до меня не доходит, прибавил: — Когда говоришь со столом.

— Но я с ним не говорю! — в изумлении выпалил я.

— Если будешь дерзить, тебя накажут, и поверь, очень строго накажут, — заключил он.

Так я впервые соприкоснулся с классикой, откуда, мне говорили, умнейшие мужи почерпнули много утешительного и полезного.

Упомянутые наставником наказания были воспитанникам Сент-Джеймсской школы гарантированы. По итонскому образцу порка розгами входила важнейшим пунктом в учебный план. Уверен, никакой тогдашний мальчик из Итона, и тем более из Харроу, не отведал столько березовой каши, сколько ее скормил малышам, доверенным его властному попечению, наш директор. Ни в одном исправительном заведении Министерства внутренних

дел столь жестоких наказаний не допустили бы. Из прочитанного мною позже я вынес кое-какие соображения о причинах такой суровости. Два-три раза в месяц всю школу выстраивали в библиотеке, выкликали имена провинившихся, и двое старших мальчиков уводили их в соседнее помещение, где их секли до крови, а мы, трепеща, слушали их вопли. Эту исправительную меру успешно подкрепляли регулярные службы в нашей часовне по всем канонам Высокой Церкви. Миссис Эверест терпеть не могла римского папу. Вот погодите, еще выяснится, говорила она, что это он мутит фениев. Сама она принадлежала к Низкой Церкви, и ее нелюбовь к пышности и обрядности, а особенно крайне неприязненное отношение к понтифику определили мое резкое неприятие этой личности и ритуалов, так или иначе связанных с ним. Поэтому духовная сторона моего тогдашнего образования давала мне мало утешения. Зато от мирской длани я получил сполна.

Как же я ненавидел эту школу, каким мучением обернулись проведенные там два с лишним года. Я мало преуспел на уроках, и с играми ничего не получилось. Я считал дни и часы до окончания семестра, когда вырвусь с этой ненавистной каторги и дома на полу в детской расставлю своих солдатиков в боевом порядке. Истинным наслаждением в те дни было чтение. В девять с половиной лет отец дал мне «Остров сокровищ», и я помню, с каким восторгом я зачитывался им. Учителя числили меня среди отстающих, признавая, что я не по летам развит: я читал взрослые книги, а по успеваемости был последним в классе. Это их очень задевало. В их распоряжении имелось много средств принуждения, но мое упрямство было необоримым. Когда предмет ничего не говорил ни уму ни сердцу, я не мог его учить — и не учил. За все двенадцать школьных лет никому не удалось заставить меня написать латинский стих или выучить что-нибудь из греческого (кроме алфавита). Я вовсе не оправдываю себя в том, что глупо пренебрег возможностями, стоившими немалых денег моим родителям и немалых усилий моим наставникам. Может, познакомься я с древними через их историю и обычаи, а не через грамматику и синтаксис, это дало бы лучшие результаты.

В Сент-Джеймсской школе мое здоровье совсем расстроилось, и после серьезной болезни родители забрали меня оттуда. Наш домашний доктор, знаменитый Робсон Руз, практиковал тогда в Брайтоне. Меня, прослывшего чрезвычайно хилым, сочли желательным передать под его постоянный надзор и в 1883-м перевели в школу в Брайтоне, которую держали две дамы. Школа была меньше той, откуда я ушел. Она была дешевле и не

заносилась. Там я нашел доброту и сочувствие, с которыми не встречался в своих прежних образовательных опытах. Я пробыл там три года и, хотя чуть не помер от двустороннего воспаления легких, очень окреп в тамошнем бодрящем воздухе и приятной обстановке. Мне позволили заниматься чем мне хотелось: французским, историей, заучиванием пропасти стихов, а главное, верховой ездой и плаванием. В сознании встает отрадная картина тех лет, никакого сравнения с ранними школьными воспоминаниями.

Моя приверженность установкам Низкой Церкви, перенятая у миссис Эверест, поставила меня однажды в затруднительное положение. Мы часто ходили на службу в брайтонскую королевскую часовню. Там школа рассаживалась на скамьях, обращенных на север и на юг. Соответственно, когда читался Символ веры, все повернулись лицом на восток. Я же, уверенный, что миссис Эверест узрела бы в этом папизм, счел своим долгом бросить ему вызов. И продолжал стоять, не поворачивая головы. Я сознавал, что это «скандал», и готовился пострадать. Однако мое поведение не обсуждалось. Я почти расстроился и ожидал случая еще раз выразить свои убеждения. Но когда этот случай пришел, нас отправили на другие скамьи, которые были обращены на восток, и когда начали читать «Верую», никаких телодвижений делать не потребовалось. Я ломал голову, как будет правильно поступить. Отвернуться и не глядеть на восток? — это чересчур. Этому не будет оправдания. И хочешь не хочешь я стал пассивным конформистом.

Как же мудры и прекраснодушны были обе мои дамы, если столь терпеливо сносили мою душевную сумятицу. Их чуткость была вознаграждена. Никогда больше я не совершал и не испытывал такой неловкости. Без назиданий и насилия я спокойно капитулировал перед терпимостью и общепринятым направлением.

Глава 2
Харроу

Мне едва минуло двенадцать, когда я шагнул в хмурый мир экзаменационных испытаний, по которому мне предстояло блуждать ближайшие семь лет. Экзамены были и впрямь испытанием для меня. Самые милые учительскому сердцу предметы неизменно оставляли меня равнодушным. Я бы предпочел, чтобы меня погоняли по истории, поэзии, усадили за написание эссе. Экзаменаторы же ставили превыше всего латынь и математику. А решали-то все они. И по этим двум предметам они всегда задавали такие вопросы, на которые я не мог придумать удовлетворительного ответа. Я бы хотел, чтобы меня спросили что-то, что я знал. Но меня постоянно спрашивали о том, чего я не знал. Я горел желанием выложить свои знания, а меня правдами и неправдами пытались уличить в невежестве. Такое отношение привело к одному: я скверно показывал себя на экзаменах.

И особенно — на вступительных экзаменах в Харроу. Впрочем, директор, мистер Уэлдон, терпимо отнесся к моей латинской прозе: он проницательно оценил мое общее развитие. Это тем более примечательно, что в письменной работе по латинскому языку я не смог ответить ни на один вопрос.

Сверху страницы я написал свое имя. Ниже поставил номер вопроса — 1. Хорошо подумав, заключил единицу в скобки — (i). Но не сумел припомнить ничего хоть мало-мальски относящегося к делу. Между тем ниоткуда появилась клякса с разводами. Целых два часа я взирал на эту грустную картину, пока милосердные младшие учителя не забрали у нас работы и не отнесли их на директорский стол. По моим скромным проблескам знаний доктор Уэлдон заключил, что я достоин поступления в Харроу. Это делает ему честь. Он показал, что может глядеть вглубь, не довольствуется письменными свидетельствами. Я всегда сохранял к нему глубочайшее уважение.

По его распоряжению в положенный срок меня определили в третью (низшую) группу четвертого (ниже не было) класса. В списке поступивших фамилии напечатали в алфавитном порядке, и поскольку моя полная фамилия, Спенсер-Черчилль, начинается с буквы «С», алфавит меня не выручил. Я был лишь третьим с конца списка, и то те двое, как ни печально, почти сразу выбыли из школы — по болезни или еще почему.

В Харроу и Итоне перекличка проводится по-разному. В

Итоне мальчики сбиваются в кучу и поднимают шляпы, когда их выкликивают. В Харроу они вереницей идут мимо учителя в школьном дворе и по очереди откликаются. Моя ничтожность выявилась самым отвратительным образом. Это был 1887 год. Лорд Рэндольф Черчилль только что оставил посты лидера палаты общин и канцлера казначейства и еще не ушел с переднего края политики. Перед школой обычно собиралось множество народу — поглядеть, как я марширую со всеми, и до меня часто долетало дерзкое: «Да он самый последний!»

В «хвосте» я продержался почти год. Но, застряв на низшей ступени, я получил громадное преимущество перед умниками. Они все продолжали постигать латынь, греческий и прочие такие же прекрасные вещи. А меня учили английскому языку, ведь такие тупицы только и могут освоить что английский язык. Мистер Сомервелл — прекраснейший человек, которому я многим обязан — был поставлен учить слабоумных самому презренному делу, а именно писать по-английски — не более того. Он это умел. Он преподавал, как никто другой. Мы не только учились доскональному грамматическому разбору, мы постоянно занимались анализом английского языка. У мистера Сомервелла была своя метода. Он брал достаточно длинное предложение и разбивал его на составные части, выделяя их черными, красными, синими и зелеными чернилами. Подлежащее, сказуемое, дополнение; относительные, условные предложения, соединительные и разделительные союзы! У каждого свой цвет и свои скобки. Это было натаскивание. Мы занимались почти ежедневно. И поскольку я оставался в третьей группе четвертого класса втрое дольше остальных, я втрое больше занимался всем этим. И с большим толком. Я постиг самую суть обычной британской фразы, а это дорогого стоит. И когда позже моим однокашникам, понабиравшим призов и наград за переводы прелестных латинских стихов и лаконичных греческих эпиграмм, пришлось вернуться к обычной английской прозе, чтобы зарабатывать на жизнь или делать карьеру, я никоим образом не чувствовал себя в невыгодном положении. Естественно, я держу сторону мальчиков, которые учат английский язык. Я бы всех мальчиков заставил учить английский язык, а потом пусть те, что поумнее, вознаградят себя латынью и угостятся греческим. И единственное, за что я бы их порол, — это за незнание английского. И порол бы нещадно.

Я поступил в Харроу в летний семестр. В школе был огромный плавательный бассейн, другого такого я не видел. Он скорее походил на излучину реки, и через него были перекинуты два мостика. Там мы прохлаждались часами, купались, и

загорали, и ели большие булки на горячем асфальтовом бортике. Естественно, так и подмывало подкрасться к голому приятелю, еще лучше неприятелю, и спихнуть его в воду. Я понаторел в этой забаве с ребятами моего роста — или помельче. И однажды, не пробыв в школе и месяца, я высмотрел стоявшего у самого края задумчивого мальчика, накрывшего плечи полотенцем. Он был не крупнее меня, и я решил, что это легкая добыча. Подкравшись и из гуманных соображений — чтобы осталось сухим — сорвав с него полотенце, я толкнул его. И обомлел, когда из пены возникло разгневанное лицо и существо, явно обладавшее исполинской силой, устремилось к берегу, яростно работая руками. Я пустился наутек, но увы… Быстрее ветра преследователь настиг меня, скрутил и швырнул на самое глубокое место. Скоро я выбрался на сушу, и меня окружила возбужденная малышня. «Тебе крышка, — наперебой затараторили они. — Знаешь, что ты наделал? Это же Эмери из шестого класса. Староста группы, чемпион по гимнастике, он еще в футбольной сборной». Они продолжали перечислять его славные, достойные поклонения титулы, не забывая напоминать о грозившем мне страшном возмездии. Я содрогался не столько от ужаса, сколько оттого, что посягнул на святое. Откуда мне было знать о его величии, если он был с полотенцем и вообще маленький. Я решил немедленно извиниться. Трепеща, приблизился я к триумфатору.

— Извини, — сказал я, — я думал, ты из четвертого класса. Ты такой маленький. — Он не удовлетворился этим, и я с одушевлением прибавил: — Мой отец тоже маленький, а он великий человек. — Тут он рассмеялся и, высказав несколько соображений о моем «нахальстве» и посоветовав впредь вести себя осторожнее, махнул в знак того, что инцидент исчерпан.

Много позже, когда три года разницы в возрасте были уже не так важны, я имел удовольствие часто видеться с ним. Много лет мы бок о бок трудились в Кабинете.

Все были задеты, когда я, прозябавший на низшей ступени учебной лестницы, единственный из всей школы получил приз, прочитав перед директором тысячу двести строк из «Песен Древнего Рима» Маколея — без единой запинки. Вдобавок я успешно прошел подготовительный военный экзамен, оставаясь последним учеником. Этот экзамен потребовал от меня крайнего напряжения сил, ведь многие недосягаемые отличники проваливались. И еще помог случай. Мы знали, что среди вопросов будет задание начертить по памяти карту какой-нибудь страны. Накануне вечером, завершая подготовку, я высыпал в шляпу бумажки с названиями всех имевшихся в атласе карт,

вытянул Новую Зеландию и нагрузил свою неплохую память географией этого доминиона. И пожалуйста, первым вопросом в моем листе стояло: «Начертите карту Новой Зеландии». В Монте-Карло это называлось бы en plein[3] и мне бы причитались тридцать пять моих ставок. Впрочем, и за экзамен я получил превосходнейшие оценки.

Я уже нацелился на военную карьеру. Своим влечением я был целиком обязан моей коллекции солдатиков. У меня их было почти полторы тысячи. Все одного роста, все британцы в составе пехотной дивизии и кавалерийской бригады. Мой брат Джек командовал неприятельской армией. По договору о сокращении вооруженных сил его войско состояло из одних туземцев и им не полагалась артиллерия. Важный момент! Я имел в распоряжении только восемнадцать полевых пушек помимо крепостных. Остальные службы были полностью укомплектованы — кроме одной, ее недостает всякой армии: транспортной! Старинный приятель отца сэр Генри Драммонд Вулф, восхитившись моим боевым порядком, отметил указанный недостаток и дотировал некоторую сумму, позволившую отчасти восполнить недостачу.

Настал день, когда с официальной инспекцией явился мой отец. Все части были изготовлены к атаке. Зорким глазом, обворожительно улыбаясь, он двадцать минут обозревал театр военных действий (картина в самом деле была впечатляющая), а потом спросил, не хочу ли я определиться на военную службу. Подумав: «Это же чудо — командовать армией», я выпалил: «Да», — и был пойман на слове. Годами я считал, что отцовский опыт и интуиция распознали во мне военную косточку. А оказывается, как мне сказали позже, он так решил, потому что, по его наблюдениям, для адвокатуры я умом не вышел. Как бы то ни было, игрушечные солдатики повернули всю мою жизнь. С этого времени все мое обучение было нацелено на то, чтобы поступить в Сандхерст и потом специализироваться в военном деле. Все прочее мне предстояло добирать самому.

Я проучился в Харроу четыре с половиной года, из них три года в военном классе. Меня взяли туда благодаря предварительному экзамену. В классе были учащиеся средних и последних классов, все разного возраста, и всех готовили к экзаменам в Сандхерст либо Вулидж. Обычного перевода из класса в класс у нас не было, поэтому я по-прежнему оставался где-то в конце школьного списка, хотя со мною рядом занимались почти одни пятиклассники. Официально я так и не вырос из младших классов и потому не имел своего «салаги». Когда по прошествии времени я стал «третьегодником», то бросил

прислуживать старшим ученикам, а поскольку я был взрослее мальчиков одного со мной положения, то меня назначили надзирающим за «салагами». Это была моя первая ответственная должность, в мои обязанности — почетные обязанности — входили: учет всех «салаг», составление графиков «кому — что — когда» и размещение этих графиков в комнатах классных старост, футбольных и крикетных чемпионов и прочей нашей аристократии. В этой роли я пребывал более года и, в общем, не роптал.

Между тем я нашел прекрасный способ справляться с латинскими переводами. Меня всегда убивала возня со словарем — точно как с телефонной книгой. Нетрудно открыть его на более или менее правильной букве, но потом приходится листать взад и вперед, сверху вниз пробегать глазами столбцы и зачастую убеждаться в том, что от нужного слова ты отстоишь на три-четыре страницы. Меня это выматывало, хотя другим давалось без труда. И я заключил союз с мальчиком из шестого класса. Он был очень умный и мог читать по-латыни, как по-английски. Горация, Овидия, Вергилия и даже эпиграммы Марциала он щелкал как орешки. Мое ежедневное задание составляло десять-пятнадцать строк. Обычно час-полтора я разбирался с ними, а потом обычно оказывалось, что я дал маху. Зато мой приятель в пять минут растолковывал все слово за словом, а очевидное я запоминаю накрепко. В свою очередь, у шестиклассника были такие же трудности с написанием эссе для директора, как у меня с этими загадочными латинскими кроссвордами. Мы договорились, что он будет делать мои латинские переводы, а я писать за него эссе. Соглашение действовало безупречно. Латинист был совершенно удовлетворен моими работами, и у меня больше оставалось утреннего времени на себя. Примерно раз в неделю я должен был сочинять эссе для моего друга-шестиклассника. Обычно я расхаживал по комнате и диктовал, как делаю это сейчас, а он сидел в уголке и записывал за мной. Несколько месяцев мы горя не знали, но однажды нас чуть не разоблачили. Одно такое эссе отметили. Его представили самому директору, тот вызвал к себе моего приятеля, похвалил работу и стал заинтересованно обсуждать поднятую тему.

— Меня заинтересовало вот это место. Думается, вы могли дальше развить свою мысль. Скажите, что конкретно вы имели в виду?

Несмотря на дикие ответы, доктор Уэлдон еще некоторое время не сдавался и довел моего сообщника до судорог. Впрочем, не желая менять похвалу на хулу, он наконец отпустил его, заметив:

— Пишете вы лучше, чем говорите.

Приятель пришел ко мне с такой миной, будто едва избежал гибели, и с тех пор я был начеку и держался хорошо наезженной колеи.

Ко мне доктор Уэлдон проявлял дружеское участие: зная, что я не в ладу с классиками, он решил сам помочь мне. При уйме его обязанностей он трижды в неделю, выкроив четверть часа перед вечерней, лично занимался со мной. Со стороны директора это была невероятная милость, ведь если он и учил кого, то разве что старост или особо выдающихся учеников. Я гордился такой честью и гнулся под тяжестью бремени. Если читатель когда-нибудь приникал к латинской прозе, то уже на самом раннем этапе его подстерегала встреча с *ablativus absolutus* и другой, явно не слишком уважаемой грамматической конструкцией: *quum* в связке с *plusquamperfectum conjunctivi. Я* всегда предпочитал *quum.* Конечно, с ним получается длиннее и утрачивается столь ценимая всеми емкость и энергия латинского языка. Зато избегаешь многих ловушек. Я часто бывал не уверен, кончается ли *ablativus absolutus* на *i, e, o, is* или *ibus,* а правильному выбору придавалось огромное значение. Напутать с этими окончаниями значило причинить доктору Уэлдону почти физическое страдание. Помню, впоследствии мистер Аскуит точно так же кривился, когда на кабинетских дебатах я щеголял надежной латинской цитатой из моих скудных запасов. Тут было не раздражение, а именно пронизывающая боль. Директора, прибавлю, обладают куда большей властью, чем все премьер-министры, вместе взятые. Так что эти вечерние четверть часа добавляли немало тревоги в мою и без того неспокойную жизнь. К моему великому облегчению, провозившись со мной почти целый семестр, он оставил свои начатые с наилучшими намерениями, но напрасные труды.

Сейчас я выскажу некоторые соображения о латинском языке, возможно годящиеся и для греческого. В рассудочном языке, вроде английского, важные слова соединяются и соотносятся между собой посредством подсобных маленьких слов. Римляне в своем суровом древнем мире сочли бы такую языковую модель вялой и непригодной. Их устраивало одно: чтобы структуру каждого слова определяли его соседи в соответствии с разработанными правилами, учитывающими разные условия, при которых оно может употребляться. Несомненно, такой язык выглядит и звучит выразительнее, нежели наш. В предложении все подогнано, как в отлаженном механизме. Каждую фразу можно плотно набить смыслом. Это был непростой труд, даже для тех, кто не знал иного способа выражения, но ясно, что через него

римляне, как и греки, легко и красиво утвердили свою посмертную славу. Они были первопроходцами в сфере идей и литературы. Открывая очевидные истины, касающиеся жизни и любви, войны, судьбы и нравов, они придавали им чеканную форму афоризмов и эпиграмм, к чему их язык был так хорошо приспособлен, и таким образом получали на них вечный патент. Этим они славятся. Ничему сказанному здесь меня не учили в школе. До всего этого я дошел сам в последующей жизни.

Но еще школьником я сомневался в том, что классики достойны быть фундаментом нашего образования. Мне говорили, что чтение Гомера — наилучшее отдохновение для мистера Гладстона, и я думал: так ему и надо; еще говорили, что классики скрасят мои преклонные годы. Я выражал сомнение, и тогда они прибавляли, что классические языки помогают писать и говорить по-английски. И ссылались на множество сегодняшних слов, пришедших из латыни или греческого. Ведь легче употреблять такие слова, зная их истоки. Практической пользы я отрицать не мог. Но ведь сейчас и это перечеркнули. Иностранцы и шотландцы сообща так коверкают произношение латинских слов, что от английского их теперь отделяет пропасть. Одна из наиболее сильных и часто приводимых мною цитат — «Veni, vidi, vici» — сплошь и рядом нагло перевирается. Распространителей этого зла должно ожидать наказание.

Глава 3
Экзамены

В Сандхерст я поступил с третьей попытки. Спрашивали по пяти предметам. В дополнение к трем обязательным — математике, латыни и английскому — я выбрал французский и химию. У меня на руках имелись только два козыря — английский и химия. А чтобы сорвать банк, нужны были, по крайней мере, три. Требовалось найти еще одну подходящую карту. Латынь я учить не мог. У меня был укоренившийся предрассудок, наглухо захлопнувший перед ней двери разума. За латынь полагались две тысячи баллов. Я не набрал бы более четырехсот! Французский язык — интересный, но с подвохами, и его трудно учить в Англии. Оставалась только математика. После первого экзамена, обозревая поле битвы, я отчетливо понял, что без подхода вспомогательной армии сражения не выиграть. Единственным резервом была математика. Я взялся за нее — налег на нее — с отчаянием. В жизни мне случалось с налета штурмовать чуждые мне предметы, но я считаю своим моральным и умственным триумфом то, что математику я одолел за шесть месяцев. В первом из трех мучительных испытаний я получил по математике всего пятьсот баллов из двух тысяч пятисот. Во втором — почти две тысячи. Этим достижением я обязан не только моей — сыгравшей колоссальную роль — решимости не отступать, «ибо позади стена», но и добрейшему участию во мне многоуважаемого учителя Харроу мистера Мейо. Он убедил меня в том, что математика — не непролазная бессмысленная трясина и что комичные иероглифы полны значения и ритма, проблески коих я вполне могу уловить.

Конечно, математикой я называю лишь то, что спрашивают у вас на элементарном экзамене члены Комиссии по делам гражданской службы. Полагаю, что докам в этой специфической области стихия, в которую я погрузился, должна казаться лужицей по сравнению с Атлантическим океаном. Как бы то ни было, погрузившись, я сразу потерял почву под ногами. Когда я оглядываюсь на то трудное время, из самых глубин памяти всплывают его главные вехи. Далеко позади Простые и Десятичные Дроби. Мы ступили в Алисину Страну Чудес, где у врат стояло Квадратное Уравнение. Скривившись, оно ткнуло в сторону Теории Коэффициентов, а та послала незваного гостя к злобно ощерившемуся Двучленному Уравнению. За ним просматривалась мрачная пещера, едва освещенная отблесками

адского пламени, где обитал дракон, звавшийся Дифференциальным Уравнением. Однако последнее чудище было отсечено пределами, установленными Комиссией по делам гражданской службы — проводником паломника на этом этапе его непростого пути. Мы свернули, но не к склонам Усладительных Гор[4], а в удивительный коридор, образованный то ли анаграммами, то ли акростихами, которые именовались Синусами, Косинусами и Тангенсами. Они определенно имели большую силу, особенно когда помножались друг на друга — и даже сами на себя! Одно хорошо: многие их превращения можно было заучить наизусть. На третьем, последнем экзамене мне достался вопрос об этих Косинусах и Тангенсах, возведенных в квадрат, и от правильности ответа зависела вся моя дальнейшая жизнь. Задачка была сложная. По счастью, несколькими днями ранее я видел ее жуткий оскал и узнал его сразу.

Никогда больше я не встречал этих тварей. После третьего, успешно сданного экзамена они улетучились, как фантасмагории горячечного сна. Я убежден, что без них не обойтись в технике, астрономии и подобных им областях. Очень важно строить мосты и прокладывать каналы, все зная о напряжении и возможностях материала, не говоря уже о том, что звезды и даже другие миры необходимо пересчитывать, и измерять расстояния от них до нас, и предсказывать затмения, появление комет и прочее в этом роде. Я очень рад, что множество людей рождаются с талантом и склонностью к таким вещам; например, шахматисты, которые вслепую играют сразу на шестнадцати досках и прежде срока умирают от эпилепсии. Закономерный исход! Впрочем, надеюсь, математики хорошо обеспечены. Обещаю никогда не покушаться на их профессию и не отнимать у них кусок хлеба.

Однажды я прочувствовал математику, словно обозрел ее всю, все ее глубины раскрылись передо мной, вся ее бездонность. Подобно тому как многие наблюдают за прохождением Венеры или шествием лорда-мэра, я наблюдал за полетом величины через бесконечность и сменой ее знака с плюса на минус. Я понял, почему это происходит и как один шаг влечет за собой все другие. Похоже на политику. Но озарение пришло после плотного ужина — и мне было не до него!

Практический вывод таков: не спроси меня престарелый, уставший член Комиссии по делам гражданской службы про эти квадратные или даже кубические Косинусы и Тангенсы, которые я задолбил всего неделю назад, ни одна из последующих глав этой книги так никогда и не была бы написана. Я мог принять духовный сан и читать ортодоксальные проповеди, дерзко противореча духу времени. Мог стать финансистом и нажить

состояние. Мог отправиться в колонии, или доминионы, как их теперь называют, ублаготворять или, на худой конец, умиротворять тамошних; и сделал бы феерическую карьеру à la Линдсей Гордон или Сесиль Родс. Наконец, мог бы прибиться к адвокатуре, и моих подзащитных перевешали бы, а так они доселе смакуют свои тайные прегрешения. В общем, *моя* жизнь пошла бы совершенно иной колеей, что изменило бы жизни многих других людей, которые, в свою очередь, и так далее, и так далее…

Но это опять возвращает нас к математике, с которой я распрощался в 1894 году. Достаточно будет повторить, что, спросив меня, по программе или из блажи, именно про Косинусы и Тангенсы, тот член Комиссии по делам гражданской службы определил — для меня — весь ход последующих событий. Я встречал потом чиновников из Комиссии по делам гражданской службы, знал их живьем. Я даже назначал им начальника. Я обожаю их, уважаю, как все мы. Но никому, и меньше всего им самим, невдомек, какую решающую и основополагающую роль они могут сыграть в судьбах людей. Из чего я делаю умозаключение (пусть читатель мотает на ус), что Свобода Воли и Предопределение тождественны.

Я всегда любил бабочек. В Уганде я видел дивных бабочек, у которых цвет крыльев менялся от красновато-коричневого к ярко-синему в зависимости от того, под каким углом вы смотрели. В Бразилии, это все знают, есть такие же бабочки, только еще крупнее и переливчатей — до полного контраста. Такие цветовые фокусы даже представить себе трудно, а ведь это та же самая бабочка. Бабочка — реальность, она сверкает, трепещет крыльями, в секунду, расправив их, вспархивает к солнцу и пропадает в лесной темени. Ваша вера в Свободную Волю или в Предопределение зависит от того, какую расцветку крыльев ухватил ваш взгляд — на самом-то деле у крыльев по меньшей мере два цвета одновременно. Впрочем, не для того я расквитался с *матемутикой,* чтобы увязнуть в *меташизике.* И посему продолжим рассказ.

Когда я во второй раз срезался на экзамене в Сандхерст, то распрощался с Харроу и без особой надежды был передан «репетитору». Капитан Джеймс и его высокопрофессиональные коллеги держали некое заведение на Кромвель-роуд. Говорили, что если ты не врожденный идиот, то оттуда тебе прямой путь на военную службу. В Фирме по-научному исследовали склад ума членов Комиссии по делам гражданской службы. Тамошние учителя с почти папской непогрешимостью знали, какого рода вопросы эти господа, скорее всего, зададут по той или иной

выбранной теме. И по этим вопросам натаскивали. Они лихо палили дробью по выводку куропаток и, по их утверждению, имели высокий стабильный результат. Капитан Джеймс — знал бы он это! — был по существу талантливым предшественником людей, впервые применивших в Мировой войне артиллерийский заградительный огонь. С продуманно выбранных позиций он накрывал огнем территории, где, он знал, должны сосредоточиться значительные силы противника. Расстреляв определенный запас патронов за час, он имел полный ягдташ с акра. Ему не нужно было видеть воочию вражеских солдат. Муштровка — вот к чему сводилось обучение его стрелков. И год за годом, без малого два десятилетия, он удерживал первое место среди всех репетиторов. Он походил на тех игроков, у которых есть верный рецепт выигрыша в Монте-Карло, с той, и очень значительной, разницей, что в большинстве случаев его рецепт действовал. Даже самые трудные случаи можно было вытянуть. Гарантии никто не давал, но все же надежда (и немалая) оставалась.

Но едва я приготовился воспользоваться преимуществами этой славной птицеубойной системы, как попал в очень скверную переделку.

Моя тетка леди Уимборн пустила нас на зиму в свое поместье в Борнмуте. Сорок-пятьдесят акров хвойного леса сбегали по песчаной отлогости, кончавшейся крутым обрывом, к ровному побережью Английского канала. Это был пятачок дикой природы, перерезанный глубокой, спускавшейся до уровня моря, расщелиной, которую здесь называли «тесниной». Через эту «теснину» был перекинут немудреный мостик длиной в пятьдесят ярдов. Мне было восемнадцать лет, я наслаждался каникулами. Мой двенадцатилетний брат и четырнадцатилетний кузен придумали играть со мной в догонялки. Побегав от них минут двадцать и совсем задохнувшись, я кинулся на мост. Добежав до середины, я с ужасом обнаружил, что преследователи разделились: теперь они стояли по обоим концам моста, и спасения не было. В один миг возник дерзкий план. Расщелина подо мной вся поросла молодыми елями. Их точеные верхушки почти доставали до моста. «А что, если прыгнуть на одну и скользить по стволу, круша по пути еловые лапы, пока они не остановят падение?» — спросил я себя. Пригляделся. Прикинул. Подумал. И перелез через поручень. Мои юные преследователи обмерли. Прыгать или не прыгать — вот в чем вопрос! Я прыгнул, раскрыв объятия еловой верхушке. Рассуждал-то я правильно, а вот рассудил — плохо. Только через три дня я пришел в сознание и только три месяца спустя встал с постели. Оказалось, я рухнул

на землю с высоты двадцати девяти футов. Конечно, елка помогла. Услыхав испуганный лепет брата: «Он спрыгнул с моста и молчит», мать поспешила ко мне с неотложной помощью и с ненужной бутылкой бренди. У родителей было правило: в беде и в болезни привлекать медицину по высшему разряду, не считаясь с расходами. У моей постели толпились выдающиеся специалисты. Позже, когда я опять начал соображать, то был поражен и одновременно польщен, узнав, какие им платились гонорары. Отец срочно приехал из Дублина, где был на одном из некогда знаменитых Рождественских приемов старого лорда Фицгиббона. Он привез из Лондона самых видных хирургов. Вдобавок ко всем прочим увечьям я порвал себе почку. Только благодаря искусству хирургов и моему решительному желанию жить вы сейчас читаете эту историю. Но еще целый год я был сторонним наблюдателем происходящего. В те дни в Карлтон-клубе ходила такая шутка:

— Я слышал, парнишка Рандольфа сильно расшибся.

— О да! Слишком увлекся игрой «Догони лидера».

— Ну, это Рандольфа вряд ли огорчает!

На летних выборах 1892 года юнионистское правительство потерпело поражение, не добрав всего сорок голосов, и Гладстон, поддержанный ирландскими националистами, пришел к власти. Новому парламенту предстояло поменять всю администрацию, и, следуя тогдашнему благоразумному обычаю, он на полгода объявил перерыв в работе. С нетерпением и тревогой ожидались сессия 1893-го и неминуемое возобновление борьбы за гомруль. Разумеется, семья не очень печалилась по случаю крушения «правительства и партии, которые пять лет бойкотировали и чернили меня» — это отцовы слова. Наоборот, все наше семейство с его многочисленными мощными ответвлениями и все отцовы друзья обнадеживали себя грядущими переменами. Считалось, что в оппозиции отец быстро вернет себе лидерство в парламенте и в своей партии, которая с его отставкой развалилась шесть лет назад.

Никого эти надежды не согревали больше, чем меня. Хотя в прошлом мало что говорилось в моем присутствии, но нельзя же было вырасти в отцовском доме, и уж тем более рядом с его матушкой и сестрами, и не понять, что разразилась грандиозная политическая катастрофа. Перед чужими, перед детьми и слугами держались с достоинством и сдержанно. Только однажды, помнится, отец пожаловался мне на свои невзгоды — и то вскользь. Это было осенью 1892 года у нас дома на Ньюмаркет. На лужайку под его окнами выскочил кролик, я выстрелил из

двустволки, напугал отца и получил нагоняй. Он был сердит и взволнован не на шутку. Поняв тут же, что я страшно расстроен, он не замедлил меня ободрить. Вот тогда и случился один из тех трех или четырех долгих доверительных разговоров, которыми я только и могу похвастать. Он объяснил, что люди старшего поколения не всегда внимательны к молодым, они погружены в свои дела и в минуту раздражения могут сказать резкость. Он прибавил, что его радует мое увлечение стрельбой и что уже все приготовлено к тому, чтобы первого сентября (тогда был конец августа) я вволю пострелял куропаток, водившихся в нашем небольшом хозяйстве. Потом он вдохновенно и увлекательно заговорил о школе, и об определении на военную службу, и о моей взрослой жизни впереди. Я был ошеломлен, поражен тем, как он вдруг раскрылся и как глубоко вникает в мои дела. А в конце он сказал:

— Запомни, у меня не все идет как по маслу. Мои намерения неверно толкуют, мои слова извращают… Будь снисходителен.

Конечно, я был его горячим приверженцем, как и на свой, тихий лад миссис Эверест, ставшая к этому времени ключницей в бабушкином доме на Гровенор-сквер, 50, куда мы все перебрались из экономии. После двадцати лет верной службы она ушла на покой и доверила все свои сбережения моему отцу. На своем кабриолете отец покатил в Нью-Корт на сговоренный ленч с лордом Ротшильдом, имея целью поместить эти средства надежно и выгодно. Я хорошо знал, что консерваторы из «старой банды» были обязаны своим долгим правлением его единоличной борьбе за возрождение торийской демократии, а когда он допустил свой первый — и серьезный — промах, они выказали полное отсутствие великодушия и признательности. Понятное дело, мы предвкушали его возвращение во власть. Детьми мы видели, как на улице прохожие снимали шляпы, а рабочие люди улыбались, завидев его пышные усы. Многие годы я читал каждое его выступление и все, что писали о нем газеты. Он был всего-навсего рядовой член парламента и вообще сам по себе, но, что бы он ни сказал даже в самом крохотном собрании, слово в слово повторялось во всех газетах, каждую фразу разбирали по косточкам и взвешивали. И сейчас, казалось, пришел его час.

Меня отвезли в Лондон, и я с одра заинтересованно следил за политическими событиями 1893 года. Я отлично ориентировался в них. Мать отчитывалась во всем, что услышала, а мистер Эдвард Марчбанкс, впоследствии лорд Туидмаут, «главный кнут» Гладстона, был женат на папиной сестре Фанни. Так что мы вчуже разделяли удовлетворение либералов, после долгого изгнания вернувшихся к власти. До нас доносились какие-то их надежды и

страхи. В те дни политическая жизнь, казалось мне, била ключом и была важнее всего на свете. Ее направляли государственные мужи, люди командного ума и склада. По привычке и из чувства долга вносило свою лепту в политику высшее сословие, занимавшее разные посты. Из спортивного интереса следил за ней рабочий люд, как имевший право голоса, так и не имевший. Народ вникал в государственные дела и судил о способностях публичных деятелей, как нынче это происходит с крикетом и футболом. Газеты с готовностью потворствовали одновременно просвещенному и простонародному вкусу.

Поначалу мне многое спускали как инвалиду, и я весь отдался наблюдению за последней великой парламентской баталией мистера Гладстона. Она затмила для меня кошмарный (последний из трех возможных!) Экзамен, который маячил в августе. В это медленно текущее время я не мог не почувствовать, что речи отца уже не так хороши, как прежде. Иногда они были блистательны, но в целом он терял почву под ногами. Конечно, я надеялся вырасти и подоспеть ему на помощь. Я знал, что такое предложение его бы только рассмешило. Но я думал об Остине Чемберлене, которому позволили сражаться на отцовской стороне, о Герберте Гладстоне, который помогал «Великому старцу» валить дубки и всюду появлялся с ним, и мечтал о времени, когда торийская демократия одной рукой погонит «старую банду», а другой сметет радикалов.

В тот год я перевидал у отца в доме чуть ли не всех главных персон парламентской схватки, сиживал на ленче или обеде, когда не только его коллеги, но и оппоненты мирно обменивались через стол мнениями по самым жарким вопросам дня. Тогда я впервые встретил мистера Бальфура, мистера Чемберлена, мистера Эдварда Карсона, а еще лорда Розбери, мистера Аскуита, мистера Джона Морли и прочих министерских столпов. Мир, в котором вращались эти люди, был поистине великим миром, где правили высокие принципы и всякая мелочь в публичном общении имела значение: как на дуэльной площадке, когда пистолеты уже заряжены и вот-вот прольется кровь, там царили подчеркнутая учтивость и взаимное уважение. Конечно, подобную церемонность я наблюдал лишь в тех случаях, когда отец принимал близких друзей или выдающихся политиков. Я слышал, что на нейтральной почве он бывал беспощаден, осыпал оскорблениями и просто грубил. Неблизкие люди подходили к нему с осторожностью и во всеоружии.

Едва поправившись, я стал ходить в палату общин и слушать острые дебаты. Я даже пробрался в галерею почетных гостей, когда Гладстон закрывал второе чтение билля о гомруле.

Отлично помню и само действо, и некоторые подробности. «Великий старец» был подобен гигантскому белому орлу — грозный и прекрасный одновременно. Фразы волшебно чеканились, все восторженно внимали каждому слову, готовые разразиться аплодисментами или протестными воплями. Был кульминационный пункт потрясающего пассажа относительно стойкой верности либеральной партии тому делу, которое она вела к победе. Он допустил промах.

— И нет другого дела (речь шла о гомруле), ради которого либеральная партия столько бы вынесла или *пала бы столь низко*, — воскликнул он. Как же воспряли и восторженно завопили тори! Но Гладстон потряс правой рукой, словно когтистой лапой, унял волнение и продолжал: — Но мы снова поднялись…

Еще я был свидетелем его знаменитого подарка Чемберлену по случаю первого выступления в палате сына Чемберлена Остина.

— Я не стану расточать многословные похвалы этой речи. Постараюсь в нескольких словах сказать то, что мне хочется сказать. Это была речь, которая должна радовать и бодрить отцовское сердце.

Скорчившись на полу галереи, я видел сквозь балюстраду, какое мгновенное действие произвели на Чемберлена эти слова. Словно пуля пронзила его. Бледное с желтизной лицо порозовело, он не смог, да и не захотел сдержать нахлынувшие чувства. Он привстал и слегка поклонился, потом ссутулился, опустив голову. Как ни хороши были сказанные слова, на письме в них нет ничего особенного. Важен был сам жест, на минуту сокрушивший многолетнюю неистребимую вражду.

В другой раз с той же галереи я слушал яростную и очень резкую перепалку между отцом и сэром Уильямом Харкуртом. Сэр Уильям казался взбешенным и возражал совершенно не по делу, и меня поразило, как буквально несколько минут спустя он пробрался к моему месту и, лучисто улыбаясь, спросил, что я думаю обо всем этом.

Моя физическая немощь и эти политические потрясения вряд ли могли позволить капитану Джеймсу по-хорошему подготовить меня к экзамену в Сандхерст. Тем не менее третья попытка увенчалась умеренным успехом. Меня определили кадетом в кавалерию. Желающих попасть в пехоту всегда больше, потому что служить в кавалерии гораздо накладнее. Соответственно тем, кто оказался в хвосте списка, предлагали соглашаться на кавалерию. Я был в восторге, что сдал экзамен, и ликовал, что

буду служить верхом на лошади. Я уже на опыте убедился в преимуществах верховой езды перед пешим ходом. Какая прелесть — иметь лошадь! И кавалерийская форма пригляднее пехотной. В приподнятом настроении я написал отцу. К моему удивлению, у него на сей счет было совершенно иное мнение. Он посчитал позором, что я не прошел в пехоту. Он рассчитывал, что я поступлю в знаменитый — из четырех батальонов — 60-й стрелковый полк, у которого форма хоть и черная, но с красными нашивками на обшлагах и воротнике.

— Определившись в шестидесятый стрелковый, — объяснял мне он, — ты два-три года прослужишь в средиземноморской крепости и созреешь для службы в Индии.

Похоже, он уже писал герцогу Кембриджскому, шефу 60-го полка, ходатайствуя о моем зачислении под его начало, и получил благоприятный ответ. Теперь все эти планы расстроились, и расстроились самым неприятным и разорительным образом. Герцог уже не раскроет мне объятия, а в средиземноморских крепостях не нужна кавалерия.

— В пехоте, — замечал отец, — содержишь одного денщика, в кавалерии — денщика и еще лошадь.

Это правда, но не вся правда. Знал бы он, что потребуется не одна, а две строевые лошади, один-два гунтера и в обязательном порядке пони для поло. В общем, он был крайне недоволен, и в надлежащий срок я получил длинное и сердитое письмо, выражавшее мрачное неверие в мою способность к обучению, демонстративное равнодушие к успеху на экзамене, каковой, он полагал, я еле-еле осилил, и тревогу, что мне грозит опасность сделаться «социальной пустышкой». Меня огорчил и напугал этот отзыв, и я поспешил дать обещание исправиться. Все равно — я радовался, что поступил в Сандхерст, что стану настоящим живым кавалерийским офицером уже через каких-нибудь восемнадцать месяцев. И я деятельно занялся заказом множества обязательных предметов экипировки джентльмена-кадета.

Этим летом родители отправили меня с братом и сопровождающим наставником в так называемый туристический поход в Швейцарию. Понятно, что путешествовали мы поездами — пока были деньги. Я и наставник взбирались на горы. Мы покорили Веттерхорн и Монте-Розу. Картина солнечного восхода, зажигающего вершины Бернского нагорья, — это чудо света и цвета, подобного которому я больше в жизни не видел. Я хотел еще взойти на Маттерхорн, но это было и дорого, и, заверил наставник, очень опасно. Наша осторожность могла легко пойти прахом на Лозаннском[5] озере, где со мной приключилась целая

история. Я расскажу здесь ее всем для острастки. С мальчиком помладше меняя пошел кататься на лодке. Отплыв от берега больше чем на милю, мы решили искупаться, стянули с себя одежду, прыгнули в воду и стали с восторгом плескаться. Когда мы вдоволь наплескались, лодка была от нас уже ярдах в ста. Ветер начал зыбить водную гладь. Над кормовыми скамьями лодки был натянут маленький красный тент. Под порывами ветра этот тент превращался в парус. Мы плыли к лодке, она уплывала от нас. После нескольких ее дрейфов нам удалось сократить разрыв вполовину. Но ветер крепчал, и мы, особенно мой товарищ, начали уставать. До этой минуты я даже не задумывался об опасности. Солнце поигрывало искрящейся голубой водой, радовали глаз панорама гор и долин, нарядные отели и виллы. Но я уже видел Смерть, и видел так близко, как никогда. Она плыла сбоку от нас и что-то шептала, когда налетал ветер, угонявший от нас лодку примерно с той же скоростью, с какой мы плыли. Помощи ждать неоткуда. Без помощи мы не доберемся до берега. Я плавал легко и быстро — недаром команда, за которую я выступал в Харроу, поборола всех гостей. Сейчас я плыл ради самой жизни. Дважды я был в ярде от лодки, и каждый раз ее относило от меня; наконец невероятным усилием я ухватился за борт и в ту же минуту новый рывок ветра надул красный тент. Я перевалился в лодку и погреб к товарищу, который хоть и выбивался из сил, но не замечал тусклого желтого зрака смертельной опасности, вдруг взявшейся поиграть с нами. Я не сказал наставнику об этом серьезном испытании, но никогда не забывал его, и может, кому-то из моих читателей оно тоже западет в память.

Пребывание в Королевском военном колледже стало переходным периодом в моей жизни. Завершились почти двенадцать школьных лет. Тридцать шесть семестров, череда бесконечных недель (разбавленных куцыми каникулами), с редчайшими проблесками успеха, с тупой зубрежкой предметов скучных и бесполезных, с отсутствием занимательных игр. Оглядываясь назад, я вижу, что школьные годы — не только самый неприятный, но и единственный пустой и несчастливый период в моей жизни. Счастливым я был в нежном возрасте — с игрушками, у себя в детской. Повзрослев, я с каждым годом становился все счастливее. Но эта школьная интерлюдия смотрится унылым пятном на карте моих странствий. Нескончаемая череда тревог, вовсе не казавшихся тогда мелочью, каторга, ничем не вознагражденная; неудобство, запреты и бессмысленное однообразие.

Я не хочу, чтобы этот поворот мысли совсем исказил картину

моего школярского детства. Оно конечно же озарялось смехом и молодым задором. Школа Харроу держала высокую планку, тамошние преподаватели исповедовали высокие принципы самоотдачи. Большинство мальчиков были совершенно счастливы, в классах и на спортивных площадках многие отличались так, как никогда впоследствии. Я только констатирую факт, что по собственной нескладности был исключением. Я бы охотнее учился на подхвате у каменщика, или был мальчиком на посылках, или помогал отцу убирать бакалейные витрины. Это настоящее, это правильное, это большему научило бы меня, и я бы гораздо лучше справлялся со всем этим. Я бы лучше узнал своего отца, не лишился бы такой радости.

Безусловно нужное общественному прогрессу длительное образование не согласно с природой человека. Оно ему не по нутру. Мальчик с удовольствием последует примеру отца, чтобы добыть себе пропитание. Насколько хватит сил, он будет охотно делать что-то полезное. Он будет получать заработную плату — пусть невеликую — и поддержит своих. Ему захочется иметь какое-то время для себя, а с пользой или бестолково он его потратит — это его печаль. У него возникнет потребность в чем-то еще, кроме права работать или голодать. И вот тогда вечерами в человеке стоящем, может статься, пробудится жажда знаний, — а нестоящим зачем засорять головы? — и знание вкупе с мыслью распахнут «волшебные створки» разума.

В целом школа порядочно расхолодила меня. Не считая фехтования, в котором я стал чемпионом школы, отличий я не удостоился. Все мои сверстники и даже ребята помладше во всех отношениях лучше приноровились к условиям нашего тесного бытия. Они были лучше и в играх, и в классах. Не очень приятно чувствовать себя безнадежно отставшим в самом начале забега. Прощаясь с доктором Уэлдоном, я озадаченно выслушал его предсказание, поверить в которое у меня не было никаких оснований: что я-де обязательно себя проявлю. По гроб жизни буду ему за это благодарен.

Я обеими руками за школы, но не хочу пойти туда опять.

В Харроу я близко подружился с Джеком Милбэнком двумя годами меня старше. Он был сыном старого баронета, чьи предки много поколений жили в Чичестере. Ни в играх, ни на уроках он не выделялся, был чуть выше среднего уровня своих сверстников. А выделялся он тем, что у него были стиль и отменные манеры, взрослые интересы и речь, какой не услышишь в Харроу. Он неизменно был джентльменом высшей пробы — сдержанный, невозмутимый, уравновешенный, элегантный, безупречно одетый. Когда отец приезжал навестить меня, он обычно вел нас обоих на

ленч в отель «Кингз Хед». Я трепетал от восторга, когда они вели беседу — как равный с равным, с непринужденностью двух светских львов. Как же я завидовал другу! Как мне хотелось вот так же сойтись с отцом. Увы, я был никудышный ученик, и если встревал в разговор, то с какой-нибудь несуразицей или глупостью.

С Милбэнком мы однажды провернули одну авантюру. Мы разузнали, что по старому обычаю в неделю контрольных отменяется футбол. Про это правило в последние годы забыли. Мы отказались играть, ссылаясь на обычай и оправдывая себя необходимостью сосредоточиться на занятиях. За этот проступок нам полагалась хорошая порка от старост. Но нельзя было не признать, что закон на нашей стороне. Случившееся подавленно обсуждали в высших сферах. Три-четыре дня мы не представляли, что нас ожидает. Нашему делу вредило подозрение, что мы вовсе не изнуряем себя занятиями, а наоборот, прохлаждаемся. В конце концов было решено предоставить нас самим себе, и надеюсь, этот смело утвержденный прецедент был использован следующими поколениями.

Милбэнку светила военная карьера, он нацелился на 10-й гусарский. Отец позволил ему сначала пройти через ополчение, что несколько удлиняло путь, зато избавляло от многих экзаменов. Поэтому он окончил Харроу годом раньше меня и скоро уже щеголял в форме младшего офицера ополчения. Мы регулярно переписывались, часто виделись в отпусках. Мы еще встретимся с ним на страницах этой книги. Он удостоился высших воинских наград. В Англо-бурской войне он заслужил Крест Виктории тем, что, сам тяжело раненный, под убойным огнем, спас своего солдата. Он пал на Галлипольском полуострове, предприняв отчаянную атаку в страшном побоище у залива Сувла.

Мне нравились песни Харроу. У них изумительный школьный песенник. На переменах мы собирались в актовом зале или у себя в дортуаре и хором распевали эти чудесные знаменитые песни. Я считаю эти песни золотым фондом Харроу. Ничего подобного нет в Итоне. Там у них всего одна песня, и та про греблю — славное занятие, но спорт так себе, а песня вообще никуда не годится. Еще к нам приезжали знаменитые люди читать лекции про науку и историю. Лекции производили на меня громадное впечатление. Если знающий человек увлечет тебя захватывающим рассказом, да если еще при этом у него волшебный фонарь, тут никакой другой учебы не надо. Внимательно выслушав лекцию, я мог потом недурно разыграть спектакль, повторив ее от своего имени.

Пять лекций я помню до сих пор. В первой мистер Бауэн, наш знаменитейший педагог и автор многих наших лучших песен, в доходчивой форме дал волнующий отчет о битве при Ватерлоо. В другой раз он читал о битве при Седане, доставив мне неописуемое удовольствие. Несколькими годами позже я обнаружил, что он почти слово в слово пересказал книгу Хупера «Седан», любимое чтение моего полковника. Но лекция не стала от этого хуже. Была лекция о восхождении на Альпы великого мистера Уимпера, с изумительными картинками, на которых проводники и туристы либо висели на скалах, либо стояли спиной к пропасти, так что даже от фотографий мороз подирал по коже. Вот еще лекция: как расцветка защищает бабочек. Отвратительная на вкус бабочка своей броской расцветкой остерегает птицу, чтобы та ее не съела. Сочная, вкусная бабочка спасается тем, что прикидывается сучком или листиком. Они миллионы лет учились этому, а кто не успевал приспособиться — тех поедали, и они исчезали с лица земли. Вот почему сохранившиеся виды так раскрашены. Последней была лекция мистера Паркера на тему «Имперская федерация». Он поведал, как у Трафальгарского мыса сигнал Нельсона «Англия ждет, что сегодня каждый исполнит свой долг» обежал весь боевой строй, и сказал, что если мы и наши колонии будем держаться вместе, то настанет день, когда такой же вот сигнал обежит не только строй кораблей, но и ставшие в ряд народы. Мы дожили до этого дня, и я имел случай напомнить престарелому мистеру Паркеру о его словах, когда в последний год своей жизни он объявился на грандиозном банкете в ознаменование нашего победного выхода из Мировой войны.

Недоумеваю, почему сейчас не устраивают такие лекции чаще. Можно устраивать их раз в две недели, и потом ребята сначала запишут, что они запомнили, а после — что думают по этому поводу. Тогда преподаватели начали бы понимать, кто способен хорошо схватывать материал и претворять его во что-то новое, а кто тупица; и все классы соответственно перетасовались бы.

Тогда бы и школа Харроу не потерпела бы со мной фиаско, выдерживая меня в последних учениках, и мне бы веселее жилось.

Глава 4
Сандхерст

В Сандхерсте я все начал сызнова. Меня уже не тянуло назад давнее отставание в латыни, французском или математике. Мы все начинали с нуля и на равных. Курс обучения составляли тактика, фортификация, картография, военное право и военное администрирование. Плюс строевая подготовка, гимнастика и верховая езда. Не хочешь — ни в какие игры не играешь. Дисциплина была строгой, занятия в классах и на плацу тянулись долго. К вечеру все валились с ног от усталости. Меня увлекали в первую очередь тактика и фортификация. Отец распорядился, чтобы его книгопродавец, мистер Бейн, обеспечивал меня книгами для учебы. Я заказал «Военные операции» Хамли, «Письма о пехоте, кавалерии и артиллерии» принца Крафта, «Огневую тактику пехоты» Мейна и много сочинений о Гражданской войне в Америке, о франко-прусской и русско-турецкой войнах, которые были тогда для нас свежайшими образцами военного искусства. Скоро подобралась военная библиотечка в подкрепление регулярным занятиям. Строевая подготовка не особенно нравилась мне, и несколько месяцев я числился среди тех, кого следовало подтянуть. Радовали полевые занятия. Мы рыли окопы, насыпали брустверы, обкладывали траверсы мешками с песком, вереском, фашинами или решетчатыми ящиками с щебнем. Мы ставили рогатки и закладывали фугасы. Мы подрывали железнодорожные пути пироксилиновыми шашками, учились взрывать каменные мосты и наводить понтонные или из бревен. Мы чертили контурные карты всех холмов в окрестностях Камберли, прокладывали рекогносцировочные маршруты в разных направлениях, намечали линии сторожевого охранения для авангарда и арьергарда и даже решали кое-какие несложные тактические задачи. Обращению с гранатами нас совсем не учили, этот вид оружия считался безнадежно устаревшим. Гранаты вышли из употребления еще в восемнадцатом веке, и в современной войне толку от них не предвиделось.

Конечно, все это были элементарные вещи, и в наши рабочие часы мы не выходили за пределы стандартного кругозора младшего офицера. Но иногда меня приглашали отобедать в Штабном колледже, в миле от нас, где умнейших армейских офицеров готовили к высшему командованию. Здесь учили распоряжаться дивизиями, армейскими корпусами и даже целыми

армиями; разговор шел о базах, снабжении, коммуникациях, о железнодорожной стратегии. Восторг! Думалось только, что все это, к сожалению, одна игра фантазии, что время войн между цивилизованными народами навсегда отошло в прошлое. Родиться бы пораньше лет на сто — вот была бы красотища! Чтоб девятнадцать тебе стукнуло в 1793 году, когда впереди больше двадцати лет войн против Наполеона! Такое не повторится. После Крымской войны британская армия ни разу не палила по белокожим, нынешний мир делается все более рассудительным и миролюбивым (и вдобавок демократическим) — великое время отшумело. К счастью, остаются дикие и варварские народы. Остаются зулусы и афганцы, суданские дервиши. Если их как надо настроить, они вполне могут «показать себя». Вполне могут начаться беспорядки или бунт в Индии. В то время туземцы усвоили таинственную практику мазать чем-то манговые деревья, и мы обнадеживались статьей в «Спектейторе», вопрошавшей: не придется ли через несколько месяцев заново завоевывать Индию? Мы бредили всем этим. Скорее получить звание, отправиться на индийские равнины, заслужить медали и прочие отличия и, пока еще молоды, завоевать командные высоты, как Клайв[6]! Эти мысли мало утешали: в конце концов, сражаться с жалкими индусами, а не участвовать в настоящей европейской войне — это все равно что играть в догонялки, вместо того чтобы биться за приз в «Гранд Нэшнл»[7]. Как бы то ни было, надо лучшим образом использовать возможности, предоставляемые временем.

Мне безумно нравилось скакать верхом, я бы вообще не слезал с лошади. Отец устроил, чтобы на каникулах (правильнее, наверное, называть их теперь отпуском) я прошел курс верховой езды в Найтсбриджских казармах с Королевскими конногвардейцами. Сколько раз я валился там на песок. Позже, уже в полку, я прошел еще один пятимесячный курс и в итоге, мне кажется, неплохо сидел в седле и справлялся с лошадью. А важнее этого мало что есть на свете.

В Сандхерсте лошади были моей отрадой. Я и мои однокашники не жалели последних денег на то, чтобы брать внаем лошадей в прекрасных местных конюшнях. Под будущие назначения нам открывали счет. Мы устраивали скачки и даже стипль-чез в парке одного гостеприимного вельможи, гоняли по окрестностям. И вот мой совет родителям, прежде всего состоятельным родителям: «Не давайте сыну денег. Если карман позволяет, дайте ему лошадей». Верховая езда еще никому не доставляла огорчений, кроме самых благородных. В седле потерянного времени не бывает. Случается, молодые люди плохо кончают, вкладывая средства в лошадей или делая ставки на

лошадей, но скача на них — никогда; разве что ломают себе шею, а это — на полном галопе — завидная смерть.

Став джентльменом-кадетом, я вырос в глазах отца. В отпуске мне позволялось сопровождать его — по обстоятельствам. Ему всегда нравились акробаты, жонглеры и дрессированные звери, и с ним я впервые побывал в «Эмпайр Театр». Он брал меня и на важные политические сходки в доме лорда Ротшильда в Тринге, где собирались лидеры и перспективная молодая поросль консервативной партии. Он свел меня с друзьями-лошадниками, там была другая компания и другие разговоры, но столь же увлекательные. Мне казалось, у него есть ключи от всего (или почти от всего), стоящего внимания. Но если он замечал с моей стороны хоть малейшее притязание на товарищество, то моментально раздражался; однажды я предложил помочь его секретарю написать какие-то письма, так он взглядом пригвоздил меня к месту. Сейчас я понимаю, что это не продлилось бы долго. Проживи он еще четыре-пять лет, и ему бы без меня не обойтись. Только не было этих четырех-пяти лет! Именно тогда, когда наши отношения готовы были перерасти в Содружество и союз или, по крайней мере, договор о совместных действиях уже не казались мне чем-то немыслимым, он ушел навсегда.

Весной 1894-го всем нам стало ясно, что отец серьезно болен. Он еще продолжал политическую деятельность. Примерно раз в неделю он говорил речь в каком-нибудь важном месте. Нельзя было не видеть растущего неуспеха его усилий. Стенограммы выступлений, прежде занимавшие три колонки, ужались до двух, а потом вообще до полутора. Однажды «Таймс» обмолвилась, что зал был полупуст. И наконец я услышал, как мать и бабушка, редко в чем согласные, убеждали его передохнуть, а он твердил, что совершенно здоров и вообще все отлично. Я знал, что без особой нужды эти самые близкие и преданные ему люди так на него не давили бы.

Сейчас я вижу отца немного в другом свете, нежели в те дни, когда писал его биографию. Я давно перешагнул возраст, в котором он умер. Мне более чем очевидно, что его отставка носила фатальный характер. Это был «отчаянный маневр пилота в критической ситуации». Пробил его час. Но с победой юнионистов в 1886-м положение изменилось. Ожидались спокойные времена, нужна была передышка в политике. В лице лорда Солсбери нация получила нужное и желаемое. Он сел прочно и надолго. Естественно, он был только рад забрать в свои руки всю власть, не делить ее с неугомонным соперником, который верховодил в палате общин и караулил общественный кошелек. Утраченные позиции невозвратимы. Человек может

подняться на новую высоту в пятьдесят-шестьдесят лет, но никогда не займет вновь ту, которую потерял в тридцать-сорок. Чтобы с достоинством и уверенно возглавлять партию или государство, необходимо, чтобы твои лидерские качества и идеи отвечали не только запросам, но и вкусам обоих.

Больше того, в ту минуту, когда лорд Рандольф Черчилль принял пост министра финансов, ответственного за многие государственные дела, по ряду важнейших вопросов он перестал быть тори. Он стремительно смещался в сторону Гладстона, не приемля только одного — ирландского гомруля; во всех общественных и рабочих вопросах он ушел гораздо дальше, чем могли позволить себе тогдашние виги или среднесословные либералы. Даже по Ирландии он держался поразительно независимых взглядов. Все это было не по нутру консервативной партии. Пребывай он в добром здравии, он почти наверняка выступал бы против Англо-бурской войны, причем с такой решимостью, что оттолкнул бы от себя тот самый рабочий класс, чьим расположением так гордился. Возродиться он мог в одном случае — если бы не дал развернуться протекционистской кампании Чемберлена. Насколько могу судить, он, скорее всего, был бы в первых рядах ее противников. Он не принадлежал к числу тех, кто принимает решения по указке партийного руководства. Когда он затевал фракционную борьбу, то вел дело к победе, не гнушаясь ничем. Когда же он занимал ответственные посты, его вклад в общественные дела был полновесным и незаурядным. Холодную, рассчитанную игру он никогда не вел. Говорил что думал. Так оно лучше.

Гладстон был обязан славой оратора не столько своим опубликованным речам, сколько воздействию их в свое время на публику. Место лорда Рандольфа Черчилля в политической истории определили не его слова и дела, а впечатление, какое его личность производила на современников. Оно было огромным, и в благоприятных обстоятельствах сыграло бы судьбоносную роль. Отец заключал в себе ту силу, своеобразие и шарм, что зачастую отмечают гения.

Перечитывая сейчас его письма ко мне, со всем прилежанием писанные, по обычаю того времени, собственной рукой, я понимаю наконец, как много он думал и как сильно тревожился обо мне. И безумно сожалею, что нам не довелось пожить вместе и по-настоящему узнать друг друга. Я часто захаживал к лорду Розбери на закате его дней, чтобы, принося дань уважения выдающемуся человеку, заодно послушать рассказы об отце. Отец словно подступал ближе, когда я беседовал с его задушевным прославленным другом. В последнюю встречу я сказал лорду

Розбери, что мне очень хотелось бы повернуть время вспять и поговорить с отцом на равных. Замечательно отозвался на мои слова престарелый государственный муж:

— Да, вы бы нашли общий язык.

В июне 1894-го я чертил дорожную карту на Кобем-Коммон, когда велосипедист посыльный доставил мне из колледжа распоряжение немедля отправляться в Лондон: на следующий день отец отбывал в кругосветное путешествие. Обычно полагалось обратиться к учебному начальству с просьбой о предоставлении отпуска, но тут обошлось без канцелярщины. Отец телеграфировал прямо военному министру, сэру Генри Кэмпбеллу-Баннерману: «В свой последний день в Англии…» — и меня без проволочек снарядили в Лондон.

Назавтра утром мы поехали на вокзал — мать, мой младший брат и я. Отпущенная четыре года назад в южноафриканском путешествии борода не могла скрыть до ужаса изможденного, искаженного душевными муками лица. Отец похлопал меня по колену — жест безыскусный, но выразивший все.

Он отправился в кругосветное плавание. Больше я его не видел — только быстро тающую тень.

В Сандхерсте мне преподали несколько уроков, показав, как следует себя вести и как офицеры разных званий должны обращаться друг с другом в быту и на службе. Мой командир роты, майор Болл из Уэльского полка, был очень строгий и вспыльчивый служака. Замкнутый сухарь, бесстрастно-вежливый, педантичный, непогрешимый, взыскательный, он всех держал в страхе. Ему не случилось поучаствовать в боевых действиях, но мы не сомневались, что поражению он предпочтет смерть на поле боя.

У нас было правило: уходишь из расположения части, первым долгом отметься в ротном увольнительном журнале и тогда считай, что тебе позволено отсутствовать. Однажды ехал я в двухместном экипаже (взятом напрокат) в Олдершот повидаться с другом из ополченческого батальона, который был там на учениях. Качу по Мальборо-Лайнз и кого, вы думаете, встречаю? — майора Болла собственной персоной, мчащегося на двуколке домой в Сандхерст. Приветствуя его, я снял шляпу, и мне стало не по себе: по лени или легкомыслию я не отметился в журнале! Ладно, подумал я, «не все потеряно. Может, он не заглянет туда до обеда, а я побыстрее вернусь и впишу себя». Я сократил свой визит в ополченческий батальон и погнал обратно в колледж. Вернулся я в шесть и сразу бегом к стойке, где лежал

журнал. Первым, что бросилось мне в глаза, были инициалы майора — О.Б. — в самом низу списка за этот день. Я опоздал. Он видел меня в Олдершоте, а моей фамилии в журнале не обнаружил. Я еще раз приник к списку и с изумлением увидел свое имя, вписанное рукой майора и заверенное его инициалами.

Я тогда уяснил, на чем стояла старая британская армия и как самая строгая дисциплина в офицерском корпусе поддерживалась без малейшего отступления от норм учтивости и светскости. Естественно, после такого урока я уже не позволял себе распускаться.

Похожий случай был зимой 1915 года, когда я служил в Гренадерском гвардейском полку в районе Лаванти. Наш полковник, тогда известный «Ма» Джеффрис, всем служакам служака, прекрасный офицер, шестнадцать месяцев стоически державший главный удар, на дежурстве запретил алкоголь (обязательная порция рома не в счет), хотя был страшный холод и люди сидели на передней линии обороны. Не то чтобы он отдал приказ — просто высказал пожелание не пускать алкоголь в окопы. В темном, сочащемся сыростью блиндаже распивалась бутылка портвейна, когда послышалось «Командир!» и по ступенькам сошел полковник Джеффрис. Молодой офицер, несомненно с задатками военного гения, ткнул оплывавшую свечу в горлышко бутылки. Такие подсвечники были у нас в ходу. И все сошло гладко. Но шесть месяцев спустя, находясь в отпуску, этот молодой офицер встретил полковника Джеффриса в Гвардейском клубе.

— Стаканчик портвейна? — предложил полковник.

Подчиненный не возражал. Принесли бутылку, стаканы были осушены.

— Свечкой не отдает? — спросил полковник, и оба рассмеялись.

В мой последний семестр в Сандхерсте, да простит мне читатель это отступление, сильнейшее мое негодование вызвала «Кампания за нравственную чистоту», начатая миссис Ормистон Чант. Летом 1894-го эта дама, член Совета Лондонского графства, ополчилась на наши мюзик-холлы. Главным образом ее беспокоил «променад» в «Эмпайр Театр». На вечерних представлениях, и особенно в субботу, просторное фойе бельэтажа заполнялось молодыми людьми обоего пола, которые не только болтали друг с другом во время представления и в антрактах, но еще освежались алкогольными напитками. Миссис Ормистон Чант и ее друзья сделали ряд заявлений, осуждающих пьянство и аморальное поведение этих весельчаков; они

намеревались прикрыть «променад», и прежде всего теснившиеся на нем бары. Похоже, в большинстве своем английская публика иначе смотрела на вещи. Ее мнение выразила «Дейли телеграф», популярнейшая тогда газета. Ряд разящих статей, опубликованных там под рубрикой «Воинствующие ханжи», вызвал поток читательских откликов, подписанных псевдонимами, вроде: «Мать пятерых», «Джентльмен и христианин», «Сам живи и другим не мешай», «Джон Булль» и так далее. Полемика возбудила острый общественный интерес, и нигде не вникали в нее дотошнее, нежели у нас в Сандхерсте. Дважды в месяц нас отпускали в увольнение с середины субботы до конца воскресенья, и мы привычно шли на этот самый «променад». Нас шокировали нападки миссис Чант. В поведении юношей и девушек мы решительно не видели ничего предосудительного. Наоборот, считали мы, осуждения заслуживали громадные капельдинеры в ливреях, грубо, по-хамски выдворявшие тех, кто по неосторожности допустил хоть малейшую вольность. Мы считали выступление миссис Ормистон Чант безосновательным, идущим вразрез с лучшими традициями британской свободы.

У меня чесались руки дать ему отпор, и как-то я прочел в «Дейли телеграф», что некий джентльмен, совершенно не помню его имени, предлагает основать гражданскую лигу противодействия нетерпимости миссис Чант и иже с ней. Называться она будет «Лига в защиту увеселений». Лига предполагала сформировать комитеты и исполнительный орган, открыть филиалы и вербовать членов, организовать подписку, проводить публичные собрания и издавать программную литературу. Я немедленно предложил свои услуги. Я написал славному Основателю (там был адрес), выражая сердечную поддержку его намерениям и готовность сотрудничать всеми законными средствами. В положенный срок я получил письмо на бланке Лиги, коим меня извещали, что моя помощь охотно принимается и я приглашаюсь на первое собрание исполнительного комитета, имеющее быть в следующую среду, в шесть часов, в лондонском отеле.

В среду после полудня занятий не было, и примерные кадеты могли по договоренности отлучаться в Лондон. Три оставшихся дня я сочинял речь, которую, может статься, я буду призван произнести перед толпой комитетских граждан с суровыми лицами, — о том, что настал час развернуть флаг британской свободы, за которую «Хэмпден сложил голову на поле боя, а Сидни на плахе». Готовилось серьезное испытание, поскольку я еще никогда не выступал перед публикой. Три-четыре раза я

писал и переписывал свою речь, со всей тщательностью укладывая ее в памяти. Это был серьезный конституционно обоснованный доклад об исконных правах британских подданных, об опасности государственного вмешательства в обычаи законопослушного населения и о множестве пагубных последствий репрессивных мер, принимаемых наперекор здоровому общественному мнению. Я не сгущал краски, но и не игнорировал факты. Я предлагал вести себя сдержанно и благожелательно, убеждать логикой, сдобренной здравым смыслом. Больше того, в заключение я призывал проявить снисходительность к нашим заблудшим оппонентам. Ведь в основе людских деяний чаще лежит заблуждение, чем зло. Завершив сей труд, я с нетерпением и вместе с тем с тревогой ожидал минуты своего торжества.

Только-только закончились утренние занятия, как я наскоро проглотил ленч, переоделся в штатское и поспешил на станцию, где поймал нескорый поезд до Лондона. Должен заметить, что в ту пору я был очень стеснен в финансах; билет в оба конца оставил меня с несколькими шиллингами в кармане, а очередное месячное пособие (10 фунтов) ожидалось только через две с лишним недели. Коротая время в дороге, я мысленно повторял фразы и пассажи, казавшиеся мне особо эффектными. У вокзала Ватерлоо я взял кэб и поехал к Лестер-сквер, откуда было недалеко до отеля, служившего исполнительному комитету местом сбора. Удивил меня и привел в некоторое замешательство запущенный и просто безобразный вид улиц на задах Лестер-сквер и уж совсем огорошил отель, куда меня наконец довез кэб. Впрочем, подумал я, они, наверное, правы, избегая фешенебельных кварталов. Если это движение хочет встать на ноги, оно должно питаться народными чаяниями; оно должно отозваться на те простые чувства, что разделяют все классы общества. Нельзя компрометировать себя близостью к золотой молодежи или высшему обществу. Я сказал швейцару:

— Я прибыл на собрание «Лиги в защиту увеселений», оно назначено на сегодня в вашем отеле.

Швейцар озадаченно помолчал и произнес:

— По-моему, касательный до этого джентльмен сидит в курительной.

Соответственно в курительную, сумрачную комнатенку, я был препровожден и там лицом к лицу встретился с основателем новой организации. Он был один. У меня упало сердце. Скрывая разочарование и еще слабо на что-то надеясь, я спросил:

— Когда мы пойдем на собрание?

Он тоже казался смущенным:

— Я послал приглашение нескольким господам, но никто не объявился, так что нас только двое. Мы можем набросать устав, если вы не против.

— Вы же писали на бланке Лиги, — сказал я.

— Пять шиллингов не убыток, — отвечал он. — Начинать такие дела всегда лучше с бланка, по всей форме. Люди охотнее откликаются. Вот вы откликнулись. — Моя сдержанность, видимо, обескуражила его, он помолчал и добавил: — Сегодня в Англии очень трудно раскачать людей. Они все сносят. Не знаю, что случилось со страной — полное безразличие.

Развивать эту тему не имело смысла, а уж злиться на Основателя Лиги — тем паче. Я холодно и решительно раскланялся и вышел на улицу с распиравшей грудь великолепной речью и полукроной в кармане. Тротуары кишели спешащими людьми, погруженными в свои маленькие личные заботы и равнодушными к соображениям высшего порядка. С жалостью и не без пренебрежения мерил я взглядом этих прохожих. Оказывается, не так-то просто будет направить общественное мнение в нужное русло. Если эти слабые выкормыши демократии так мало пекутся о своих свободах, то как же они будут защищать обширные края и земли, завоеванные веками аристократического и олигархического правления? На минуту мне стало страшно за Империю. Потом я подумал об обеде, и перед глазами встал мертвенно-бледный призрак полукроны. Нет, так не пойдет! Пожертвовать досугом, примчаться в эйфории в Лондон, потом не произнести речь, которая, могло статься, определила бы народные судьбы, — и что же, возвращаться в Сандхерст голодным, проглотив одну булочку и чашку чая?! На это у меня силы духа не хватило. Я сделал то, чего не позволял себе ни прежде, ни потом. Ноги уже вынесли меня на Стрэнд. Мой взгляд упал на три золотых шара над известным ломбардом мистера Аттенборо. У меня были очень хорошие золотые часы, отцов подарок на прошлый день рождения. В конце концов, великие монархии закладывали в тяжелую минуту королевские регалии.

— Сколько вы хотите? — спросил процентщик, уважительно взвесив на ладони часы.

— Пяти фунтов достаточно, — сказал я.

Что-то записали в книгу. Я получил на руки квитанцию, про которую раньше слышал только в мюзик-холльных песенках, пятифунтовую банкноту и очутился опять в центре Лондона. Домой я добрался без приключений.

На следующий день сандхерстские друзья пожелали узнать, как прошло собрание. Раньше я уже познакомил их с некоторыми

вескими аргументами, которые собирался пустить в ход. Им хотелось узнать, как они были приняты. Что вообще представляло собой это собрание? Они восхищались мной, осмелившимся держать речь и отстаивать нашу позицию перед исполнительным комитетом — солидными людьми, политиками, олдерменами и так далее. Им все хотелось знать. Я не стал откровенничать с ними. Избегая конкретики, я упирал на трудности агитационной работы в спокойной и в целом всем довольной стране. Я говорил о важности пошаговой работы, о необходимости убедиться в успешности шага, прежде чем предпринять следующий. Создание исполнительного комитета — это первый шаг, он сделан. Подготовка устава Лиги и распределение обязанностей и прав — это второй шаг, он сейчас делается. Третьим шагом должно стать обращение к широким массам, и от того, как они откликнутся, зависит успех или неуспех предприятия. Мой отчет был выслушан недоверчиво — а что мне оставалось делать? Будь у меня собственная газета, моя речь — слово в слово! — появилась бы на первой полосе, прерываемая заключенными в скобки «бурными овациями» комитета, предваренная кричащими заголовками, весомо поддержанная передовицами. Тогда «Лига в защиту увеселений», может, и развернулась бы. И в начале девяностых, богатых всяческими начинаниями начинаний, она таки могла развернуться и сказать англоязычному миру свое остерегающее слово, причем сказать настолько убедительно, что могущественные Соединенные Штаты — даже они — смогли бы избежать «сухого закона». Вот опять перед нами проходит Судьба, только теперь с прелестной лужайки ее след свернул на сухой каменистый большак.

За мной судьба оставила еще один удар в этом крестовом походе. Кампания миссис Чант не была совсем безуспешной, она навела такой страх, что наша сторона, вполне по-британски, пошла на компромисс. Было решено, что скандальные бары отделят от «променада» легкими полотняными ширмами. Таким образом они окажутся вне «променада» и юридически будут так же от него далеки, как если бы находились в соседнем графстве; притом законом не возбраняются достаточной ширины «входы-выходы», вкупе с умеренной, не перекрывающей движения воздуха, высотой ширм. Таким манером соседствующие храмы Венеры и Бахуса будут разведены, и свои покушения на человеческие слабости теперь смогут совершать только по очереди, но никак не вместе. Стойкие ряды «Воинствующих ханжей» пропели громкую «осанну». Владельцы же мюзик-холла, разразившиеся поначалу уязвленными и протестующими воплями, быстро примирились со своей судьбой. Но Сандхерст не

успокоился. Нас не спросили, заключая позорный мир. Я был возмущен лицемерием происшедшего. В те дни я не представлял себе, какую огромную и безусловно благую роль играет надувательство в общественной жизни великих наций, обитающих в государстве с демократическими свободами. Мне были нужны четкие дефиниции обязательств государства и прав отдельного индивида, смягченные, если вам так нужно, общественной целесообразностью и внешним приличием.

Случилось так, что в первый же субботний вечер после воздвижения в «Эмпайр Театр» этих полотняных заслонов мы туда порядочным числом заявились. Там было еще много университетских ребят примерно нашего возраста — все книжные черви, публика недисциплинированная и ненадежная. Новые сооружения были внимательно осмотрены и скоро стали предметом недоброжелательной критики. Потом какой-то джентльмен проткнул тростью полотно. Его примеру последовали. Не мог отстать и я от моих товарищей. И произошла удивительная вещь: толпа человек в двести-триста пришла в возбуждение, разъярилась. Люди бросились на эти хлипкие баррикады и разнесли их в клочья. Стражи порядка были бессильны. Трещало дерево, лопалась парусина, баррикады пали, и бары воссоединились с «променадом», как оно и велось исстари.

В этой далеко не благочестивой обстановке состоялось мое посвящение в ораторы. Взобравшись на обломки, точнее, выглядывая из них, я обратился к мятежной толпе с речью. В точности мои слова не сохранились, но втуне они не пропали, я несколько раз слышал их пересказ. Отбросив конституционные доводы, я прямо воззвал к чувствам и даже страстям слушателей, сказав в заключение:

— Вы видели, как сегодня мы сокрушили эти баррикады; так давайте на ближайших выборах сокрушим тех, кто ответствен за них.

Ответом были восторженные рукоплескания, и мы вывалились на площадь, победно потрясая кусками дерева и лоскутами полотна. Мне вспомнилась смерть Юлия Цезаря: так же выбежали на улицу заговорщики, размахивая окровавленными кинжалами, сразившими тирана. Всплыло в памяти и взятие Бастилии, подробности коего мне тоже были известны.

Начать революцию легко, но на ее гребне далеко не уедешь. Нам предстояло поймать последний поезд в Сандхерст или получить взыскание. Этот поезд, и сегодня отправляющийся с вокзала Ватерлоо сразу после полуночи, доставляет в Лондонский некрополь дневной «урожай» покойников. На его конечную станцию Фримли (в окрестностях Олдершота) мы прибыли в три

часа утра, и оттуда нам еще оставалось восемь-десять миль пути до Королевского военного училища. В этой глуши мы не нашли никакого транспорта. Постучали в дверь местного трактирщика. Может быть, сильно постучали. После продолжительного ожидания, когда наше все более явно выражавшееся нетерпение достигло предела, распахнулась верхняя створка двери и на нас уставилось дуло допотопного ружья, за которым маячило бледное злющее лицо. В Англии дело редко доходит до крайности. Мы не дрогнули, объяснили, что нам нужно, и предложили деньги. Хозяин, успокоившись и расположившись к нам, выдал старую клячу и еще более древний экипаж, и мы всемером или ввосьмером благополучно добрались до Камберли. Потайными путями, не тревожа привратника, мы добрались до своих комнат — и очень вовремя, к утренней поверке.

Этот эпизод наделал шуму, даже попал в передовицы многих газет. Некоторое время я опасался, как бы внимание не было привлечено к моему участию в событиях. Я сильно рисковал — имя моего отца по-прежнему не сходило с уст. Гордый своим участием в отпоре, данном тирании, каковой является долгом каждого гражданина, желающего жить в свободной стране, я понимал, что допустима противоположная точка зрения и она может восторжествовать. Нельзя рассчитывать на то, что представители старшего поколения и власти просветленными, понимающими глазами посмотрят на то, что у них называется молодой развязностью. Они способны на такую гадость, как выдернуть несколько человек и учинить «разбирательство». Я всегда был готов пострадать, но спешить с этим не собирался. К счастью, когда мое имя начали связывать с событием, интерес к нему в публике окончательно угас, и ни в училище, ни в Военном министерстве не нашлось никого, кому вздумалось бы его распалять. Вот образчик удачи, который надо помнить в минуту неудачи, а она не заставит себя ждать. Остается только сказать, что выборы в совет графства прошли неправильно. Восторжествовали прогрессисты, как они себя называли. Баррикады восстановили уже в кирпиче, обмазали штукатуркой, и все наши усилия пошли прахом. Но ведь никто не скажет, что мы плохо старались.

Скоро кончился мой срок в Сандхерсте. Вместо того чтобы барахтаться в самом низу, и то почти из милости, я закончил с отличием, восьмым из ста пятидесяти в моем выпуске. Упоминаю об этом, чтобы подтвердить: нужное мне я схватывал быстро. Трудное было время — и счастливое. Всего три семестра, и конец каждого ознаменовывался почти автоматическим переводом из

младших в средние, а потом из средних в старшие. Старший ты уже через год. Такое ощущение, что растешь с каждой неделей.

В декабре 1894-го я вернулся домой, совершенно готовый к тому, чтобы вступить в ряды королевских военных сил. Если в школе я был одиночкой, то в Сандхерсте обзавелся кучей друзей, трое-четверо из коих здравствуют по сей день. Остальные ушли из жизни. Многих друзей и просто ротных товарищей унесла Англо-бурская война, почти всех остальных прикончила Мировая. Немногим уцелевшим вражеские пули порвали бедро, грудь, лицо. Привет им всем.

Я вышел из Сандхерста в мир. Он открылся передо мной, как пещера Аладдина. С начала 1895-го и до настоящей минуты у меня не было времени оглянуться. Я могу по пальцам пересчитать дни, когда маялся от безделья. Нескончаемый фильм, и ты в нем играешь. Страшно увлекательно! И самыми живыми, разными, напряженными, исключая, конечно, первые месяцы Мировой войны, были 1895–1900 годы, которыми ограничен сегодняшний рассказ.

Когда я оглядываюсь на них, я не могу не возблагодарить всевышних, давших нам жизнь. Каждый день был хорош, и каждый следующий лучше предыдущего. Взлеты и падения, опасности и поездки, и всегда дорожное чувство, всегда манит надежда. Объявитесь же, молодые! Вы как никогда нужны, чтобы заполнить брешь в прореженном войной поколении. Ни часу нельзя терять. Вы должны занять свое место на переднем краю Жизни. Двадцать — двадцать пять лет! Возраст дерзаний! Не миритесь с положением вещей. «Ибо ваша земля, и что наполняет ее»[8]. Вступайте во владение наследием, берите на себя обязательства. Снова взметните славные знамена, двиньте их на новых врагов, подступающих к воинству людскому, и вы их сомнете. Не спешите сказать «Нет». Не миритесь с неудачей. Не соблазняйтесь личным успехом или признанием. Вы наделаете массу ошибок, но, оставаясь великодушными, честными и пылкими, вы не навредите миру, даже не причините ему сильной боли. Он для того и существует, чтобы его домогались и завоевывали молодые. Только раз за разом покоряясь, мир живет и процветает.

Глава 5
Четвертый гусарский полк

Здесь я должен представить читателю человека замечательного душевного и физического склада, который тогда вошел в мою жизнь и стал играть в ней важную роль. Полковник Брабазон командовал 4-м гусарским полком. Полк пришел в Олдершот из Ирландии годом раньше и был расквартирован в Восточных кавалерийских казармах. Полковник Брабазон издавна дружил с отцом, и еще школьником я несколько раз видел его. Кадетом в Сандхерсте я имел честь быть приглашенным на полковой обед. Незабываемое событие. В те дни обед кавалерийского полка мог вскружить не одну молодую голову. Двадцать-тридцать офицеров во всем блеске голубых с золотом мундиров собирались вокруг круглого стола, на котором сверкали кубки и трофеи, за двести лет собранные полком в спортивных и боевых ристалищах. Это походило на государственный прием. В сверкании, изобилии, церемонно и выдержанно, великолепный и долгий обед шел под звуки полкового струнного оркестра. Меня очень тепло приняли, и благодаря моему осмотрительному и скромному поведению несколько раз приглашали потом. Несколько месяцев спустя мать сказала мне, что полковник Брабазон не прочь взять меня к себе, но что отец категорически против. Похоже, он еще считал возможным, используя свои связи, определить меня в пехоту. Оказывается, герцог Кембриджский выразил неудовольствие тем, что я не мечу в 60-й стрелковый, и обронил, что в нужное время всегда находятся способы преодолеть трудности. «И вообще, — писал отец, — не след Брабазону, которого я считаю одним из лучших солдат в нашей армии, соблазнять парня службой в 4-м гусарском».

Но я уже только ею и бредил. После грустного возвращения домой отцу было не до меня. Мать объяснила ему, как сами собой устраиваются мои дела, и он примирился и даже был доволен, что я стану кавалерийским офицером. Вот что, среди прочего, он спросил меня напоследок:

— Своих лошадей-то завел?

Отец умер ранним утром 24 января. Вызванный из соседнего дома, где я ночевал, я бежал через темную, занесенную снегом Гровенор-сквер. Он легко умер. Сознание у него еще прежде помрачилось. Оборвались мечты стать ему товарищем, пройти в

парламент его единомышленником и помощником. Оставалось только продолжать его дело и охранять его память.

Теперь я был сам себе хозяин. Помощи и совета я всегда мог попросить у матери; но мне уже сровнялся двадцать один год, и родительской опекой она меня не угнетала. Сделавшись вскоре моей ярой союзницей, мать употребляла свое огромное влияние и безграничную энергию на то, чтобы поддерживать мои планы и отстаивать мои интересы. В свои сорок лет она была так же молода, красива и обворожительна. Мы сотрудничали на равных, скорее как брат и сестра, нежели как мать с сыном. Так мне казалось, по крайней мере. И так оно оставалось до конца.

В марте 1895-го я был приписан к 4-му гусарскому полку. В нетерпении я прибыл в полк за шесть недель до срока, и меня сейчас же пристегнули к группе новобранцев, проходивших жесткую и суровую выучку. Мы дневали и ночевали в манеже, в конюшнях или на плацу. Приемами верховой езды, после двух пройденных мною ранее курсов, я владел неплохо, но, признаться, строгостью муштры 4-й гусарский превосходил все, что мне довелось испытать в армейской вольтижировке.

Правило тогда было такое: новоиспеченному офицеру полагались шесть месяцев рекрутской подготовки. Верхом ли, в пешем ли строю, он был рядом с рядовыми и выполнял то же, что и они. Возглавляя ли колонну в манеже, стоя ли справа от эскадрона на плацу, он должен был подавать пример. А это не всегда удавалось. Вскакивать на идущую рысью или легким галопом неоседланную лошадь и тут же соскакивать; брать высокий барьер без стремян и даже без седла, да еще со сцепленными за спиной руками; трястись на жестком хребте ходко рысящего коня, зажав между ног его гладкий круп, — как тут не оплошать? Сколько раз, ошарашенный ударом о землю и болью, я поднимался с песка, поправлял «пирожок» с золотым галуном, державшийся на пропущенном под подбородок ботиночном шнурке, из последних сил стараясь не уронить при этом достоинства, между тем как двадцать рекрутов, украдкой ухмыляясь, наслаждались зрелищем того, как их командир принимает те же муки, что терпят они сами. Я имел несчастье в самом начале занятий растянуть портняжную мышцу, от которой зависит посадка. Пытка была ужасная. Лечения гальванизацией тогда не знали; приходилось надсаживать дальше и без того поврежденную мышцу, вдобавок терзаясь мыслью, что прослывешь хлюпиком, если попросишь позволения передохнуть хотя бы денек.

Полковой берейтор по прозвищу Джоко, профессиональный

мучитель, в это самое время особенно нетерпим. Один из младших офицеров поместил в «Олдершот таймс» следующее объявление: «Майор…, профессор верховой езды, Восточные кавалерийские казармы. Обучение охоте 12 уроков и стипль-чезу 18». После шквала насмешек он, по-видимому, решил, что каждая порхнувшая в классе улыбка имеет отношение к нему.

Однако я считаю, что в разумных пределах юношей полезно приучать без ропота сносить трудности; и в остальном передо мной открылась веселая, прекрасная жизнь. Еще не истек срок кавалерийской подготовки, а молодым офицерам уже разрешили выезжать со своими подчиненными конным строем, а то и участвовать в общих учениях в качестве замыкающих. Волнует и пьянит позвякивание, сопровождающее маневры эскадрона на рысях, и распирает восторг, когда то же самое проделывается в галопе. Масса возбужденных коней, бряцание амуниции, упоенность движением, колыхание плюмажей, чувство причастности живому организму — все это превращает кавалерийские учения в нечто восхитительное.

Для несведущего читателя должен пояснить, что конница маневрирует в колонне, а сражается развернутым строем, и кавалерийские учения состоят в быстрых и разнообразных переходах от одного построения к другому. Поэтому, заезжая флангом или строясь уступом, эскадрон может в любую минуту оказаться в нужном месте фронта. Таков же принцип передвижения крупных конных соединений; полки, бригады и даже кавалерийские дивизии способны в кратчайший срок занять боевые позиции, готовясь к величайшему в жизни конника событию — Атаке.

Позор, что алчная, подлая, авантюрная Война все это отвергла и предпочла услуги очкариков-химиков и летчиков с пулеметчиками. Но в Олдершоте в 1895 году все эти ужасы еще не обрушились на человечество. Драгуны, уланы и в первую очередь гусары еще сохраняли за собой освященное временем место на поле боя. Из жестокой и блистательной Война превратилась в жестокую и омерзительную. Она вконец испортилась. И виноваты Демократия и Наука. Едва этим путаникам и занудам позволили участвовать в боевых действиях, как судьба Войны была предрешена. Вместо всемерно поддержанных народной любовью хорошо подготовленных профессионалов, малым числом, дедовским оружием, красивыми ухищрениями старомодного маневра отстаивающих государственные интересы, мы имеем чуть не все народонаселение, включая даже женщин и младенцев, натравленных на безжалостное взаимное истребление, за вычетом

кучки близоруких чиновников, чья задача — составлять списки убитых. Едва Демократия оказалась допущена, а вернее, сама влезла на поле боя, как Война перестала быть джентльменским игралищем. К черту! Получите Лигу Наций.

И право, в девяностые годы было на что посмотреть, когда генерал-инспектор Лак управлял тридцатью-сорока эскадронами в составе кавалерийской дивизии как одним соединением. Вот это роскошное воинство выравнивает ряды, поступает приказ развернуть фронт на пятнадцать, скажем, градусов, и наружной бригаде надо вскачь наверстывать пару миль, поднимая клубы пыли, сквозь которые не видно и на пять ярдов вперед, в результате чего утренняя учеба не обходится без двух десятков падений и полудюжины увечий. Но когда фронт выровнен и полк или бригаду бросают в атаку, тут уж никак не унять яростного ликования.

Потом, уже в казарме, мои восторги охлаждало то соображение, что у немцев-то двадцать кавалерийских дивизий — таких же великолепных, как наша драгоценная и единственная, к коей я принадлежу; и еще тревожил вопрос: что будет, если несколько зловредных типов окопаются в какой-нибудь норе с «максимом» и пойдут палить.

Еще были великолепные парады, которые принимала, сидя в карете, королева Виктория, когда весь олдершотский гарнизон числом до 25 тысяч, то лазурно-золотой, то пурпурно-стальной, широким искрящимся потоком тек мимо нее — конница, пехота и артиллерия, да в придачу инженерные части и части тылового обеспечения. Мне всегда представлялось абсолютно неправильным, что великие европейские державы — Франция, Германия, Австрия и Россия — проделывают то же самое у *себя* в двадцати разных местах одновременно. Я недоумевал, почему наши государственные мужи не примут международное соглашение, по которому в случае войны каждая страна выставит, как на Олимпийских играх, равные команды, и тогда лучшие национальные силы одним только армейским корпусом решат, кому главенствовать в мире. Но с викторианских министров какой спрос, они это прохлопали и, отказавшись от знающих специалистов и профессионалов, свели Войну к мерзейшим материям — численности войск, деньгам, технике.

Мы, начавшие понимать, какое вырождение грозит Войне, неизбежно приходили к выводу, что британской армии уже не суждено участвовать в каком бы то ни было европейском конфликте. Куда нам, если у нас только один армейский корпус с одной кавалерийской дивизией, ну и ополченцы с добровольцами, дай им Бог здоровья. И никакой восторженный

лейтенантишка или ретивый штабник в Олдершотском управлении и помыслить в 1895-м не могли, что наше ничтожное воинство еще раз направят в Европу. А ведь настанет день, когда капитан кавалерии Хейг (который той весной проходил с нами выучку в Лонг-Вэлли) посетует на то, что ему пришлось вступить в решающий бой, имея под началом не более сорока британских дивизий вкупе с первым американским армейским корпусом (а это худо-бедно шестьсот тысяч человек), и поддержать их он смог всего четырьмя сотнями артиллерийских бригад.

Я часто задумываюсь, довелось ли какому-то еще поколению пережить такой же потрясающий материальный и духовный переворот, как нам. Не сохранилось почти никаких ценностей и устоев, которые я привык полагать незыблемыми и жизненно необходимыми. И напротив, произошло все то, что я считал или приучен был считать абсолютно невозможным.

Полковник Брабазон был обедневшим ирландским помещиком, всю жизнь отдавшим службе в британской армии. В нем воплотился герой романов Уиды[9]. Со времени вступления в Гренадерский гвардейский полк в начале 1860-х он был любимцем светского общества, одной из ярчайших военных звезд в лондонском высшем кругу. На протяжении всей жизни его связывала дружба с принцем Уэльским. При дворе, в клубах, на ипподроме, на охоте с ним обходились как с почетным гостем. Закоренелый холостяк, он вовсе не сторонился женщин. Смолоду он наверняка был писаным красавцем. Ростом полковник тоже не подкачал: до шести футов чуть не дотягивал, но выглядел на все шесть. Сейчас он был в расцвете сил и внешность имел поразительную. Чисто выбритое, с правильными чертами лицо, ясные серые глаза и крепкий подбородок еще выигрывали благодаря усам, о каких мог только мечтать кайзер. Вдобавок он щеголял манерами денди предшествующего поколения и не выговаривал звук «р» — то ли правда картавил, то ли манерничал. Понятливый и опытный собеседник, он замечательно держался в любой компании — и с образованными людьми, и с народом попроще.

Его воинская карьера была долгой и складывалась по-разному. Стесненные обстоятельства вынудили его через шесть лет выйти из гренадерского полка, и ему пришлось весьма туго. Он служил волонтером — это большая честь — в Ашантийской кампании в 1874-м и настолько отличился там, что в высших сферах вызрело решение восстановить его в офицерском статусе. Эта почти беспрецедентная милость была-таки ему оказана. Принц Уэльский хлопотал о его назначении в свой полк, 10-й

гусарский — в те дни, пожалуй, самое престижное армейское соединение. Но вакансия все не открывалась, и его на время определили в пехоту, в линейный полк. На вопрос «К кому вы сейчас приписаны, Браб?» он отвечал: «Чевт их запомнит, у них еще зеленые канты, а ехать туда с вокзала Ватевлоо».

Однажды, уже в поздние годы, он спросил начальника станции в Олдершоте:

— А где же лондонский поезд?

— Он ушел, полковник.

— Ушел?! Доставьте двугой.

Переведенный наконец в 10-й гусарский, он умножил свою славу, участвуя в Афганской войне в 1874 и 1879-м, а также в яростной схватке у Суакина в 1884-м. За боевые заслуги он два раза подряд вне очереди повышался в звании и потому в армейской табели о рангах был старше своего полкового командира. В результате по крайней мере однажды случилась неприятная история, возможная только в тогдашней британской армии. Полковой командир нашел какой-то непорядок в эскадроне Брабазона и разгорячился до такой степени, что отослал эскадрон в казармы. Брабазон был глубоко уязвлен. Несколько недель спустя на маневрах 10-й гусарский полк был сведен в бригаду с другим кавалерийским полком. Законы полковой субординации утратили силу, и армейский чин Брабазона автоматически поставил его во главе бригады. Столкнувшись лицом к лицу со своим начальником, а ныне подчиненным, Брабазон слово в слово повторил ему его собственные едкие замечания и в заключение жестко распорядился:

— Убевите свой полк в казавмы, сэв.

Этот эпизод взбудоражил сливки армейского сообщества. Спору нет, закон был на стороне Брабазона. В те дни люди утверждали свои права со всей непреклонностью, сегодня это не принято. Однако на сей счет существовало два мнения.

Было ясно, что 10-м гусарским Брабазону никогда не командовать, и в 1893 году Военное министерство предложило ему возглавить 4-й гусарский. Это неизбежно бросало вызов старшим офицерам полка. Кому понравится приход чужака с намерением «навести порядок»? Когда этот грозный полковник, сверкая медалями и значками, в ореоле светской и военной славы, принял под свое командование полк, у которого и родословная-то побогаче, чем у 10-го гусарского, встретили его, конечно же, недружелюбно. Брабазон не пытался ни перед кем заискивать. Наоборот, он взялся за дело с уверенностью профессионала и добился того, что его не только беспрекословно

слушались, но и обожали, по крайней мере капитаны и младшее офицерье. Зато некоторым старшим он спуску не давал.

— У какого фавмацевта вы бевете это шампанское? — одернул он как-то вечером заносчивого председателя офицерской столовой.

Общаясь со мной вне службы, в которой Брабазон никому не делал поблажек, он всегда излучал обаяние. Я скоро обнаружил, что за его разговорами о войне и спорте, которые, наряду с верой и неверием и еще парой тем, были постоянным предметом наших застольных дискуссий, скрывается широкая начитанность. Был случай, когда я процитировал: «Для стриженой овечки бог унимает ветер», и Брабазон спросил: «Откуда это?» Гордясь собой, я ответил, что обычно источником называют Библию, но на самом деле это из «Сентиментального путешествия» Стерна. «Вы его пвочли?» — как бы между прочим спросил он. К счастью, я был начеку и вообще врать не умею и потому признался, что не читал. Стерн был в числе особо чтимых Брабазоном авторов.

Полковнику, однако, случалось терпеть неудачу. Незадолго до моего вступления в полк у него случился жесткий конфликт не с кем иным, как с сэром Ивлином Вудом, тогдашним олдершотским главнокомандующим. Брабазон не только внес ряд изменений (в основном вполне оправданных) в рабочую форму полка — например, простые желтые нашивки вместо золотых галунов, — но сам свыше тридцати лет носил под нижней губой эспаньолку, что безусловно противоречило разделу VII Королевского устава — «Подбородок должен быть чисто выбрит (исключение составляют саперы, коим положено носить бороду)». За тридцать лет войны и мира никто из начальствующих на эспаньолку Брабазона не покушался. Он видел в ней свое преимущественное право, которым, несомненно, гордился. Не успел он привести свой полк под командование Олдершотского управления, как сэр Ивлин Вуд вознамерился показать, что авторитет для него — ничто. Желтые нашивки спороли, саржевые робы, в которых полк привык выезжать на учения, изгнали, восстановили золотые галуны, вернули дедовские тесные суконные доломаны. Вынужденный подчиниться, полковник неофициально пожаловался в Военное министерство. Безусловно, правда была на его стороне. Фактически не прошло и года, как эти разумные и экономные новшества были введены во всей армии. Но ни в Военном министерстве, ни в Лондоне никто не осмелился возражать сэру Ивлину Вуду, потрясавшему Королевским уставом. Когда же сэр Ивлин узнал, что полковник критикует его распоряжения, он решился на отчаянный шаг. Полковнику был направлен письменный приказ явиться на

следующий смотр «бритым в соответствии с уставными требованиями». Это было смертельное оскорбление. Брабазону ничего не оставалось, как подчиниться. Ночью он совершил жертвоприношение, а наутро в обезображенном виде предстал перед своими людьми; те были ошеломлены увиденным и шокированы услышанным. Полковник тяжело пережил случившееся и в дальнейшем никогда не говорил об этом. И если упоминал о сэре Ивлине Вуде, то только по долгу службы.

Таков был человек, под чьим началом я имел честь служить и чью теплую и нерушимую дружбу сохранял все оставшиеся ему двадцать лет жизни. Полковник был несгибаемый тори крепчайшей и надежнейшей выделки. Он исповедовал три главных и основательных принципа: Протекционизм, Военная повинность и возрождение Законов о регламентации проституции. О правительствах и политических деятелях он судил по тому, насколько они разделяют — или готовы разделить — его программу Но никакие политические перипетии — ни споры вокруг фритредерства, ни бюджет Ллойда Джорджа, ни раздоры в Ольстере — не сказались на наших отношениях.

Летом 1895-го мы с восторгом прочитали, что правительство радикалов-гомрулеров потерпело поражение в палате общин и лорд Солсбери снова формирует Кабинет. Все любили лорда Розбери, считая его патриотом. Но ему так не повезло с окружением! Оно-де связало его по рукам и ногам, и он по слабости поступился своими убеждениями. Опять же к власти его привели ирландские националисты, а те, как известно, не уймутся, пока не сокрушат Британскую империю. Я вступился было за Джона Морли, но меня и слушать не стали: мол, этот вообще хуже всех, путается с фениями и всяческой швалью. Особое удовлетворение вызывало то, что правительство погнали за срыв поставок пороха-кордита. Вдруг война — как без него сражаться? Прошел слух, что на самом деле кордита хватает, но против негодяев все средства хороши! Само собой, в ту пору либералы были не в чести в Олдершоте. Всеобщие выборы подтвердили, что страна разделяет наше отношение, поскольку лорд Солсбери одержал победу с перевесом в 150 голосов и консерваторы правили страной десять лет, в течение которых они провернули ряд войн, занимающих в этом рассказе значительное место. Не увлекись они протекционизмом, их бы не стронули с места. Потом пришли либералы и развязали величайшую из войн. Сейчас-то этому положен конец.

Меня пригласили на прием в Девоншир-Хаус после министерских банкетов. Там я увидел всех новых министров,

одетых по форме — в голубое с золотом. У них мундиры были не такие роскошные, как у нас, но отличались большим вкусом, и мне понравилось. Я разговорился с мистером Джорджем Керзоном, новым заместителем министра иностранных дел. Он изумительно выглядел, благостно, и мои поздравления принял чрезвычайно учтиво. Хотя его пост сам по себе незначителен, объяснил он мне, но дает представительство Министерству иностранных дел в палате общин, а с этим многое связано. Поэтому он надеялся в какой-то степени влиять на внешнюю политику, а не только отстаивать и объяснять ее. Там слонялись и молодые неудачники, оставленные не у дел; эти расцветали улыбками чаще прочих и обходили с поздравлениями людей, занявших посты, облюбованные ими самими.

А поскольку никому не пришло бы в голову прочить на какую-нибудь должность меня, я чувствовал себя вправе испытывать зависть.

В это же время умерла миссис Эверест. Едва узнав, что она серьезно больна, я отправился к ней в Лондон. Она жила в семье своей сестры в Северном Лондоне. Она осознавала серьезность своего положения, но тревожилась только обо мне. Тогда был страшный ливень, моя куртка насквозь вымокла. Ощупав ее, она забеспокоилась, что я схвачу простуду. Куртку сняли, хорошо просушили, и только тогда она успокоилась. У нее было единственное желание — повидать моего брата Джека, но, к сожалению, это нельзя было устроить. Я отправился в город найти хорошего специалиста, ее смотрели сразу два врача — перитонит. На последнем поезде надо было возвращаться в Олдершот, чтобы не опоздать на ранний утренний смотр. Сразу после него я поспешил к ее постели. Она еще узнавала меня, но постепенно сознание угасало. Она прожила такую чистую, исполненную любви жизнь, служа другим людям, так проста была ее вера, что ее не мучили страхи и вообще мало что тревожило. Все мои прожитые двадцать лет она оставалась самым дорогим и самым близким моим другом. Я телеграфировал священнику, у которого она служила четверть века назад. Он жил в Камберленде. Он помнил ее верную службу. Мы встретились у могилы. Он стал архидиаконом. «Эллоньку» он с собой не привез.

Когда я задумываюсь о судьбе бедных старых женщин, за которыми некому присмотреть, которым не на что дожить последние дни, я радуюсь, что приложил руку к той системе пенсий и страхования, какой нет ни в какой другой стране и которая так их поддерживает.

Глава 6
Куба

К завершающему десятилетию викторианской эры Империя уже столько времени вкушала прелести мирной жизни, что британская армия оскудела медалями и всем, что стояло за ними — опыт, подвиги. Ветераны Крымской войны и Сипайского восстания вышли в отставку. Те, кто в начале восьмидесятых годов воевал в Афганистане и Египте, добрались до высших чинов. За многие годы едва ли был сделан хоть один ответный выстрел, и когда в январе 1895-го я определился в 4-й гусарский, едва ли во всех вооруженных силах Ее Величества отыскался бы какой-нибудь капитан, не говоря уже о младшем офицере, понюхавший пороху. Чем редкостней вещь, тем она желаннее, и никогда еще боевой опыт не ценился так высоко и так не мечтали о фронте офицеры всех званий. Это была скорая дорога к повышению. Это были сияющие врата к почету. Это придавало счастливчику блеск в глазах стариков и юных дев. Как завидовали мы, молодые офицеры, майору, отличившемуся в Абу-Клеа! Как обожали полковника с шеренгой орденов на груди! С неутолимым любопытством слушали мы рассказы о многих волнующих, уже почти канувших в Лету схватках, которыми они, не чинясь, делились с нами. И как же хотелось нам иметь такой же запас воспоминаний, чтобы было что предъявить — если нужно, так многократно — отзывчивому слушателю! Мы гадали, выпадет ли нам в свою очередь переигрывать заново свои баталии за дружеским застольем в клубной столовой. Удальство в поло, на охоте или между отмашками на скачках, возможно, кое-что значит. Но «обстрелянный», «побывавший в деле» молодой воин был окружен ореолом, перед которым в единодушном, искреннем и неосознанном восхищении склоняли голову генералы, под началом которых он служил, солдаты, которыми он командовал, и женщины, за которыми он приударял.

Поэтому в кругах, где мне теперь приходилось вращаться, все просто бредили войной. И наши лихорадочные желания были вскорости полностью удовлетворены. Опасения (младшие офицеры говорили именно так), что тогдашние либеральные и демократические правительства никогда не допустят войны, вскоре оказались беспочвенными. Мирная эпоха закончилась. Война не заставит себя ждать. Ее хватит на всех. Хватит с излишком. Немногие из пылких, честолюбивых сандхерстских кадетов и юных офицеров, которые в те и чуть более поздние

годы с энтузиазмом вступали в королевскую службу, уцелеют в этом ожидающем их разгуле смерти. Вся британская армия с вожделением взирала на те крохи войны, что были подброшены индийским пограничьем и Суданом и доставались либо удачливым, либо взысканным особой милостью. Однако Англо-бурская война сильно раздвинет горизонты, сполна утолив аппетиты нашего маленького войска. А после грянет потоп.

Служба делилась на семь летних месяцев учебных и пять зимних — отпускных, и каждый офицер имел дважды по два с половиной месяца чистого отдыха. Все мои деньги ушли на лошадей для поло, охота была мне не по карману, и я огляделся — где что творится на свете. Лишь в одной точке земного шара дал трещину всеобщий мир, в котором человечество коснело многие годы. Затянувшаяся партизанская война между испанцами и кубинскими повстанцами вроде бы входила в решающую стадию. На мятежный остров был послан испанский главнокомандующий, знаменитый маршал Мартинес Кампос, известный не только как победитель марокканцев, но и как зачинщик переворотов в Испании; вслед за ним спешно отрядили подкрепление числом 80 000 человек, дабы покончить наконец с бунтовщиками. Ну вот, нашлось-таки место, где стреляют. С ранних лет я был помешан на солдатах и битвах, я часто воображал, какие чувства должен испытывать человек, впервые попавший под обстрел. Свист пуль и игра со смертью кружили мою юную голову обещанием небывалого, до замирания духа, переживания. К тому же теперь я был связан определенными профессиональными обязанностями, и мне казалось, что нелишне проверить себя, устроить себе пробу и убедиться, что подобное испытание мне по плечу. Соответственно мой взор привлекла к себе Куба.

Я посвятил в свой план товарища, тоже младшего офицера, Реджинальда Барнса, который в будущем командовал дивизиями во Франции; Барнс загорелся ехать. Обычно полковник и офицерская столовая в целом благосклонно относились к возможности обрести профессиональный опыт на театре военных действий. Это то же самое, полагали они, или почти то же самое, что серьезный охотничий сезон, без чего младший офицер или капитан теряют в глазах окружающих. Ободренный, я попросил старого друга отца, коллегу по «Четвертой партии», сэра Генри Вулфа, в ту пору нашего посла в Мадриде, исхлопотать для нас необходимое разрешение у испанских военных. Никто в дипломатическом корпусе, патриархом коего он являлся, не пользовался таким влиянием при испанском дворе, как этот старый добряк, и ради меня он не пожалел усилий. Вскоре в

пакете прибыли превосходные официальные и личные рекомендации и заверение посла в том, что по прибытии в Гавану нас сердечно примет главнокомандующий и нам покажут все, что того заслуживает. И в начале ноября 1895-го мы отплыли в Нью-Йорк, а оттуда в Гавану.

Нынешнее поколение, опустошенное войной, огрубевшее, увечное и ко всему равнодушное, скорее всего, не разделит тех трепетных чувств, с какими юный британский офицер, объевшийся мирной жизни, впервые приближался к доподлинному театру действий. Когда в неясном свете занимавшегося дня я увидел, как поднимаются и прорисовываются на фоне темно-синего горизонта берега Кубы, мне почудилось, что я плыву с капитаном Сильвером и впервые вижу Остров сокровищ. Здесь вершились настоящие дела. Здесь творилась история. Здесь что угодно может происходить. Здесь, конечно, что-то произойдет. Здесь я могу сложить кости. Поданный завтрак потеснил эти мысли, а суматоха выгрузки развеяла их окончательно.

Куба — прелестный остров. Молодцы испанцы, что назвали ее Антильской жемчужиной. Умеренный, но жаркий климат, обильные дожди, роскошная растительность, сказочно плодородная земля, великолепные виды — как тут было не помянуть недобрым словом то беспечное утро, когда наши предки выпустили из рук такое восхитительное владение. Впрочем, наша современная Демократия унаследовала достаточно, а уж удержит она это или разбазарит…

Тридцать пять лет назад город и Гаванский порт являли собой картину во всех отношениях впечатляющую, хотя нынешний прогресс, несомненно, к ней много добавил. Мы поселились в очень хорошей гостинице, налегли на апельсины, выкурили много сигар и предъявили властям свои мандаты. Все сработало великолепно. Едва письма были прочитаны, как нас сочли неофициальной, но тем не менее важной поддержкой, в трудную минуту присланной могущественной державой и старым союзником. Чем больше мы старались умалить значение нашего визита, тем большая ему придавалась весомость. Главнокомандующий был в отъезде, инспектировал посты и гарнизоны, но нам пообещали, что все устроится, как мы хотим. Маршала мы найдем в Санта-Кларе; путешествие не должно быть трудным; в головном и конечном вагонах бронепоезда едет охрана; стены вагонов защищены толстой обшивкой; когда начнется стрельба, обычное здесь дело, достаточно лечь на пол — и вы в безопасности. Наутро мы тронулись.

Маршал Мартинес Кампос любезно встретил нас и передал

одному из своих штабных офицеров, молодому лейтенанту, сыну герцога Тетуанского Хуану О'Доннеллу, прекрасно говорившему по-английски. Меня удивило имя, но мне объяснили, что оно стало испанским со времени Ирландской бригады. О'Доннелл сказал, что если нам хочется посмотреть на бои, то надо присоединиться к передвижной войсковой колонне. Как раз утром генерал Вальдес увел такую колонну из Санта-Клары к осажденному мятежниками городку Санкти-Спиритус, до которого сорок миль. Какая жалость, что мы припоздали. Но если они сделали всего один переход, прикинули мы, мы их легко нагоним. Наш молодой испанец покачал головой:

— Вы не проедете и пяти миль.

— Где же тогда неприятель? — спросили мы.

— Везде и нигде, — ответил он. — Пятьдесят конников могут ехать любой дорогой — вдвоем пускаться в путь нельзя.

Но генерала Вальдеса все же можно перехватить. Поездом добраться до Сьенфуэгоса, потом морем до Туны. Железнодорожная ветка от Туны до Санкти-Спиритуса, сказал он, неусыпно охраняется блокпостами и воинские составы регулярно там ходят. Итак, сделав круг в 150 миль, мы доберемся до Санкти-Спиритуса за три дня, а генерал Вальдес со своим войском прибудет туда только вечером четвертого дня. Там мы примкнем к его колонне и разделим ее боевой путь. Лошадей и ординарцев нам обеспечат, и генерал примет нас в свою свиту как почетных гостей.

Мы совершили наше путешествие не без риска, но и без происшествий. Несмотря на свое название, Санкти-Спиритус[10] — место скверное и нездоровое. Оспа и желтая лихорадка часто наведывались туда. Мы провели ночь в грязной, шумной, тесной таверне, а на следующий вечер в городок вошли генерал Вальдес и его колонна. Это была внушительная сила: четыре батальона пехоты (около 3000 человек), два эскадрона кавалерии и батарея на мулах. Выглядели солдаты подтянуто, молодцевато, словно нипочем им долгий переход. Их хлопчатобумажная форма, изначально, скорее всего, белая, приобрела от грязи и пыли какой-то неопределенный цвет, приближенный к хаки. На спинах у них были тяжелые ранцы, на груди — пара патронташей, на головах — широкополые соломенные шляпы.

Выждав приличное время, мы явились в штаб генерала. Он уже прочитал рекомендующие нас телеграммы и оказал нам самый радушный прием. Суарес Вальдес был дивизионным генералом. Он совершал двухнедельный марш через повстанческие районы, имея две задачи: наведаться в поселки и на посты, где стояли испанские гарнизоны, и истребить как

можно больше мятежников, встреченных по пути. Генерал объявил через переводчика, что для него огромная честь иметь в своей колонне двух выдающихся представителей великой и дружественной державы и что он высоко ценит моральную поддержку, каковую заключает в себе этот жест Великобритании. Мы, тоже через переводчика, заверили его, что он замечательно сказал и что мы замечательно проведем время. Переводчик вылепил из этого что-то явно приятное, потому что генерал польщенно засветился. Он уведомил нас, что на рассвете мы выступаем: не след задерживаться в городе, кишащем заразой; лошадей нам подготовят с ночи. Засим нас пригласили отобедать.

Представьте себе ощущения молодого офицера следующим утром! Еще темно, но небо светлеет. Мы в «сумрачно-таинственном храме денницы», как определил это прекрасный, хотя и малоизвестный писатель[11]. Мы на лошадях, в форме, револьверы заряжены. В полутьме длинные шеренги вооруженных и нагруженных поклажей людей тянутся на встречу с врагом. Он может быть очень близко, может, караулит нас в миле отсюда. Нам сие неведомо; и мы совсем не знаем, чего стоят наши друзья или враги. Мы не имеем никакого отношения к их размолвкам. Мы не вправе принимать участие в их схватках — только под угрозой смерти. Но мы чувствуем: это великая минута в нашей жизни, ничего лучше в ней еще не было. Что-то, думаем мы, должно произойти; мы страстно желаем, чтобы произошло; но быть ранеными или убитыми нам вовсе не хочется. Так чего же нам хочется? Того же, о чем грезят все юнцы, — приключений, приключений ради приключений. Вы можете назвать это дуростью. И впрямь, разумно ли — сорваться за тысячи миль, с тощим карманом, чтобы встать в четыре утра, надеясь в компании с совершенно незнакомыми людьми попасть в переделку? Но мы-то знали, что очень мало отыщется в британской армии младших офицеров, которые не отдали бы все свое месячное довольствие за счастье посидеть в наших седлах.

Однако ничего не произошло. День постепенно светлел, длинная испанская колонна змеилась по бескрайним лесам и волнистой шири лучезарного ландшафта, сочащегося влагой и искрящегося на солнце. Примерно в девять часов, когда мы одолели около восьми миль и оказались на открытом пространстве, был объявлен привал — для завтрака и *сиесты.* Завтрак — важная заправка. Пехота развела костры и принялась стряпать; лошадей расседлали и пустили щипать траву; штабным подали на столе кофе и тушеное мясо. Чем не пикник. Под конец генеральский адъютант выставил высокую металлическую бутыль с напитком собственного изготовления под названием

«runcotelle». Много позже я узнал, что значит это памятное мне слово: «ромовый коктейль». Как это ни назови, вещь чрезвычайно приятная. Тем временем между деревцами в роще натянули гамаки. В них нам полагалось разместиться. Солдаты и строевые офицеры растянулись в тенечке прямо на земле, предварительно, я думаю, приняв необходимые охранные меры, и на четыре часа все погрузились в сон.

В два часа *сиеста* кончилась. Недавно тихий бивак забурлил. В три часа мы снова были в пути и шли четыре часа, делая не менее двух с тремя четвертями миль в час. Смеркалось, когда мы подошли к месту нашей ночной стоянки. Колонна прошла восемнадцать или девятнадцать миль, а пехота совсем не казалась уставшей. Эти крепкие испанские крестьяне, дети природы, поражали своей выносливостью, вышагивая неторными дорогами с тяжелой кладью. Продолжительный дневной сон был для них равноценен еще одному ночному.

Несомненно, римляне лучше нас строили свой распорядок дня. Во все времена года они вставали до солнца. Мы же, если не в военное время, никогда не видим рассвета. Иногда мы наблюдаем закат. Закат навевает печаль, рассвет рождает надежду. Чудо дневного отдыха и сна взбадривает человеческий организм лучше, чем долгое ночное забытье. Не в нашей природе — работать или даже развлекаться с восьми утра до полуночи. Мы перенапрягаем наш организм, это бессовестно и недальновидно. В интересах дела или удовольствия, как духовного, так и физического, мы должны надвое делить наши дни и наши предприятия. Когда я работал в войну в адмиралтействе, я убедился, что, уложив себя в постель на один час после ленча, прибавляю почти два часа к рабочему дню. Романцы разумнее и в большем согласии с Природой устраивают свою жизнь, нежели англосаксы или тевтонцы. Но ведь и климат у них не в пример лучше.

Таким вот манером мы несколько дней шли по этой чудесной стране — и нигде ни признака, ни звука войны. Между тем мы вполне сдружились с нашими испанскими хозяевами; общаясь на убогом, у каждого на свой лад, французском, мы отчасти уяснили их отношение к происходящему. Например, начальник штаба подполковник Бенсо как-то обмолвился: «Мы боремся за то, чтобы сохранить целостность нашей страны». Я поразился. По недостатку образования я, конечно, не вполне сознавал, что другие народы относятся к своим владениям так же, как нас, англичан, всегда учили относиться к своим. Выходит, для них Куба была тем же, чем для нас — Ирландия. Это произвело на меня глубокое впечатление. Мне было довольно неприятно, что

эти иностранцы смеют так думать и говорить о своей стране и колониях, словно они британцы. Однако сказанное запало мне в душу. До тех пор я втайне симпатизировал мятежникам, во всяком случае — мятежу. Но теперь я понял, как больно было бы испанцам потерять свой прекрасное «Антильское ожерелье», и мне стало их жаль.

Я не представлял себе, как они могут победить. Вообразите, во что обходится один час кружения колонны из четырех тысяч человек по нескончаемым сырым джунглям, а всего таких колонн, наверное, дюжина да еще много других, поменьше, и все они постоянно в движении. Прибавьте двести тысяч человек на постах и в гарнизонах или на железнодорожных блокпостах. Мы знали, что Испания тогда далеко не процветала. Мы знали, каких неимоверных усилий и жертв ей стоило держать почти полмиллиона человек за океаном, на расстоянии пяти тысяч миль, — это гиря на вытянутой руке. А враги? Мы никого не видели, мы не слышали ни единого выстрела. Но они несомненно существовали. Эти продуманные меры предосторожности и эта военная мощь были ответом на бесконечные вражьи вылазки. Окрестные леса и холмы кишели бандами оборванцев, не имевших недостатка в ружьях и патронах и орудовавших страшными мачете. Расплачивались они за войну лишь бедностью, риском и тяготами, а этого добра тут каждому хватало. И они втянули испанцев в партизанскую войну. Подобно наполеоновским отрядам на Пиренейском полуострове, те день за днем, преодолевая лигу за лигой, двигались сквозь неуловимую вражду, подвергаясь то там, то сям ожесточенным налетам.

Двадцать девятого ноября мы ночевали в укрепленной деревушке Арройо-Бланко. Два батальона, один эскадрон и большую часть конвоя мы отослали с продуктами в несколько гарнизонов. Оставшемуся войску, числом около тысячи семисот человек, надлежало искать врага и сражаться. Тридцатого ноября мне исполнялся двадцать один год, и в этот день я впервые услышал стрельбу, услышал, как пуля с чавканьем входит в плоть или просвистывает в воздухе.

Когда мы ранним утром тронулись, стоял низкий туман, и вдруг замыкающая шеренга ввязалась в перестрелку. В ту пору при близком бое часто использовались крупнокалиберные винтовки, которые грохотали, изрыгали дым и даже пламя. Стреляли, похоже, в фарлонге от нас, так что в ушах трещало и сердце екало. Ко мне, впрочем, пули не подлетали, и я легко успокоился. Я был как тот оптимист, «который доволен всем, что происходит, пока сам в стороне». За туманом ничего нельзя было разглядеть. Вскоре туман стал подниматься и я увидел, что мы

идем лесной просекой примерно в сто ярдов шириной. Это называлось «военной дорогой», и мы двигались по ней несколько часов. Джунгли уже вовсю наступали на просеку, и офицеры, достав свои мачете, отсекали мешающие ветви, а не то, дурачась, разрубали пополам висевшие здесь и там тыквенные бутыли, обдавая квартой холодной кристальной воды зазевавшегося.

В тот день, когда мы стали на завтрак, каждый сел рядом со своей лошадью и закусывал сухим пайком. У меня была тощая курица. Я обгладывал ножку, как вдруг с края леса, чуть не в лицо нам, грянул залп. За моей спиной прянула лошадь (не моя). Все повскакали. Солдаты гурьбой ринулись к месту, откуда палили, но нашли только стреляные гильзы. А я оглянулся на раненую лошадь. Это был гнедой жеребец. Пуля попала ему между ребер, кровь струилась на землю, на глянцевой каштановой шкуре темнело красно-бурое пятно шириной с фут. Жеребец повесил голову, но стоял на ногах. Конечно, он был обречен — уже сняли седло и уздечку. Наблюдая за этими действиями, я не мог не задуматься над тем, что поразившая его пуля, безусловно, прошла в футе от моей головы. Я побывал «под огнем». Это кое-что. Однако я начал серьезнее, чем прежде, относиться к нашей затее.

Весь следующий день мы занимались преследованием. Если прежде лес отдаленно напоминал европейскую пущу, то теперь он сменился зарослями пальм самого разного размера и вида с бутылочными стволами. Через три-четыре часа мы снова вышли на открытое место, перешли вброд реку и остановились на ночевку у какой-то убогой хижины, удостоившейся названия на карте. Было жарко, и мы с товарищем соблазнили двух штабных помоложе искупаться в реке, с трех сторон обнимавшей наш лагерь. Вода была восхитительная, теплая и чистая, и место мы выбрали прелестное. Мы уже одевались на берегу, когда неподалеку услышали выстрел. Потом еще один, еще, потом началась пальба. Над нашими головами засвистело. Ясно было, что нас всерьез атакуют. Мы натянули обмундирование и, крадучись вдоль реки, вернулись в штаб. К нашему возвращению в полумиле уже кипела схватка и на лагерь сыпались пули. Мятежники были вооружены в основном «ремингтонами», и их низкое уханье странно контрастировало с пронзительной трескотней испанских магазинных винтовок. Примерно через полчаса неприятель получил свое сполна и отошел, унося раненых и убитых, которыми, думается, их обеспечили впрок.

Мы спокойно пообедали на веранде и отправились в свои гамаки в сарае. Скоро меня разбудила стрельба; не отдельные выстрелы, а залпы оглашали ночь. Одна пуля пробила тростниковую крышу нашего барака, другая ранила дневального

снаружи. Я бы с радостью выбрался из гамака и лег на пол, но другие не шевельнулись, и я решил, что правильнее оставаться на месте. Меня еще подбодрило соображение, что испанский офицер, занимавший гамак между мной и линией вражеского огня, был человеком корпулентным, если не сказать — тучным. Я никогда ничего не имел против толстяков. А уж этого просто нежно полюбил. Мало-помалу я заснул.

После беспокойной ночи колонна выступила рано. Туман служил прикрытием неприятельским стрелкам, и, едва мы переправились через реку, они встретили нас прицельным огнем. Отступая перед нами, враги использовали любое позиционное преимущество. Пусть их пули урона почти не наносили, но в нашей колонне, простреливаемой по всей длине, скучать никому не приходилось. В восемь часов голова испанской колонны вышла на открытую местность. От начала луговины До расположения противника протянулся широкий травянистый проселок, с одной стороны огражденный проволочным забором, чередой чахлых деревьев — с другой. По обе стороны проселка лежали поля, поросшие буйной, по пояс, травой. Справа от проселка, примерно в полумиле от нас, был пальмовый островок — что-нибудь около сотни деревьев. Вел проселок прямиком на пологий холм с редкой изгородью наверху и густым лесом с тыла. Здесь и был вражеский рубеж, и генерал решил немедленно его атаковать.

Тактика была простейшая. Когда головной испанский батальон вышел на открытый простор, на оба фланга выступили и рассыпались цепью две роты. Кавалерия заняла позицию справа от проселка, а артиллерия выдвинулась вперед по центру. Генерал, штабные и оба британских гостя торжественной кавалькадой поехали по проселку в пятидесяти ярдах позади огневой линии. Второй батальон выстроился в колонну поротно и двинулся следом за пушками. Триста ярдов преодолели в тишине. Потом гребень холма закурился дымками, и тотчас загрохотали неприятельские ружья. После двух пристрелок они принялись палить уже безостановочно и со всех точек рубежа. Не замедлила ответить испанская пехота, продолжая идти вперед. С обеих сторон огонь был плотным. В ушах звучали то будто вздох, то свист, то жужжание обозленной мухи. Генерал со свитой остановился в четырехстах-пятистах ярдах от дымящейся и потрескивающей на гребне холма изгороди. Мы прямо верхами, без всякого прикрытия, наблюдали за атакующей пехотой. Воздух звенел от пуль, глухими стуками отзывались терзаемые пальмы. Испанцы держались молодцами, и мы старались не сплоховать. Опасность казалась нешуточной, и я даже был удивлен, что в этой заварухе погибло так мало людей. Из двадцати человек свитских

только трое-четверо получили ранения или потеряли лошадей, а убит не был никто. Вскоре, к моему облегчению, залпы «Маузера» покрыли все звуки, неприятельский огонь ослаб и постепенно сошел на нет. Я видел, как маленькие фигурки улепетывают и быстро ныряют в лес, затем воцарилась тишина. Пехота ринулась вверх и заняла вражеские позиции. Преследование было невозможно: джунгли стояли глухой стеной.

Продовольствия у нас оставалось только на день, и через безлесную равнину мы отошли к Ла-Хикотеа. Защитив испанскую честь и утолив наше любопытство, колонна вернулась на побережье, а мы в Англию. Вряд ли, думали мы, испанцы быстро завершат войну на Кубе.

Глава 7
Хаунслоу

Весной 1896-го 4-й гусарский вывели в Хаунслоу и Хэмптон-Корт, готовя осенью отправить в Индию. В Хаунслоу мы передали своих лошадей какому-то вернувшемуся на родину полку, и таким образом наша кавалерийская подготовка завершилась. Наш полк отбывал на Восток на двенадцать-четырнадцать лет, и офицерам предоставили немыслимые отпуска и льготы для устройства своих дел. Пока при нас были лошади, мы провели на Хаунслоу-Хит последний парад, где полковник Брабазон, чей срок командования нами истекал, попрощался с полком краткой и чеканной речью воина.

Я провел приятнейшие шесть месяцев; в сущности говоря, такого упоительного безделья мне еще не выпадало. Я мог жить дома с матерью и два-три раза в неделю ездить на подземке в казармы Хаунслоу. Мы играли в поло в «Херлингеме» и «Рениле». «Рохамптон Граунда»[12] тогда еще не существовало. Теперь у меня было пять вполне хороших пони, во мне находили способности. Я закрутился в вихре светских удовольствий. В те дни Английское Общество еще жило по старинке. Это было яркое и могущественное племя, державшееся совершенно теперь забытых норм поведения и способов их охраны. В значительной степени все знали друг друга — и друг про друга тоже. Около ста великих фамилий, правивших Англией на протяжении многих веков и видевших ее восхождение на вершину славу, были связаны тесным родством через браки. Всюду встретишь либо друга, либо родственника. В большинстве случаев первые в обществе были первыми и в парламенте, и на скачках. Лорд Солсбери осмотрительно воздерживался от созыва Кабинета, когда в Ньюмаркете были бега, и палата общин объявляла перерыв на Дерби. В те дни роскошные приемы в Ланздаун-Хаусе, Девоншир-Хаусе или Стаффорд-Хаусе содержали в себе все элементы, составляющие веселый и блестящий светский кружок, имеющий ближайшее касательство и к парламентским делам, и к армейской и флотской иерархии, и к политике государства. Ныне в Ланздаун-Хаусе и Девоншир-Хаусе размещены отели, квартиры и рестораны, а в Стаффорд-Хаусе открылся безобразнейший и глупейший музей, в выцветших залах которого демонстрируют свое унылое гостеприимство социалистические правительства.

Но в 1896-м эти тени еще не нависли над Лондоном. Наоборот, все жили ожиданием грядущего в следующем году

Бриллиантового юбилея[13]. Я перемещался из одного восхитительного окружения в другое, в конце недели гостил в прекрасных имениях и дворцах, которые через настоящих своих владельцев сохраняли еще связь с триумфальной историей Соединенного Королевства. Хорошо, что хотя бы несколько месяцев я созерцал этот ушедший мир. Перед моим внутренним взором стоит бал-маскарад у герцогини Девонширской в 1897-м. Там словно проигрывались сцены из романов Дизраэли. Одно из его знаменитейших описаний прямо-таки воссоздавалось вживе: летний вечер, снаружи, в Грин-парке, толпятся люди, глазея на съезд и разъезд гостей, слушая музыку и, возможно, задумываясь о пропасти, которая тогда разделяла верхи и низы.

Когда в 1920-м мсье Поль Камбон завершил свою долгую достопамятную миссию при Сент-Джеймсском дворе, он любезно согласился позавтракать у меня в доме. Зашел разговор о грандиозных событиях, которые мы пережили, о том пути, что проделал мир с начала столетия.

— В течение двадцати проведенных мною здесь лет, — сказал престарелый посол, — я наблюдал за тем, как в Англии совершается революция более глубинная и дерзновенная, нежели даже Французская революция. Правящий класс лишился политической силы и по большей части собственности, причем произошло это почти незаметно и без единой человеческой жертвы.

Я думаю, так оно и было.

Лилиан, вдова моего дяди, восьмого герцога Мальборо, дочь коммодора американского флота, унаследовавшая от первого мужа солидное состояние, вышла в третий раз за лорда Уильяма Бересфорда, младшего из сыновей лорда Уотерфорда. Все три брата были замечательные личности. Старший, Чарли, — известный адмирал. Средний, Марк, — видная фигура в обществе и на скачках. Младший, Билл, — военная косточка, обладатель Креста Виктории, полученного в Зулуленде. Я знался со всеми троими до самой их смерти.

Лорд Уильям и герцогиня Лилиан поженились в зрелые годы, но это был счастливый, исполненный довольства и даже благословленный потомством союз. Они обосновались в прелестном Дипдине, близ Доркинга, и постоянно звали меня в гости. Я очень привязался к Биллу Бересфорду. Он казался воплощением всех тех качеств, которые способны заворожить любого юного кавалериста. Это был светский человек, чувствовавший себя как рыба в воде в аристократических клубах и в обществе. Много лет он состоял военным секретарем при

лорде Дафферине и лорде Лансдауне, по очереди занимавших пост вице-короля Индии. Он был заядлый спортсмен, всю жизнь проведший бок о бок с лошадьми. Поло, охота на кабана с копьем, охота на крупного зверя, скачки составляли важную часть его деятельности. В бытность свою молодым офицером 12-го уланского полка Билл выиграл на пари крупную сумму денег, и вот каким образом: отобедав в Найтсбридже у королевских конногвардейцев, он отправился пешком в кавалерийские казармы в Хаунслоу, изловил там барсука, прижившегося в 10-м гусарском, и с этой ношей за спиной вернулся к ожидавшей его в Найтсбридже компании — с рекордной скоростью, если учесть расстояние! В любых состязаниях он выступал либо участником, либо азартным болельщиком. И наконец, он был боевым офицером, который прошел три или четыре войны и в отчаянном положении спас товарища от зулусских ассагаев и пуль. Его взгляды на общественную жизнь, хоть и отдавали официозом, отличались сугубой практичностью, а в вопросах морали и этикета его слово для многих было решающим.

Итак, я часто гостил в комфортном и великолепном Дипдине, без устали внимая мудрости его хозяина и сам умничая. Я всегда помню заявление Билла о невозможности новых войн между цивилизованными народами.

— Я не раз видел, — сказал он, — как государства оказывались на грани войны, и всегда их удерживал какой-нибудь случай.

В мире достаточно здравого смысла, полагал он, чтобы приличные люди допустили такой ужас. Я не считал это бесспорным, но все же на ус намотал и три-четыре раза при слухах о войне опирался на его мнение — и три-четыре раза оно оправдывалось. Так мыслили люди в Викторианскую эпоху. Но пришло время, когда мир затопили такие хляби, в каких лорд Уильям Бересфорд со товарищи ног не мочили.

В Дипдине в 1896-м я познакомился с сэром Биндоном Бладом. Этот генерал был самым надежным и опытным военачальником на индийском пограничье. С хозяином поместья он дружил всю жизнь. Домой генерал приехал сразу после взятия Малакандского перевала осенью 1895-го. В случае возобновления беспорядков на индийском пограничье именно ему предстояло возглавить боевые действия. Следовательно, ключ от будущих радостей был у него в руках. Мы сошлись. И однажды воскресным утром на солнечных лужайках Дипдина я выбил из генерала обещание: если он будет командовать еще одной экспедицией в Индию, то позволит мне ехать с ним.

В Дипдине я пережил одну пренеприятную историю. Меня

пригласили на воскресный прием в честь принца Уэльского — неслыханная честь для второго лейтенанта. В числе гостей ожидался и полковник Брабазон. Я понимал, что должен показать себя с лучшей стороны: пунктуальным, скромным, выдержанным — словом, проявить именно те качества, которых мне недоставало. Надо было сесть в шестичасовой поезд на Доркинг, а я решил поехать в 7.15. Время поджимало, но только к середине пути я понял, что почти наверняка опоздаю к обеду. Поезд придет в 8.18 и еще 10 минут ехать от станции до места. Тревожа попутчика, я стал переодеваться в поезде. Поезд еле полз и еще по нескольку минут торчал на каждой станции. Причем ни единой не пропускал. Без двадцати девять мы были в Доркинге. Я выскочил из вагона, на платформе ждал растерянный лакей. Я прыгнул в коляску и по тому, как мы гнали, понял, что меня ждут серьезные неприятности. «Я незаметно прокрадусь на свое место за столом, — думал я, — а потом принесу извинения».

В Дипдине все толпились в гостиной. Оказалось, что без меня в компании было бы тринадцать человек. А как известно, в королевском семействе считалось в те дни дурной приметой садиться за трапезу чертовой дюжиной. Принц категорически отказался идти в столовую и запретил накрыть два стола вместо одного. Верный себе, он явился ровно в половине девятого. А было уже без двенадцати девять. Вообразите себе группу избранных, выдающихся представителей высшего света, стоящих с хмурыми лицами посреди просторной залы — и рядом меня, молокососа, которому оказали великую милость и честь, подняв на такую высоту. Конечно, у меня было замечательное оправдание. Как это ни странно, впоследствии оно не раз меня выручало. Я не рассчитал время! Но тут я оправдываться не стал, пробормотал извинения и отвесил поклон.

— В полку вас не учили пунктуальности, Уинстон? — сурово вопросил принц, с ехидством взглянув на полковника Брабазона, тут же побагровевшего.

Страшная была минута! Мы семью парами прошли в столовую и расселись — ровно четырнадцать персон. Примерно через четверть часа принц, по натуре редкий добряк, внес в мою душу успокоение, милостиво пошутив.

Я считаю, что непунктуальность — отвратительная черта, и всю мою жизнь старался преодолеть ее.

— Я никогда не мог понять, — несколькими годами позже сказал мне доктор Уэлдон, — чем руководствуются люди, взявшие себе за правило на каждую встречу в течение дня опаздывать на десять минут.

Я совершенно согласен с этим заявлением. Будет честно

отменить одну-две встречи и дальше всюду поспевать. Но мало у кого хватает на это силы духа. А ведь не беда, если какая-нибудь одна важная шишка уйдет брюзжа ни с чем, зато девять посетителей, имеющих до вас реальную нужду, будут избавлены от необходимости томиться по десять минут в душной приемной.

В декабре 1895-го в Южной Африке произошло событие, которое мне, склонившемуся над картой моей жизни, представляется источником всяческих зол. Предшествующим летом лорд Солсбери был возвращен консервативным большинством в сто пятьдесят голосов. Его ожидало правление, не ограниченное ничем, кроме семилетнего срока. Свою главную задачу он видел в том, чтобы расквитаться за позор Гладстона в Судане, где убили генерала Гордона, и его капитуляцию в Южной Африке после нашего поражения у Маджуба-Хилла. Не спеша, уверенно и с чрезвычайной осторожностью проводил он обе линии. Он заботливо пестовал мир в Европе и поддерживал домашний покой. Когда экспансия России на Дальнем Востоке угрожала интересам Британии и существованию Японии, он не счел зазорным пойти на уступки, позволив англо-китайскому флоту покинуть Порт-Артур по требованию русских. Он терпеливо сносил насмешки либеральной оппозиции, без всяких оснований упрекавшей его в малодушии. Когда из Соединенных Штатов пришел Меморандум Олни (по существу это был ультиматум) относительно Венесуэлы, он отправил мягкий ответ, снявший напряженность. Он все подчинял интересам Британской империи. Он расчищал место для Судана и Трансвааля.

В этой сфере не бездействовал и мистер Чемберлен. Великий Джо, державший лорда Солсбери у власти с 1886-го по 1892-й, был главным тараном в той атаке, которая в 1895-м положила конец недолгому пребыванию либералов у кормила правления. В конце концов он решил войти в новое правительство лорда Солсбери, и если в средневикторианскую эпоху Министерство колоний играло незначительную роль, то В его руках оно стало работающим инструментом государственной политики. Лорд Солсбери, с трудом продвигавшийся по пути сведения счетов с халифом в Хартуме и президентом Крюгером в Претории, нашел в южноафриканских делах союзника и даже вдохновителя в лице радикала-империалиста из Бирмингема.

Помимо этих личностных побуждений, сам ход событий неуклонно увлекал Южную Африку к кризису. Развитие добычи рудникового золота за несколько лет обеспечило Йоханнесбургу заметную роль не только в британской, но и в мировой экономике. Буры-фермеры, прежде довольствовавшиеся сельской

жизнью в глухомани, куда эмигрировали их деды, теперь осознали, что у них порядочные доходы от добычи золота и требующий внимания процветающий современный город с постоянно растущим многоязычным населением. В Претории сложилось сильное, толковое, с гонором правительство, ставшее средоточием голландских притязаний в Южной Африке и питавшееся налогами на золотую добычу, которая все возрастала. Оно обратилось к Голландии и Германии с просьбой обеспечить им европейскую помощь и заступничество. А за ним стояла немереная боевая сила из пятидесяти-шестидесяти тысяч злых, недалеких, опутанных предрассудками, набожных буров-фермеров, сплоченных в вооруженную ружьями, небывало искусную, не уступающую в боеспособности только монголам конницу.

Новые обитатели Йоханнесбурга (их называли «чужаками»), в основном британцы по крови, винили бурское правительство в невежестве и даже продажности и выражали недовольство тяжелыми и постоянно растущими налогами. Они подняли на щит старый лозунг: «Нет налогам без представительства». Они требовали права голоса. Но поскольку своим числом они смели бы бурский режим и вернули в британские руки бразды правления Трансваалем, которые Англия упустила в 1881-м, то их законные требования никак не могли быть удовлетворены.

Мистер Чемберлен и неотступно следовавший за ним лорд Солсбери встали на защиту «чужаков». На бумаге и при демократических намерениях их позиция была неоспорима. Но никакими резонными увещаниями никого не склонишь пожертвовать своей шкурой. Старожилы Трансвааля не собирались поступиться своей автономией или чувствительно ущемить ее ради новоселов, сколько их там ни явится и какую силу они ни возьмут. Они полагали, что налоги — лучшее средство держать их в подчинении. Если раздор перерастет в боевую схватку, президент Крюгер со товарищи не видели оснований, почему бы Европе не вмешаться на их стороне, а им самим не прибрать к рукам всю Южную Африку. Их позиция тоже была неслабая. Разве они не прошли насквозь саванну, уходя от британского правления, которое вечно лезло в их отношения с аборигенами и челядью. Если Англия заговорила языком «Бостонского чаепития»[14], то буры жили чувствами южных плантаторов накануне Гражданской войны в США. Длинная загребущая рука британского империализма, объявляли они, протягивается к их последнему убежищу; мистер же Чемберлен возражал: только из страха потерять возможность измываться над своими кафрами буры отказываются дать гражданские права

современным производителям, которым они обязаны девятью десятыми своего национального богатства. Опасная коллизия!

Мистер Сесил Родс был председателем и создателем учрежденной королевским декретом Компании. В качестве премьер-министра Капской колонии он пользовался весомой голландской поддержкой. Управляющим у него был некий доктор Джеймсон. Джеймсон — человек сильный и порывистый — собрал в Мафекинге военный отряд из шестисот-семисот человек, чтобы в случае, если «чужаки» подымутся, как они не раз угрожали, завоевывать свои гражданские и политические свободы, быстрым маршем пройти сто пятьдесят миль от Мафекинга до Йоханнесбурга и остановить бессмысленное кровопролитие — с благословения мистера Родса и одобрения британского правительства. Одновременно в Йоханнесбурге вызрел самый настоящий заговор с целью силой вытребовать для «чужаков» права гражданства. В деньгах недостатка не было, поскольку в заговоре участвовали владельцы золотых приисков. Им сочувствовали, хотя и не слишком горячо, их служащие и йоханнесбуржцы неголландского происхождения, числом уже превосходившие народонаселение всего Трансвааля. Апрельским утром в Йоханнесбурге сформировалось временное правительство, и с семью сотнями кавалеристов и двумя пушками через вельд на столицу двинулся доктор Джеймсон.

Случившееся потрясло Европу и взбудоражило весь мир. Кайзер отправил президенту Крюгеру известную телеграмму и приказал германскому флоту, так кстати оказавшемуся рядом, десантироваться в Делагоа-Бей. Не было страны, где бы Великобританию не честили на все корки. Бурские коммандос, только и ждавшие сигнала, легко окружили доктора Джеймсона с его войском и после горячей схватки принудили сдаться. В то же время и такой же большой силой трансваальцы подавили мятеж в Йоханнесбурге и арестовали его предводителей и причастных к нему миллионеров. Едва новость о рейде доктора Джеймсона достигла Англии, британское правительство поспешило отмежеваться от его демарша. Сесил Родс лаконично высказался в Кейптауне: «Он испортил мне всю музыку». Лорд Солсбери пустил в ход всю свою терпеливую и могущественную дипломатию, чтобы умерить недовольство. Приговоренным к смерти йоханнесбургским главарям позволили откупиться за баснословные деньги. Ратников Джеймсона передали в руки британского правосудия, предводителя и его подручных судили и приговорили к двум годам тюрьмы.

Дабы определить меру ответственности мистера Чемберлена или мистера Родса, было учинено строгое расследование,

направляемое либеральной партией. Расследование заняло много времени и в конечном счете не дало ясного ответа, и вся история постепенно заглохла, впрочем потянув за собой череду неприятных последствий. В глазах всего мира репутация Британии понесла тяжкий урон. Голландцы отстранили Сесила Родса от власти в Капской колонии. Телеграмму германского императора британцы восприняли как выражение враждебности и затаили обиду. Сам же император, сознавая свое бессилие перед британской морской мощью, задумался о создании германского флота. Политическая жизнь Южной Африки сбилась с мирного курса. Британские колонисты рассчитывали на поддержку имперского правительства; рассредоточенные по субконтиненту голландцы тянулись сплотиться под знаменами обеих бурских республик. После катастрофического фиаско британское правительство собиралось с силами; между тем Трансвааль давил «чужаков» налогами и на вырученные деньги всерьез вооружался. Стороны были накалены до предела, и их тяжба уже рассматривалась в высшей инстанции.

В то беспокойное лето моя мать собирала за столом политиков обеих партий, видных деятелей литературы и искусства, а заодно и красавиц, на которых отдыхал глаз. Однажды она зашла слишком далеко в своем либерализме. Нашим старейшим другом был сэр Джон Уиллоби, участник рейда Джеймсона, в то время отпущенный под залог в ожидании суда в Лондоне. Это он первый показал мне, как правильно ставить мою игрушечную кавалерию в головном дозоре. Вернувшись из Хаунслоу, я застал его уже приехавшим к ленчу. Мать задерживалась. Вдруг отворилась дверь и доложили о приходе мистера Джона Морли. Я почуял недоброе, но отважно представил их друг другу. А что оставалось делать? Мистер Морли напрягся и, не предлагая руки, коротко кивнул. Уиллоби ответил на поклон лишь отсутствующим взглядом. На душе у меня скребли кошки, и я попытался наладить беседу, поочередно задавая им пустячные вопросы. К моему великому облегчению, скоро появилась мать. Она не спасовала, хотя ситуация была не из простых. Неосведомленный наблюдатель, пропустивший начало трапезы, даже не заметил бы, что из четверых сидящих за столом двое не обращаются друг к другу прямо. А под конец, как мне показалось, они охотно бы это сделали. Однако линия поведения была выбрана, и им приходилось ее держаться. Я подозревал, что мать замыслила смягчить небывалое ожесточение, нагнетавшееся вокруг этого инцидента. Она хотела низвести рейд на уровень обычной политики. Однако пролилась кровь, а это другая песня.

Не стоит говорить, что в двадцать один год я был целиком на стороне Джеймсона и его отряда. Я прекрасно сознавал, из-за чего разгорелся сыр-бор. Я торопил день, когда мы «отомстим за Маджубу». Меня шокировала робость нашего консервативного правительства перед лицом кризиса. Стыдно было смотреть, как оно заискивало перед запутавшейся либеральной оппозицией и — хуже того — наказывало этих храбрых рейдеров, многих из которых я хорошо знал. Пройдут годы, и я лучше изучу Южную Африку.

Глава 8
Индия

Настало время грузиться и отправляться на Восток. Мы отплыли из Саутгемптона на транспорте, вмещавшем около тысячи двухсот человек, и после двадцати трех дней пути бросили якорь в Бомбейском порту, подняв завесу над тем, что вполне могло сойти за другую планету.

Можете себе представить, с каким ошалелым восторгом вся наша офицерская и солдатская корабельная братия, почти месяц толокшаяся на пятачке суши, взирала на пальмы и дворцы Бомбея, широким полукружием раскинувшиеся перед нами. Облепив фальшборты, мы пялились на них поверх сверкающих и пенящихся волн. Всем хотелось немедленно оказаться там и посмотреть — какая она, Индия. Формальности и проволочки выгрузки, которыми мучают обычного путешественника, стократно тягостнее для тех, кто странствует на казенный счет. Однако около трех часов дня поступило распоряжение: шлюпки спускать на воду в восемь, когда спадет жара, офицеры же, при желании, могут съехать на берег самостоятельно. С самого утра нас окружала целая стая крохотных лодок, качаемых зыбью прибоя. Мы им нетерпеливо помахали. Через четверть часа мы уже были у Сассунского дока. И слава богу: шустрое ныряние ялика вынуло всю душу из меня и двух моих спутников. Мы пристали к высоченной стене с мокрыми ступенями и железными кольцами. Волна то вздымала, то опускала лодчонку с размахом в пять-шесть футов. Я протянул руку и ухватился за кольцо; но прежде чем я поставил ногу на приступок, лодка увильнула, резко вывернув мне правое плечо. Я все же благополучно вскарабкался на причал, отпустил несколько абстрактных замечаний, в основном начинающихся с головных букв алфавита, помял сустав и вскоре забыл думать о случившемся.

Хочу предостеречь моих молодых читателей: опасайтесь вывихнуть плечевой сустав. В этом, как и во многом другом, лиха беда начало. Требуется чрезвычайное усилие, чтобы добиться разрыва суставной сумки, но, раз порвавшись, она становится ужасающе хлипкой. Хотя у меня был скорее подвывих, эта травма напоминала о себе всю жизнь. Она мешала мне в поло, заставила отказаться от тенниса и грозила страшным подвохом в минуты опасности, схватки, борьбы. Время от времени плечо «вылетало» ни с того ни с сего: спал, сунув руку под подушку, потянулся за книгой на полке, поскользнулся на лестнице, поплыл. Однажды

это едва не случилось в палате общин, когда я позволил себе размашистый жест, и мне сразу в красках представилось, как изумились бы члены палаты, если бы оратор, которому они дружно внимали, вдруг по непонятной причине простерся на полу, инстинктивно пытаясь вправить на место вышедшую из «пазов» кость.

Что говорить — не повезло. Но и то правда: нет худа без добра. Действуй я в атаке при Омдурмане палашом, а не новейшим средством, маузером, вряд ли я бы сейчас кому-то что-то рассказывал. Когда одолевают напасти, не следует забывать, что они, быть может, уберегают вас от чего-то похуже, и какая-нибудь чудовищная ошибка порой приносит вам больше благ, чем самое разумное, по мнению многих, решение. Жизнь — штука целостная, и удача тоже; ни та, ни другая на части не разбирается.

Подведем итог нашему путешествию словами полковника Брабазона из его напутственной речи: «Индия — ковмилица Бвитанской ковоны». Нас отправили в лагерь отдыха в Пуне, и, добравшись туда поздно вечером, мы переспали вторую ночь после высадки в палатках на двоих в виду роскошнейшей долины. Днем учтиво, церемонно, в чалмах явились соискатели на место дворецкого, денщика и конюха — в ту пору такие челядинцы полагались кавалерийскому субалтерн-офицеру. Все выложили надежные рекомендации от наших предшественников и после недолгих формальностей и раскланиваний завладели нашими земными сокровищами и взяли на себя полную ответственность за наше житье-бытье. Если вам хотелось, чтобы вас холили и лелеяли и освобождали от бытовых хлопот, то тридцать лет назад лучше Индии ничего на свете не было. Требовалось одно: отдать форму и платье денщику, пони поручить груму, наличность вручить дворецкому — и думать больше не о чем. Ваш Кабинет сформирован, каждый из этих министров входит в свои обязанности со знанием дела, с опытом и лично вам предан. Для них — это дело жизни. За скромное жалованье, справедливое отношение и пару добрых слов они готовы на все. Их мир ограничен прозаическим содержимым вашего гардероба и прочими мелочами обихода. Ни черный труд, ни долгие бдения им не в тягость, опасности им не страшны — ничто не колеблет их спокойствия, их забота не оскудевает. Так бы принцам жить, как жилось нам.

Вместе со слугами к нашей палатке пришли два или три грума с пони и записками от их хозяев, а следом пожаловал взволнованный красавец в красной с золотом ливрее и передал нам конверт с внушительным гербом. Это был посланец от

губернатора, лорда Сандхерста, приглашавшего меня и моего спутника Хьюго Бэринга отужинать в его резиденции. Весь долгий день мы жучили солдат, не желавших носить тропические шлемы и подвергавших свою жизнь опасности, а вечером сидели на роскошном банкете с охлажденным шампанским. В конце ужина, после того как были осушены бокалы за здоровье королевы-императрицы[15], его превосходительство любезно пожелал выслушать мой взгляд на некоторые вопросы, я же, отдавая дань дивному гостеприимству, счел неприличным отмалчиваться. Теперь я уже забыл, в каких именно пунктах британско-индийских дел он ожидал моего совета, но помню, что разглагольствовал долго. Были минуты, когда губернатор явно порывался изложить свое мнение, но я из вежливости не позволял ему так себя утруждать, и он охотно закрывал рот. Он был настолько заботлив, что отправил с нами своего адъютанта проследить, чтобы мы не заблудились. В общем и целом, за сорок восемь часов внимательно приглядевшись к Индии, я составил о ней в высшей степени благоприятное впечатление. Порой, думал я, такие вещи схватываешь с первого взгляда. Как говорит Кинглейк[16]: «…разглядывание пристальное, помещающее предмет под неверным углом зрения, не так хорошо для вынесения суждения, как беглый охватный взгляд, позволяющий увидеть вещи в их истинной пропорции». Проваливаясь в сон, мы всем существом сознавали огромнейшую работу, какую Британия совершала в Индии, ее высочайшее призвание управлять этим простейшим и отзывчивым народом — к его и нашей пользе. И буквально тут же трубы заиграли подъем, и мы поспешили на пятичасовой поезд в Бангалор — это тридцать шесть часов пути.

Огромное треугольное плато Южной Индии заключает в себе владения Низама и махараджи Майсура. Спокойствие этих земель, вместе почти равных территории Франции, обеспечивают, в случае нужды, два британских гарнизона — в Бангалоре и Секундерабаде, по две-три тысячи человек в каждом. И тому и другому гарнизону придано вдвое большее число индийских солдат; таким образом для любых учений и маневров имеется достаточно войск всех родов. Согласно установившемуся обычаю, британские силы расквартировываются в пяти-шести милях от людных городов, находящихся под их защитой, а в промежутке стоят лагерями индийские полки. Британские войска размещаются в просторных, прохладных, окаймленных деревьями казармах. Предусмотрительность и порядок осуществляли здесь свои планы, не жалея ни времени, ни пространства. Превосходные дороги, тенистые аллеи без конца и краю, изобилие чистой воды, импозантные конторы, лечебницы и учебные заведения,

обширные плацы и манежи — яркие приметы этих центров совместного проживания больших колоний белых людей.

Прекрасен климат Бангалора на высоте более трех тысяч футов над уровнем моря. И хотя солнце палит нещадно, за исключением самых жарких месяцев ночи прохладны и свежи. Европейские розы в бесчисленных глиняных вазонах являют само совершенство цвета и запаха. Буйствуют цветы, соцветия кустарников, лианы. В болотах пропасть бекасов (и змей). На солнце порхают сверкающие бабочки, при луне их сменяют баядеры.

Офицерам не полагается казенное жилье. Они получают квартирное довольство в серебряных рупиях, каковое вместе с денежным содержанием и всякими добавками ежемесячно сгружается в плетеную кошелку размером с призовой турнепс. Вокруг клубной столовой лежит район вместительных одноэтажных бунгало с огороженными дворами и садами. Отслужив очередной месяц, младший офицер получает свою кошелку с серебром, шествует с ней в свое бунгало, вручает ее сияющему дворецкому, и — казалось бы — он свободен от мирских забот. Но кавалеристу в те дни было весьма желательно пополнять щедрые воздаяния королевы-императрицы втрое-вчетверо большими поступлениями из дома. Всего мы получали за нашу службу около четырнадцати шиллингов в день плюс три фунта в месяц на содержание двух лошадей. Вместе с пятьюстами фунтами за год, которые выплачивались поквартально, это было единственное, чем я держался; все остальное приходилось брать под ростовщические проценты у сговорчивых местных банкиров. Против этих господ остерегали всех офицеров, а мне они нравились: очень толстые, очень любезные, очень честные и до ужаса жадные. Требовалось подписать какие-то клочки бумаги и предъявить, словно по волшебству, пони для поло. Улыбчивый финансист прядал на ноги, покрывал лицо руками, влезал в свои шлепанцы и, удовлетворенный, убегал — ровно на три месяца. Брали они всего *два процента в месяц* и недурно устраивались, поскольку вряд ли сталкивались с неоплатными долгами.

Наша троица — Реджинальд Барнс, Хьюго Бэринг и я, — сложив наши капиталы, сняли роскошное бело-розовое бунгало под тяжеловесной черепичной крышей, с глубокими навесами на белых гипсовых колоннах, увитых алой бугенвиллеей. Стояло оно на огражденном участке площадью акра в два. От нашего предшественника нам достались сотни полторы прекрасных розовых кустов: «Маршал Ниель», «Франция», «Слава Дижона» и так далее. Сами мы выстроили большую глиняную конюшню, крытую черепицей, со стойлами для тридцати лошадей и пони.

Наши дворецкие образовали триумвират, в котором разногласий не возникало. Мы поровну складывались в общий котел и избавляли себя от бытовых забот ради одного серьезного дела.

Дело это было *поло*. На нем, помимо службы, сосредоточились все наши помыслы. Но для того чтобы играть в поло, нужно иметь пони. Еще в плавании мы основали полковой клуб поло и из умеренных, но регулярно вносимых всеми офицерами пожертвований создали фонд, способный предоставлять солидные кредиты на приобретение этих верных соратников. Приехавшему из метрополии полку примерно года два нечего было и мечтать о том, чтобы добиться значимых результатов в индийском поло. За такой срок только и можно, что подобрать подходящих пони. Но после долгих и горячих дискуссий президент нашего клуба и старшие офицеры нашли умное и неординарное решение. Бикулахские конюшни в Бомбее служат главным рынком, через который арабские скакуны попадают в Индию. Местный полк легкой кавалерии, Пунский конный, где заправляли офицеры-британцы, имел, благодаря постоянному дислоцированию, безусловное преимущество в приобретении арабских пони. Проезжая через Пуну, мы испытали их пони и провели серьезнейшие переговоры. В итоге было решено, что наш полковой клуб приобретает у Пунского конного всех их поло-пони (числом 25); им предстояло стать ядром, вокруг которого мы сплотим силы для нашей будущей победы в Межполковом турнире. Не могу даже передать, с какой целеустремленностью мы все включились в это дерзкое и немыслимое предприятие. В истории индийского поло не было случая, чтобы кавалерийский полк из Южной Индии завоевал межполковой кубок. Мы понимали, что это потребует двух-трех лет самоотречения, сосредоточенности и тяжелого труда. Но мы были уверены, что, если не разбрасываться, успех вполне достижим. Поставив перед собой задачу, мы посвятили себя ей всецело.

Не забуду сказать, что было еще множество служебных обязанностей. Каждое утро, еще не светает, а вы уже видите перед собой смутный силуэт, и мокрая рука дерет вам вверх подбородок и несет поблескивающую бритву к намыленному беззащитному горлу. Около шести часов смотр полка, выезжаем на открытое место и полтора часа проделываем всяческие маневры. Потом возвращаемся в свои бунгало, принимаем ванну и идем в столовую завтракать. С девяти до половины одиннадцатого манеж и канцелярия; потом домой в бунгало, пока не началось пекло. Расстояния в широко раскинувшемся лагере столь велики, что пешком их не одолеешь. Мы перемещаемся только верхом. Но

задолго до одиннадцати свирепое дневное солнце загоняет всех белых людей в укрытия. В половине второго мы бежим, обдаваемые жаром, на ленч и возвращаемся спать до пяти часов. Потом все оживает. Наступает час поло. Вожделенный час. В те дни я стремился отыграть столько периодов, сколько мне перепадало. С утра определялся порядок для гарнизона; шустрый маленький вестовой составлял списки офицеров с указанием количества периодов, в которых они желают участвовать. Цифры усреднялись, дабы принести «наибольшее благо наибольшему числу людей». Я редко играл меньше восьми, обычно десять или двенадцать «чакэ».

Когда тени на поле удлинялись, мы, потные, еле переводя дух, трусили к себе, чтобы принять горячую ванну, отдохнуть и в половине девятого сесть за обед, протекающий под бряцание полкового оркестра и клацанье льдинок в стакане. Потом старшие офицеры вовлекали невезучих в скучную, модную тогда игру «вист», остальные покуривали под луной, и в половине одиннадцатого, самое позднее в одиннадцать, давался «отбой». Вот таким, три года кряду, был для меня «долгий-долгий индийский день», и, добавлю, день неплохой.

Глава 9
Образование в Бангалоре

Только зимой 1896 года, когда я отгулял на земле двадцать два года, меня вдруг потянуло к учебе. Я начал ощущать свое полнейшее невежество в очень многих наиважнейших областях знания. У меня был недурной словарный запас, я любил слова и ощущение, когда они с поразительной точностью ложатся во фразу, словно пенни в щель игрального аппарата. Я ловил себя на том, что употребляю много слов, точного значения которых не знаю. Мне они очень нравились, но я стал их избегать, боясь оскандалиться. Как-то, еще в Англии, приятель сказал мне: «Христово Евангелие было венцом этики». Красиво закручено, только что такое *этика*? О ней нам ничего не говорили ни в Харроу, ни в Сандхерсте. По контексту я заключил, что это что-то вроде «школьного братства», «командного духа», «esprit de corps», «благородного поведения», «патриотизма» и так далее. Потом от кого-то я услыхал, что этика не только предписывает нам делать то-то и то-то, но и объясняет, почему поступать нужно так, а не иначе, и это предмет многих трактатов. Я бы заплатил какому-нибудь книгочею не меньше пары фунтов, если бы он за час-полтора просветил меня насчет этики. Какой круг явлений охватывает эта дисциплина, на что подразделяется, какие вопросы поднимает и перед чем встает в тупик; кто в ней главный авторитет и где основополагающие труды? Но здесь, в Бангалоре, ни одна живая душа ничего не могла мне поведать об этике — ни по дружбе, ни за деньги. В тактике я разбирался, на политику имел свой взгляд, но краткий очерк этики был диковиной, которую здесь, на месте, я получить не мог.

И это всего лишь одна из дюжины одолевавших меня теперь духовных потребностей. Конечно, я знал, что университетские юнцы в девятнадцать-двадцать лет напичканы всей этой белибердой и загонят вас в тупик вопросами либо срежут ответом. Но мы ни во что ставили их самих и их показное превосходство, мы помнили, что они книжные черви, а нам доверены солдаты, мы защищаем Империю. Однако порой меня задирало то, что кто-то из них обладает нужными и разнообразными знаниями, и я жаждал заполучить сведущего наставника, чтобы ежедневно около часа слушать его и расспрашивать.

А тут кто-то обронил: «Сократический метод». Это что такое? Выясняется: это вовлечь приятеля в спор и хитрыми вопросами

заманить в приготовленную яму. Сам-то он кто, Сократ? Грек, спорщик, жена у него злыдня, и самого в итоге заставили выпить яд, потому что надоел всем до смерти! Но вообще-то крупная личность. Его высоко ставили просвещенные мужи. Мне хотелось разобраться с Сократом. Почему столько веков держится его слава? Что побудило афинских заправил приговорить его к смерти только на основании того, о чем он разглагольствовал? Ведь серьезнейшие, наверно, были побуждения: власть имущие и этот болтливый учитель! Такие противостояния из-за пустяков не возникают. Ясно, что Сократ тогда открыл нечто страшно взрывоопасное. Интеллектуальный динамит! Нравственную бомбу! Об этом воинский устав молчал.

Была еще история. В школе я любил историю, но там нас пичкали скучнейшими выжимками вроде «Школьного Юма». Как-то нам велели прочитать на каникулах сотню страниц «Школьного Юма». Перед самым возвращением в школу отец решил проэкзаменовать меня. Выпало царствование Карла I. Отец спросил, что я знаю о Великой ремонстрации?[17] Я отвечал, что в конце концов парламент поборол короля и отрубил ему голову. Более великой ремонстрации, полагал я, не может и быть. Ответ отца не удовлетворил.

— Это, — сказал он, — серьезнейший парламентский ход, определивший всю структуру нашей конституционной истории, и тебя подвели к самой сути проблемы, а ты и в малейшей степени не оценил ее значимости.

Меня озадачила его тревога, в ту пору я не понимал, из-за чего сыр-бор. Теперь захотел узнать больше.

Словом, я решил осваивать историю, философию, экономику и подобные им науки; я написал матери, просил присылать книги по этим отраслям, и она живо откликнулась, каждый месяц почта доставляла мне посылку с основополагающими, на мой взгляд, трудами. В истории я решил начать с Гиббона. Говорили, что отец с восторгом читал Гиббона, страницами знал его наизусть, и что Гиббон сильно отозвался в его речах и публикациях. Поэтому я, не откладывая, засел за 8-томную «Историю упадка и разрушения Римской империи» Гиббона под редакцией декана Милмана. Изложение и стиль покорили меня. Долгими слепяще-светлыми полуденными часами, с возвращения из манежа и до момента, когда вечерние тени возвещали о часе поло, я смаковал Гиббона. Получая безмерное удовольствие, я прочитывал его от корки до корки. Я царапал на полях свои замечания и очень скоро стал пламенным защитником автора от нападок его напыщенно-благочестивого редактора. Мне даже не мозолили глаз надоедливые авторские сноски. Напротив, от оправданий и

оговорок декана во мне закипала ненависть. «История упадка и разрушения» до того очаровала меня, что я сразу принялся за «Автобиографию» Гиббона, к счастью напечатанную в этом же издании. Читая его воспоминания о старой нянюшке — «Если есть кто-то, а такие, я верю, есть, кому в радость, что я живу, благодарить они должны эту прекрасную женщину», — я думал о миссис Эверест, и пусть это будет ей эпитафией.

От Гиббона я перешел к Маколею. Я учил наизусть его «Песни Древнего Рима», любил их; конечно, я знал, что он писал историю, но ни строчки из нее не прочел. И вот я на всех парусах пустился в упоительное романтическое плавание при крепком ветре. Я помнил, что у зятя миссис Эверест, тюремного надзирателя, была скупленная выпусками и переплетенная маколеевская история, и он благоговел перед ней. Я верил Маколею, как богу, и меня расстроили его резкие суждения о великом герцоге Мальборо. А рядом не было никого, кто мог бы мне подсказать, что этот блестящий стилист с убийственным апломбом не кто иной, как король литературных плутов, который, всегда предпочитая истине байку, срамил или превозносил великих людей и подтасовывал документы в угоду волнующему рассказу. Не могу ему простить, что он обманул меня, простофилю, и моего наивно-доверчивого старого друга, тюремного надзирателя. Тем не менее должен признать, что я перед ним в долгу.

Не меньше, чем история, меня восхищали его эссе: «Чатем», «Фридрих Великий», «Воспоминания лорда Ньюджента о Хэмпдене», «Клайв», «Уоррен Гастингс», «Барер» (грязная собака), «Диалоги Саути об обществе», и прежде всего шедевр литературного бичевания — «Стихи Роберта Монтгомери»[18].

С ноября по май я каждый божий день по четыре, по пять часов читал книги по истории и философии. «Республика» Платона — практической разницы между ним и Сократом я не углядел; «Политика» Аристотеля под редакцией нашего доктора Уэлдона; Шопенгауэр о пессимизме, Мальтус о народонаселении; «Происхождение видов» Дарвина — все это вперемешку с трудами менее достойными. Занятное я получал образование. Во-первых, я подошел к нему с пустым, алчущим умом и с крепкими челюстями; сглатывал все, что мне попадалось; а во-вторых, рядом не было никого, способного подсказать: «Этому уже нет веры», или «Прочти полемический труд такого-то; два мнения помогут тебе уяснить суть проблемы», или «На эту тему есть книжка получше», и так далее. Вот тут я впервые позавидовал университетским сосункам, у которых есть прекрасные наставники-толкователи, профессора, всю жизнь набиравшиеся

знаний в самых разных областях и жаждавшие поделиться накопленными сокровищами, пока не накрыла тьма. А сейчас мне жаль этих студиозусов, когда я вижу, как легкомысленно они упускают сквозь пальцы драгоценные, быстро преходящие возможности. Человеческая Жизнь должна быть распята на кресте либо Мысли, либо Действия. Без труда — беда!

Когда я бываю в сократическом настроении и воображаю *свое* Государство, то решительно пересматриваю систему образования для сыновей благополучных сограждан. В шестнадцать-семнадцать лет пусть учатся ремеслу и делают здоровую физическую работу, отдавая свободное время поэзии, пению, танцам, верховой езде и гимнастике. Так они с пользой употребят бьющую ключом энергию. А вот когда их по-настоящему потянет к знаниям, когда захочется что-то услышать, — пусть идут в университет. Отличились на фабрике или в поле, проявили в чем-то выдающиеся способности — значит, заслужили, дадим им право учиться. Однако это ударит по многим устоям, пойдет недовольство, и в конечном счете мне поднесут чашу с цикутой.

Беспорядочное чтение в последующие два года заставило меня задуматься о религии. До тех пор я покорно принимал все, что мне внушали. Даже на каникулах я раз в неделю ходил в церковь, а в Харроу вообще по воскресеньям были три службы, это помимо утренних и вечерних молитв в будние дни. Лучше не придумаешь, В те годы я так туго набил копилку Благочестия, что до сих пор живу спокойно. Венчания, крещения и похороны стабильно пополняют запас, и я не задаюсь вопросом, сколько у меня в кубышке. Вполне возможно, что, заглянув туда, я обнаружил бы недостачу. Но в пылкие дни юности мне для общения с Господом не хватало одних воскресений. В армии тоже были регулярные богослужения, иногда я сопровождал в храм католиков, другой раз протестантов. В британской армии религиозная терпимость доходила до полного безразличия. Ничья вера не была ни препятствием к повышению, ни предметом насмешек. Каждому предоставлялась возможность отправлять свои обряды. В Индии в Имперском пантеоне были с почетом размещены божества сотни религий. В полку мы порой обсуждали такие проблемы: «Продолжится ли наша жизнь в другом мире, когда здешняя кончится?», «Была ли у нас прежняя жизнь?», «Узнаем ли мы друг друга, встретившись после смерти, либо просто начнем все заново, как буддисты?», «Присматривает ли за миром какой-нибудь высший разум либо все течет своим ходом?». Мы сообща решили, что если ты изо всех сил старался вести достойную жизнь, дорожил друзьями и не обижал слабых и бедных, то совсем не важно, во что ты верил и во что не верил.

Все устроится правильно. Сегодня я назвал бы такое отношение «религиозным здравомыслием».

Иные старшие офицеры любили порассуждать о благотворности христианской веры для женщин («Мол, она не дает им сбиться с пути») и вообще для низших сословий («Сладкая жизнь им здесь не светит, но их утешает мысль, что они получат ее потом»). Христианство еще и дисциплинирует, особенно то, что проповедуется англиканской церковью. Оно побуждает людей держать себя достойно, соблюдать приличия, а значит, уберегает от множества скандалов. С этой точки зрения, всякая обрядность — шелуха. Все равно что перевод одной мысли на разные языки в расчете на разных людей и разные нравы. Любое религиозное излишество — штука плохая. Фанатизм, особенно у нецивилизованных рас, чрезвычайно опасен, он толкает на убийства и мятежи. По-моему, это верная картина настроений, в которых я тогда варился.

И вот мне стали попадаться книги, бросавшие вызов религиозному воспитанию, полученному мной в Харроу. Началось все с «Мученичества человека» Уинвуда Рида, настольной книги полковника Брабазона. Он без конца ее перечитывал и видел в ней своего рода Библию. Фактически это краткая, хорошо изложенная история человечества, в пух и прах разносящая все религиозные таинства и подводящая к безрадостному заключению, что мы просто сгораем и гаснем, как свечи. Прочитанное растревожило и, честно говоря, оскорбило. Но потом я обнаружил, что Гиббон держался того же мнения; и наконец под влиянием мистера Леки, чьи «Расцвет и воздействие рационализма» и «История европейской морали» были проглочены мною той же зимой, я склонился к светскому взгляду на вещи. Какое-то время я негодовал, что учителя и священники, пестовавшие мою юность, напичкали меня бреднями, как я тогда полагал. Конечно, учись я в университете, собравшиеся там знаменитые педагоги и теологи решили бы мои трудности. Во всяком случае, они указали бы мне в равной степени убедительные труды, отстаивавшие противоположную точку зрения. А так я пережил период яростного, агрессивного безбожия, и продолжись он, из меня бы получился отменный брюзга. Через несколько лет я вновь обрел душевное равновесие, и обрел его благодаря частым встречам с опасностью. Я сделал одно открытие: какие бы «за» и «против» ни сталкивались у меня в голове, слова «спаси и сохрани» сами собой срывались с моих губ, когда приходилось бросаться под вражеский огонь, и сердце преисполнялось благодарностью, когда я невредимый возвращался в лагерь к чаю. Я молил не только об избавлении от

ранней смерти, но и о всяких пустяках и почти каждый раз, как тогда, так и в последующей жизни, получал что испрашивал. Обычай самый естественный и столь же необоримый и реальный, как мыслительный процесс, входящий с ним в такое противоречие. Более того, молитва умиротворяла, а рассуждения вели в никуда. Поэтому я всегда действовал, как подсказывали чувства, и не умничал.

Для неуча самое милое дело читать сборники цитат. Прекрасная книга — «Знакомые цитаты» Бартлетта, и я внимательнейше изучал ее. Отложившись в памяти, цитаты рождают отличные мысли. К тому же они побуждают вас прочесть авторов, поискать что-то еще. У Бартлетта, а может, у кого-то другого я натолкнулся на французское речение, вызвавшее мое активное неприятие: «Le cœur a ses raisons, que la raison ne connait pas»[19]. Не глупо ли — отринуть рассудок сердца ради рассудка головного? Почему не прибегать к ним обоим? Лично я не видел ничего несообразного в том, чтобы думать одно, а ощущать другое. Пусть разум проникает как можно дальше в глубины мысли и логики — это хорошо, но хорошо и взмолиться о помощи и поддержке — и возблагодарить за них. Мне не думалось, чтобы Создатель, одаривший нас разумом и душой, разгневался из-за того, что они не всегда мирно трусят в одной упряжке. В конце концов, Он с самого начала должен был это предвидеть, и конечно Он все поймет.

Соответственно меня всегда удивляли надсадные попытки некоторых епископов и клириков примирить библейскую историю с современным научным и историческим знанием. Зачем нужно примирять их? Если вы получили некое послание, которое радует ваше сердце и укрепляет душу, обещая соединение с любимыми в мире, где шире горизонты и глубже взаимопонимание, то какое вам дело до формы и цвета долго плутавшего конверта? Почему вас должно волновать, правильно ли проставлен штемпель и верная ли дата на нем? Эти вещи могут рождать вопросы, но они конечно же не важны. Важно само послание и блага, даруемые его получателю. Если серьезно поразмыслить, то приходишь к однозначному выводу: чудеса невозможны, «скорее человеческое свидетельство может быть ошибочным, нежели нарушатся законы природы»; а между тем радуешься, читая, как Христос обратил воду в вино в Кане Галилейской, и ходил по водам, и воскрешал из мертвых. Человеческий ум не может постигнуть бесконечность, однако открытия в математике позволяют легко с этим справиться. Мысль, что истинно лишь постигаемое нами, — глупость, и вдвойне глупость, что мысли, которые не может примирить наш разум, исключают друг друга. Что может более

обескураживать, чем зрелище миллиардов вселенных (а сейчас говорят, что их такая уйма), мотающихся туда-сюда без всякого смысла и цели? Поэтому я уже в ранние годы усвоил для себя правило: верить тому, во что хочется верить, и предоставить разуму свободно бродить по тем дорогам, которые ему доступны.

Мои кузены, сподобившиеся получить университетское образование, изводили меня рассуждениями, что никакая вещь не существует вне нашего представления о ней. Что все творение есть мечта, что все явления воображаемы. Вы живете и творите свой собственный мир. Чем богаче ваше воображение, тем разнообразнее ваш мир. Когда вы перестанете грезить, мир кончится. Хорошо забавлять себя этой мозговой акробатикой, абсолютно безвредной и абсолютно бесполезной. Я лишь предупреждаю моих юных читателей: относитесь к этому как к игре. Метафизики еще возьмут свое, и вам придется опровергать их нелепые гипотезы.

У меня был свой довод, я сформулировал его много лет назад. Мы поднимаем глаза к небу и видим солнце. Нам слепит глаза, и это физическое ощущение. Пока что только наши органы чувств свидетельствуют о существовании великого светила. К счастью, есть иные, не чувственные, способы проверить, реально ли солнце. Математические. Сложные расчеты, в которых чувства никак не задействованы, позволяют астрономам предсказывать солнечное затмение. Чисто умозрительно они устанавливают, что в определенный день черный диск пройдет по солнцу. Стоит только взглянуть, и глаза сразу скажут, что их расчеты были правильны. Вот свидетельство чувств, подкрепленное совершенно независимым математическим вычислением. В военной топографии это называется «засечкой». Мы получили независимое доказательство реального существования солнца. Когда мои друзья-метафизики говорят мне, что данные, на которых астрономы основывали свои расчеты, изначально были конечно же доставлены органами чувств, я отвечаю: «Нет». Теоретически эти данные может снять какая-нибудь автоматическая счетная машина, приводимая в действие падающим на нее светом и обходящаяся на всех стадиях без участия человеческих чувств. Когда они настаивают, что, чтобы узнать об этих расчетах, мы должны услышать о них собственными ушами, я отвечаю, что математический подход самоценен и самодовлеющ и, будучи однажды открыт, является фактором новым и независимым. Тут я обычно в резкой форме подтверждаю свое убеждение: солнце реально, оно к тому же горячее — горячее, как геенна огненная, и если метафизики в этом сомневаются, пусть наведаются туда и проверят.

Наше первое вторжение в мир индийского поло было драматичным. Через шесть недель после нашей высадки в Хидерабаде разыгрывался кубок Голконды. В столице владений Низама и в соседствующем британском гарнизоне, в Секундерабаде, было шесть или семь команд поло. Команду имел и 19-й гусарский, только что перебравшийся туда из Бангалора. Между солдатами 4-го и 19-го гусарских полков тлела неприязнь с тех пор, как лет тридцать назад какой-то рядовой якобы нелестно высказался о казармах 4-го гусарского, силой обстоятельств перешедших к 19-му. Все участники старой ссоры давно вышли в тираж, однако сержанты и рядовые были о ней прекрасно осведомлены и негодовали, словно она разгорелась месяц назад. Впрочем, эти трения не касались офицеров, нас радушно принимали в офицерской столовой. Мне отвел комнату в своем бунгало молодой капитан Четвуд, ныне главнокомандующий в Индии. Помимо других гарнизонных команд были два грозных индийских соперника: Викар Аль Умра, команда премьер-министра, и знаменитая бригада Голконды, телохранители самого Низама. Голкондцы считались лучшими игроками в Южной Индии. Они много и упорно состязались с ведущими командами Северной Индии из Патиалы и Джодхпура. На них не жалели денег, о чем свидетельствовали роскошные табуны пони, и они были несравненными наездниками и мастерами поло, какими в ту пору стремились стать все молодые индийские и британские офицеры.

В сопровождении конюшни, откупленной у Пунского конного, в тревожном, но решительном настроении мы тронулись в долгое путешествие через Деканское плоскогорье. Хозяева, 19-й гусарский, приняли нас с распростертыми объятиями и с приличными случаю соболезнованиями уведомили, что нам, на наше несчастье, выпало открыть турнир схваткой с командой Голконды. Они не кривили душой, говоря, что это страшное невезение — не обжившись в Индии, так сразу, с места в карьер вступить в соперничество с безусловным фаворитом.

Утром мы присутствовали на торжественном смотре всего гарнизона. Перед нами, а может, перед местными чинами во всем воинском блеске промаршировали британские части, регулярные индийские части и армия Низама. Под конец прошли десятка два слонов, тянувших за собой гигантскую пушку. Тогда было принято, чтобы слоны, шествуя по плацу, вскидывали в салюте хоботы, что они и проделали по всей форме. Позже этот обычай отменили: простые люди прыскали со смеху, оскорбляя достоинство слонов и их погонщиков. Потом упразднили и самих

слонов, и теперь лязгающие тягачи тащат куда более крупные и губительные орудия. Цивилизация не стоит на месте. А я оплакиваю слонов и их приветственно поднятые хоботы.

В полдень начался матч. Турниры в Хидерабаде представляли собой яркое зрелище. Площадь была забита самыми разношерстными индусами, внимательно и со знанием дела следившими за игрой. Под навесами теснились британцы и местная знать. Нас считали легкой добычей, и мы готовы были разделить общее мнение, когда, едва начав, наш увертливый, проворный, точно бросавший противник повел со счетом 3:0. Впрочем (отброшу подробности, хоть и важные, но уже подзабытые и вытесненные более громкими событиями), под оглушительный рев толпы мы разгромили голкондцев со счетом 9:3. В последовавшие дни мы легко разделались со всеми другими противниками и установили не побитый с тех пор рекорд, одержав победу в перворазрядном турнире через пятьдесят дней после прибытия в Индию.

Пусть читатель вообразит, с какой окрыленностью устремились мы к высшей цели. Однако между нами и ее достижением пролегла дистанция в несколько лет.

Перед жарким сезоном 1897 года стало известно, что некоторые офицеры могут получить так называемый «трехмесячный отпуск по совокупности заслуг» для поездки в Англию. Мы только что приехали сюда, и почти никто не горел желанием отправляться обратно. А мне было жаль не воспользоваться таким заманчивым предложением, и я вызвался заполнить брешь. Я отплыл из Бомбея в конце мая, в лютый зной, при сильном волнении, разбитый морской болезнью. Когда я смог принять вертикальное положение, мы на две трети одолели Индийский океан, и вскоре я свел знакомство с высоким худощавым полковником, отвечавшим за стрелковую подготовку в Индии, его звали Иэн Гамильтон. Он открыл мне глаза на то, что между Грецией и Турцией напряженные отношения. Вот-вот начнется война. Он был романтик и стоял за греков, надеялся послужить им в каком-нибудь качестве. Я, взращенный на идеях тори, держал сторону турок и видел себя в роли военного корреспондента при их войске. Они, конечно, победят греков, заявлял я, так как их по крайней мере впятеро больше и они лучше вооружены. Мой попутчик искренне расстроился, и тогда я сказал, что не приму участия в военных действиях, а просто посмотрю и отпишу как и что. Когда мы добрались до Порт-Саида, выяснилось, что греки уже проиграли. Благоразумно и поспешно они уступили в неравном соперничестве, и великим державам пришлось пустить в ход дипломатию, чтобы спасти их

от крушения. И вместо того чтобы мотаться по полям сражений во Фракии, я провел две недели в Италии, взбирался на Везувий, исследовал Помпеи и главное — узрел Рим. Я перечитал те страницы Гиббона, где говорится о чувствах, с которыми он, уже в преклонные годы, впервые вступил в пределы Великого города, и хоть я не мог тягаться с ним в учености, но с благоговением следовал по его стопам.

Все это послужило хорошим вступлением к увеселениям лондонского сезона.

Глава 10
Малакандская действующая армия

Я фланировал по лужайкам Гудвуда, наслаждался чудесной погодой, играл на бегах, когда патаны на индийском пограничье подняли мятеж. Из газет я узнал, что сформирована действующая армия из трех бригад и командиром над ней поставлен сэр Биндон Блад. Я немедленно напомнил ему о себе телеграммой и взял билет до Бриндизи, чтобы успеть на индийский почтовый. Я еще заручился поддержкой лорда Уильяма Бересфорда. Он тоже просил за меня генерала. Перед моим отъездом с вокзала Виктории лорд Бересфорд угощал меня в Мальборо-клубе. Широкие они были натуры, эти Бересфорды. Они заставляли вас почувствовать, что мир и всякий человек в нем — неизмеримая ценность. Не забуду, как он объявил о моем решении своим клубным друзьям, людям много старше меня:

— Вечером он едет на Восток, на театр войны.

Меня поразило это «на Восток». Другие сказали бы: «Он едет в Индию», но для того поколения «Восток» был вратами к подвигам и завоеваниям Британии.

— На фронт? — спросили они.

— Надеюсь, — только и мог сказать я.

Все приняли меня чрезвычайно тепло и даже восторженно. Я раздувался от сознания собственной значимости, но не мог не заметить настороженности в отношении к плану кампании, предложенному сэром Биндоном Бладом.

Я еле успел на поезд и отбыл в отличнейшем настроении.

Одного плавания в Индию достаточно, другие — уже перебор. Было самое жаркое время года, в Красном море — ни ветерка. Опахалыцики гоняли воздух в переполненной кают-компании (электрических вентиляторов еще не было), дурманя кухонными запахами. Но физические неудобства не шли ни в какое сравнение с моими душевными терзаниями. Я жертвовал целым двухнедельным отпуском. В Бриндизи ответа от сэра Биндона Блада не было. Наверняка придет в Аден. Там я топтался у стойки, пока не разобрали последние телеграммы — мне опять ничего. Однако в Бомбее меня ждали хорошие новости. Генерал писал: «Очень трудно; вакансий нет; приезжайте корреспондентом; постараюсь оформить. Б.Б.».

Прежде мне предстояло получить отпуск в полку в Бангалоре. Для этого нужно было два дня тащиться по железной дороге в направлении, противоположном тому, куда устремлялись мои

надежды. В полку удивились, что я рано вернулся, но лишний младший офицер всегда в деле пригодится. Между тем меня определили военным корреспондентом в газету «Пионер», а матушка озаботилась, чтобы мои письма одновременно публиковались в «Дейли телеграф», где обещали платить пять фунтов за колонку. Не много, если считать, что я оплачивал все расходы из своего кармана. Не без трепета представляя телеграмму сэра Биндона Блада своему непосредственному начальнику, я выложил и корреспондентские мандаты. Но полковник был снисходителен, а судьба благосклонна. Тем же вечером с денщиком и полной выкладкой я поспешил на железнодорожную станцию Бангалора и купил билет до Ноушеры. Приняв кошель с рупиями, индус-кассир сунул в окошко простейшего вида билет. Из любопытства я спросил, сколько ехать.

Вежливый индус приник к расписанию и бесстрастно ответил: «Две тысячи двадцать восемь миль». Большая страна Индия! Это означало пять дней пути в нестерпимую жару. Компании у меня не было, но было много книг, и время прошло не без приятности. Приладившиеся к местным условиям просторные индийские вагоны внутри были обтянуты кожей, плотно закупорены и зашторены от палящего солнца и держали прохладу благодаря влажному соломенному кругу, который надо было время от времени раскручивать. Я провел пять дней в темной замурованной камере на колесах, читал при лампе или осторожно допущенном лучике света.

На сутки я задержался в Равалпинди, где в 4-м драгунском гвардейском полку служил мой друг, тоже младший офицер. В городе было неспокойно, хотя фронт находился в нескольких сотнях миль. Весь гарнизон надеялся, что их пошлют на север. Отпуска отменили, драгуны ждали приказа точить клинки. После обеда мы отправились в сержантскую столовую, где вовсю шла спевка. Память о прошлом лучше всего навевают запахи, а нет их, замечательная подсказка — мелодия. Из всех войн, где я участвовал, из каждого решающего эпизода моей жизни я вынес мелодии. Однажды, когда мой корабль окончательно бросит якорь в родной гавани, я соберу их все в граммофонных записях; сяду в кресло, закурю сигару, и прихлынут стертые временем картины и лица, настроения и переживания; и засветится тусклый, но неподдельный огонек былого. Я хорошо помню песни, которые в тот вечер пели солдаты. Была, например, песня «Новая фотография», там говорилось о некоем скандальном изобретении, позволяющем делать снимки через ширму и вообще через любую преграду. Я впервые услышал про такое. Получалось,

что скоро придет конец частной жизни. Вот какие были слова:

Ты | ви | дишь | все | нут | ро | бы | ти | я,
Ужас | на | я | вещь, | кош | мар | на | я | вещь | эта | но | ва | я
Фо | то | гра | фи | я.

Конечно, мы воспринимали это как шутку, но потом я прочитал в газете, что однажды смогут увидеть даже кости у вас в теле! Была еще песня с таким припевом:

Англия вопрошает
Перед лицом войны,
Готовы ли драться насмерть Индии сыны.

Естественно, ответ давался положительный. А лучше всех была песня:

За океаном-морем Великая Белая Мать,
Ее Империя вечно пусть будет над миром стоять,
Дай Бог ей долго и славно бразды правленья держать
В Великой Белой Отчизне.

Эти благородные чувства, в придачу к обильным возлияниям в полковой столовой, чрезвычайно меня воодушевили. Впрочем, я вел себя нарочито сдержанно, поскольку в то время отношения между этим замечательным полком и моим собственным были неприязненными. Одному нашему капитану пришел из 4-го драгунского обычный служебный запрос: «Соблаговолите сообщить, на каких минимальных условиях вы готовы перевестись в 4-й драгунский гвардейский полк». На что наш озорник капитан ответил: «10 000 фунтов, пэрство и бесплатное обмундирование». Драгуны-гвардейцы сочли такой ответ щелчком по репутации своего полка и затаили обиду. Эти трения только добавили огня в наши состязания с этим великолепным полком в поло-турнирах 1898 и 1899 годов.

Однако пора мне напомнить читателю, что я спешил на фронт. На шестое утро после отправления из Бангалора я спрыгнул на платформу в Ноушере, в конечно-выгрузочном пункте Малакандской действующей армии. Далее — сорок миль галопом по равнине, на перекладных, под испепеляющим солнцем, прежде чем тележка поползла наконец по крутой извилистой тропе вверх, к Малакандскому перевалу. Этот перевал

был занят сэром Биндоном Бладом три года назад, и штаб-квартира вкупе с бригадой, состоявшей из всех родов войск, располагалась в самой его седловине. Весь желтый от пыли, я явился в управление штаба. Генерала на месте не было. Он выехал с летучим отрядом разбираться с бунервалами, грозным племенем, которое владело целой долиной, куда столетиями не допускало чужаков. В 1863-м имперское правительство направило в Бунер экспедицию, вошедшую в англо-индийские анналы под названием «кампания в Амбейле». Бунервалы сопротивлялись с ожесточением, вокруг некогда знаменитой скалы Пикет, которую то брали, то отдавали, дотлевали скелеты нескольких сотен британских солдат и сипаев. Никто не знал, сколько времени сэр Биндон Блад будет заниматься этими свирепыми бандитами. Столоваться меня определили в штабной клуб и велели устроиться в какой-нибудь палатке. Я решил проявить осторожность и вести себя наилучшим образом, дабы как-нибудь не запятнать свое имя в том новом мире, куда я поднялся.

Чтобы утихомирить бунервалов, генералу потребовалось всего пять дней, но мне они показались вечностью. Я постарался провести их с наибольшей пользой — вырабатывая новую привычку. До сих пор я не мог пить виски — не выносил его вкуса. Мне было непонятно, как моим сослуживцам удается вливать в себя столько виски с содовой. Я любил белое и красное вино и особенно шампанское; в исключительных случаях мог проглотить стаканчик бренди. Но от этого копченого питья меня всегда воротило. Теперь же мне пришлось проторчать пять дней в ужасающем, хотя неплохо мною переносимом пекле, имея для утоления жажды — помимо чая — лишь теплую воду, теплую воду с лаймовым соком да теплую воду с виски. Перед таким выбором я понадеялся совладать с собой. Меня поддерживал мой боевой настрой. Исполнясь решимости подготовить себя к военной жизни, я преодолел обычную телесную слабость. К концу пятидневки я совершенно превозмог отвращение к виски. И это был не временный успех. На отвоеванной территории я закрепился навсегда. Когда приучишь себя к вкусу виски, то начинаешь находить смак в том, от чего прежде передергивался. И хотя я всегда исповедовал умеренность, но ни при каких обстоятельствах не брезговал этим первейшим для белого офицера на Востоке освежающим средством.

Конечно, в английском высшем обществе пристрастие к виски было явлением новомодным. Например, мой отец пил виски, только охотясь на болотах или в других унылых, промозглых местах. Он жил в век «бренди с содовой» — напитка, освященного традицией. Однако, рассмотрев вопрос без предвзятости, сравнив

и подумав, я уяснил для себя, что для ежедневного потребления гораздо лучше подходит разбавленное виски.

И раз уж я затронул эту тему, взгромоздившись на Малакандский перевал, то позвольте сказать, что я и другие молодые офицеры были воспитаны совсем иначе, нежели тогдашние университетские мальчишки. Студенты Оксфорда и Кембриджа пили как извозчики. Они даже имели клубы и устраивали обеды, где вменялось в обязанность надраться в стельку. В Сандхерсте и в армии, наоборот, пьянство считалось позором и наказывалось не только общественным порицанием, зачастую выражавшимся в рукоприкладстве, но и увольнением, если дело доходило до начальства. Воспитание и дисциплина привили мне крайнюю неприязнь к людям, напивающимся допьяна (исключая особые случаи и некоторые юбилеи), и бражничающую университетскую братию я бы построил в ряд и выпорол за надругательство над даром богов. В те дни я был ярым противником как неумеренных возлияний, так и запрета на торговлю спиртным, то есть вообще всяческих крайностей, но теперь я снисходительнее смотрю на человеческие слабости, лежащие в основе подобных сумасбродств. Тогдашние младшие офицеры были народом нетерпимым; они полагали, что и тот, кто перебирает, и тот, кто не дает опрокинуть стаканчик, одинаково заслуживают головомойки. Сейчас мы умнее: нас просветила Мировая война.

В те же пять дней я готовился к грядущей войсковой операции. Пришлось купить двух хороших лошадей, обзавестись конюхом и пополнить свой военный гардероб. На предыдущей неделе нескольких офицеров, к несчастью для них, но, увы, очень кстати для меня, убили, и по англо-индийскому воинскому обычаю все их имущество, включая то, в чем они погибли, было выставлено на аукцион сразу после панихиды (если ее можно таковой назвать). Скоро я был полностью экипирован. Меня потрясло, что личные вещи павшего товарища — китель, рубашка, сапоги, фляга, револьвер, одеяло, котелок — могут столь бесцеремонно передаваться чужим людям. Впрочем, это логично и согласуется с высшими принципами экономики. Лучшего места для сбыта товара не придумаешь. Все транспортные расходы оплачены. Покойник избавляется от своего скарба на фактически монопольных условиях. Армейский аукционист выгоднее вдовы или матери реализует пожитки лейтенанта Икс или капитана Игрек. И у рядовых происходило то же самое, только еще чаще. Однако должен признаться, мне стало как-то не по себе, когда несколько недель спустя я впервые перекинул через плечо бинокль храбреца, на моих глазах убитого

накануне.

Приспело время дать читателю более или менее общее представление о кампании. Уже три года британцы занимали седловину Малакандского перевала, держа таким образом под контролем дорогу, ведущую из долины Свата — через реку Сват и еще множество долин — в Читрал. Читрал тогда считался важным стратегическим пунктом. Потом он вроде бы тоже не зачах, но в то время его значимость была поистине огромной. Раздраженные присутствием войск в стране, испокон веков принадлежавшей им, обитатели долины Свата вдруг ринулись в бой с неистовством, которое правительство объясняло религиозным фанатизмом, хотя на деле все было много проще. Они атаковали гарнизоны, стоявшие на Малакандском перевале, и маленький форт Чакдара, угнездившийся на вершине скалы (миниатюрной копии Гибралтарской) и охранявший длинный висячий мост через реку Сват. Расходившиеся туземцы перебили много народу, в том числе женщин и детей из дружелюбных, мирных племен. Внезапная атака поколебала ряды защитников Малакандского перевала. Но нападение было отражено, и на рассвете пограничная кавалерия и 11-й Бенгальский уланский полк отбросили строптивых аборигенов с одного края долины Свата к другому, уложив, как утверждалось потом, порядочное их число. Форт Чакдара, этот лилипутский Гибралтар, выдержал осаду и остался цел и невредим. Висячий мост тоже не пострадал, и теперь по нему готовилась двинуться карательная экспедиция (около 12 тысяч человек и 4 тысяч животных), чтобы перевалить через горы, пересечь долины Дира и Баджаура, миновать Мамундскую землю и в конце концов вернуться в цивилизованную равнинную Индию, усмирив по дороге момандов, еще одно чрезвычайно вздорное племя вблизи Пешавара.

В положенный срок вернулся сэр Биндон Блад. В англо-индийских делах он собаку съел, и ему удалось образумить бунервалов, практически никого не отправив на тот свет. Он любил этих диких туземцев и умел находить с ними общий язык. Патаны — странный народ. У них уйма ужасных обрядов и зверских способов мести. Они охотно вступают в торг, и если им внушить, что вы достаточно сильны и намерены говорить на равных, то не трудно прийти с ними к соглашению с помощью дипломатии, а вернее — хитрости. Итак, с бунервалами сэр Биндон Блад отлично сладил. Была всего одна стычка, в которой его адъютант лорд Финкасл и еще один офицер, проявив настоящее геройство, вырвали из вражеских лап раненого товарища, за что получили Крест Виктории. И вот он

возвращается, мой старый дипдинский друг, генерал и главнокомандующий, в окружении штабных и свитских, среди коих и его юные герои.

Сэр Биндон Блад являл собой поразительную картину в этих девственных горах, среди буйных дикарей, вооруженных ружьями. В форме, верхом, со знаменосцем и кавалькадой, он выглядел куда внушительнее, нежели в тихой и уютной Англии. Он перевидал множество британских и индийских армий в военной и мирной обстановке и к любой ситуации подходил без иллюзий. Он гордился, что был прямым потомком известного полковника Блада, который в царствование Карла II пытался с вооруженными сообщниками похитить из лондонского Тауэра королевские регалии. Об этом пишут в книгах по истории. Полковника арестовали в воротах Тауэра с сокровищами в руках. Обвиненный в государственной измене и еще нескольких тяжелых преступлениях, он был оправдан и немедленно назначен командующим личной охраной короля. Столь неожиданный поворот дел позволил недоброжелателям заподозрить, что сам монарх потворствовал изъятию королевских регалий из Тауэра. Известно ведь, что в те трудные времена король сидел без денег, а Европу уже наводнили предшественники мистера Аттенборо. Как бы то ни было, сэр Биндон Блад считал эскападу своего предка самым славным событием в своей семейной истории и потому питал теплые чувства к патанам индийского пограничья, которые до тонкостей поняли бы случившееся и воздали бы дань безграничного восхищения всем участникам инцидента. Собери генерал все этих патанов вместе и изложи свою историю по радио, не понадобилось бы трем бригадам и бесконечным вереницам мулов и верблюдов мучительно одолевать горы и почти безлюдные нагорья, где мне предстояло провести несколько недель.

Генерал, уже тогда ветеран, жив и здравствует по сей день. В той кампании он перенес единственное потрясение. Из прибывшей к нему депутации старейшин вдруг выскочил какой-то фанатик и бросился на него с ножом, а разделяли их ярдов восемь. Восседавший на лошади сэр Биндон Блад выхватил револьвер — мы-то думали, что у дивизионного генерала это просто пугач, — и застрелил врага чуть ли не в упор. Нетрудно представить, каким восторгом преисполнилась наша армия, включая самого неприкасаемого мусорщика.

Я не ставлю своей задачей описывать кампанию. Как известно, у меня уже есть о ней книжка. К сожалению, в продаже ее нет. Сейчас лишь кратенько изложу ход событий. Три бригады Малакандской действующей армии проследовали через

упомянутые мной долины, потрясая оружием перед аборигенами и здорово их утесняя — забирая скот на довольствие, выкашивая посевы на фураж. Сопровождавшие войско политические советники с белыми петлицами на воротниках вели нескончаемые переговоры с вождями, муллами и прочей местной элитой. Боевые офицеры ненавидели этих политкомиссаров. Считали, что они только мешают делу: наводят какие-то мосты в ущерб престижу Империи, и все тихой сапой. Их обвиняли в страшном преступлении: «нерешительности», а попросту говоря, в стремлении удерживать нас от пальбы до последнего. С нами был блистательный политический советник, некто майор Дин, которого на дух не выносили, потому что он постоянно предотвращал военные столкновения. Мы предвкушаем жаркое дельце, пушки заряжены, все дрожат от нетерпения, и тут налетает этот майор Дин — а с какой стати он майор? обыкновенный политикан — и дает отбой. Ясно, что все эти первобытные вожди были его добрыми друзьями, а то и кровными родичами. В общем, не разлей вода. Между стычками они толковали с ним как мужчина с мужчиной, как кунак с кунаком, а с генералом сходились как разбойник с разбойником.

Мы тогда еще ничего не знали об отношениях между полицией и чикагскими бандами, но они, должно быть, строились на том же — на полном взаимопонимании и глубоком презрении к таким вещам, как демократия, меркантилизм, нажива, бизнес и всяческая серятина. Мы же только и ждали момента, когда нам будет позволено разрядить ружья. Не для того мы тащились в этакую даль и сносили зной и неудобства, порой мучительные — горячий воздух можно было поднимать руками, он давил на плечи, как тяжелый рюкзак, до мути сжимал голову, — чтобы присутствовать при бесконечных тайнственных собеседованиях политических советников с угрюмыми, кровожадными туземцами. При этом мы сознавали, что среди врагов тоже есть горячие головы. Им не терпелось стрелять в нас, как нам не терпелось стрелять в них. И тех и других держали в узде, по-ихнему говоря, старейшины (а на современный манер — «старая банда») и интриговавшие у нас на глазах политические советники с белыми петлицами. Однако, как всегда и бывает, кровожадное начало победило. Дикари пошли супротив своей «старой банды», и политическим советникам не удалось их утихомирить. Полегла тьма народу, и Имперскому правительству пришлось назначать пенсии вдовам наших павших героев; многие получили тяжелые увечья и потом до гробовой доски скакали на костылях; всех это очень будоражило, а счастливчиков, которых не убило и не покалечило, страх как веселило.

В этой ернической форме я хочу донести до читателя мысль о терпении и мудрости правительства Индии. Оно исключительно терпеливо, так как знает, что, если скверная ситуация разрешится наисквернейшим исходом, никому не поздоровится. И его задача — избегать таких печальных развязок. Это уравновешенное правительство, связанное законами, оплетенное паутиной договоренностей и личных отношений; оно считается не только с мнением палаты общин, но и с множеством чисто англо-индийских ограничений, примиряя величайшее понятие либерального гуманизма с дотошным бюрократическим крючкотворством. Так и должно быть устроено общество в мирное время: огромная сила на стороне правителей и бесчисленные препоны, чинимые ее применению на местах. И все же время от времени будут происходить сбои и так называемые «печальные недоразумения». И одному из таких «недоразумений» я посвящу следующие несколько страниц моего рассказа.

Глава 11
Долина мамундов

Воевать на Индийском фронте — это опыт, не имеющий себе равных. Как пейзаж, так и население здесь совершенно уникальны — нигде в мире не встретится ничего подобного. Долину со всех сторон окружают отвесные скалы в пять-шесть тысяч футов высотой. Войсковые колонны ползут по гигантскому хитросплетению ущелий, где под раскаленным небом бурлят и пенятся реки, питаемые снегом с вершин. Дикая красота этих мест взрастила племя себе под стать. Кроме как в пору сбора урожая, когда забота о выживании диктует необходимость перемирия, племена патанов постоянно вовлечены в междоусобицы или же в единую борьбу. Каждый житель здесь воин, политик и богослов. Каждый приметный дом — это средневековая крепость, пускай слепленная из обожженной глины, но с зубцами стен, башнями, бойницами, подъемными мостами и всем прочим в полном комплекте. Каждая семья свято чтит обычай вендетты, каждый род продолжает начатую предками вражду. Многочисленные племена и племенные союзы ведут счет нанесенным им обидам и всегда готовы предъявить этот счет противнику. Ничего не забывается и не прощается и очень редко остается безнаказанным. Помимо обычая замиряться в период сбора урожая в местном обществе существует очень разветвленный и сложный кодекс чести, которого свято придерживаются. Тот, кто его знает и чтит, может передвигаться безоружным по всему фронту. Но малейшая пустяковая оплошность грозит бедой. Потому жизнь патана захватывающе увлекательна, а раскинувшиеся под щедрым солнцем и изобилующие водой земли здешних долин плодородны настолько, что без особого ухода могут удовлетворить скромные потребности малочисленного населения долин.

Девятнадцатый век привнес в этот счастливый мир два новшества — винтовку с затвором и британское правительство. Первое стало настоящей драгоценностью и благом, второе — сплошной обузой. Удобство винтовки с затвором и, тем паче, с магазином патронов нигде не было оценено больше, чем на индийском высокогорье. Оружие, разящее с расстояния тысячи пятисот ярдов, открыло новые кладези наслаждений каждому семейству или роду, которые сумели его приобрести. Появилась возможность, не выезжая со двора, подстрелить соседа, находящегося от тебя чуть ли не в миле, или, пристроившись где-

нибудь на кряже, уложить всадника, скачущего внизу, в дали, дотоле недосягаемой. Целые деревни могли теперь вести перестрелку, не отходя от дома. За такое замечательное орудие убийства платили бешеные деньги. Рука об руку с честными спекулянтами, шаря по всей стране, действовали воры. Неиссякаемый поток контрабандного оружия захлестнул пограничье, и уважение патанов к христианской цивилизации невиданно возросло.

Действия же британского правительства, напротив, никак нельзя было счесть удачными. Великое продвижение на юг, имевшее целью упорядочение, просвещение и ассимиляцию, выродилось в какое-то мелкое вредительство. Когда патаны совершали вылазку на равнину, их не только выдворяли назад (что, в общем, было только справедливо), но и вторгались затем к ним, а еще время от времени снаряжали экспедиции, которые, с трудом переваливая из долины в долину, всячески отчитывали дикарей и штрафовали за причиненный ущерб. Никого бы эти пришельцы не раздражали, если бы они просто явились, подрались и убрались восвояси. Так, собственно, и делалось раньше, в соответствии со стратегией «бей и беги», к которой тяготело индийское правительство. Но к концу девятнадцатого века захватчики начали прокладывать в долинах дороги, в частности великую дорогу в Читрал. Обезопасить эти дороги они пытались угрозами, строительством фортов и выделением субсидий. Последнее, разумеется, встречалось без возражений. Однако в целом строительство дорог патаны совершенно не одобряли. На дороге предписывалось вести себя тихо-смирно, не затевать перестрелок и тем более не метить из укрытия в следующих по ней путешественников. А уж подобные требования никуда не годились. Множество стычек имели своим источником данное расхождение во взглядах.

Наш путь в край момандов лежал мимо входа в долину мамундов. Долина эта, имеющая в поперечнике почти десять миль, формой своей напоминает сковородку. С мамундами мы не конфликтовали. Их убийственная репутация заставляла нас держаться от них в отдалении. Но вид нашего лагеря с его идеально ровными рядами солнцезащитных навесов, с группой госпитальных палаток, со скоплением лошадей, верблюдов, мулов и ослов раззадорил мамундов. Свет наших костров по периметру, поблескивающий в ночи, так и манил стрелков — искушение, которому не могла противиться душа обитателя индийского пограничья. Одиночные выстрелы были неизбежны и начались сразу же, как только темнота укрыла стан нашей передовой

бригады. Большого вреда выстрелы не причинили. Только ранили нескольких человек. Сэр Биндон Блад невозмутимо продолжал ужинать, хотя в какой-то момент и вынужден был загасить свечи. Утром, не ответив на эту наглую выходку, мы двинулись на Навагаи. Но мамунды уже возбудились, и, когда двумя днями позже к их долине подошла следовавшая за нами вторая бригада, сотни туземцев, вооруженных чем ни попадя — от допотопных кремневых ружей до винтовок последнего образца, — три часа вели оживленный обстрел сгрудившихся людей и животных. Большая часть наших бойцов успела окопаться в неглубоких ямах, и весь лагерь был окружен траншеей. Тем не менее эта ночная стычка стоила нам примерно сорока солдат и офицеров, не считая множества лошадей и вьючной скотины. Получив донесение, сэр Биндон Блад дал приказ отомстить неприятелю. Командовавшему второй бригадой генералу Джеффрису было велено на следующий день войти в долину и наказать необузданных дикарей за их наглость. Отмщению предстояло принять форму марша через всю долину, до самого края этого cul de sac[20], с попутным уничтожением всех посевов, разрушением водных резервуаров, подрывом стольких крепостей, сколько время даст подорвать, и расстрелом любого, кто осмелится помешать данному процессу. «Если хотите увидеть настоящий бой, — сказал мне сэр Биндон, — то отправляйтесь с Джеффрисом». И вот в сопровождении бенгальских уланов, возвращавшихся после доклада во вторую бригаду, я с большой осмотрительностью преодолел десять миль пересеченной местности, разделявшей оба лагеря, и еще засветло прибыл в штаб к Джеффрису.

Всю ночь над лагерем свистели пули, но к тому времени уже были вырыты надежные окопы, а большинство лошадей и мулов тоже получили сносное укрытие. На рассвете 16 сентября вся бригада с эскадроном бенгальских улан во главе в боевом порядке вступила в долину мамундов и вскоре развернулась широким фронтом, разделившись на три части, каждая из которых имела свою карательную задачу. Поскольку мы рассредоточивались веером, а общая численность бригады не превышала тысячи двухсот бойцов, вскоре все разбились на небольшие отряды. Я примкнул к центральной колонне, направлявшейся к дальнему краю долины. Ехал я с кавалеристами.

Мы пересекли долину без единого выстрела. Ни в деревнях, ни в полях — ни души. Приближаясь к горной гряде, мы различили в бинокли группки крохотных фигурок на конусообразном холме. Время от времени можно было видеть, как

поблескивает на солнце сталь сабель, которыми туземцы взмахивали в воздухе. Зрелище воодушевило нас, и рысью и галопом мы припустили к рощице, находившейся на расстоянии ружейного выстрела от конусообразного холма. Здесь мы спешились и открыли огонь с семисот ярдов из не более чем пятнадцати карабинов. Моментально весь холм испещрили белые облачка дыма, и рощу со свистом стали прорезать пули. Увлекательное противостояние оживляло атмосферу чуть ли не час, а между тем к нам все ближе по долине подвигались пехотные части. Когда они подошли, было решено, что передовой отряд из тридцати пяти сикхов атакует холм, а другие два отряда поднимутся по длинному пологому отрогу к деревне, крыши и маисовые поля которой можно различить на склоне. Все это время кавалерия будет контролировать долину, поддерживая связь с нашим, находящимся под началом командира бригады, резервом, состоявшим в основном из Кентцев[21].

Я решил присоединиться ко второму отряду, поднимавшемуся к деревне. Отдав свою лошадь сикху, я стал карабкаться на холм вместе с пехотинцами. Стоял пугающий зной. Палящие лучи солнца, приближавшегося к зениту, буквально въедались в плечи. Через силу, спотыкаясь, мы лезли в гору примерно час — то через заросли кукурузы, то по камням, то по скалистым тропам или голым склонам, но неизменно по восходящей. Сверху раздалось несколько одиночных выстрелов, но, если не считать их, царила полная тишина. Оглянувшись назад с высоты, можно было увидеть весь овал долины. Я приостановился и, отирая пот со лба, присел на валун, озирая открывшуюся картину. Было почти одиннадцать, и первое, что меня поразило, — это отсутствие наших частей в пределах видимости. Примерно в полумиле от подножия отрога стояли рядом со своими лошадьми несколько уланов. Вдалеке, под скалой, клубился дымок — это горела крепость. Куда подевалась наша армия? Всего несколько часов назад в поход вышли двенадцать сотен сплоченных бойцов, сейчас же долина словно поглотила их. Вытащив бинокль, я стал изучать раскинувшуюся внизу равнину. Глинобитные деревенские хижины, редкие крепости, ущелистые русла рек, поблескивающая гладь водоемов, разбросанные там и сям полоски пашен, отдельные купы деревьев — и все это в ослепительной яркости на фоне зубчатых скал, — но ни следа англо-индийской бригады.

Тут меня впервые пронзило понимание того, как нас мало: пять британских офицеров, считая меня, и около восьмидесяти пяти сикхов. И это все, а против нас — грозная долина, и мы взбираемся вверх, чтобы разорить самое дальнее из ее поселений.

Свежеиспеченный выпускник Сандхерста, я четко помнил предупреждения касательно «распыления сил» и был поражен контрастом между предосторожностями, с которыми наше мощное подразделение покидало утром лагерь, и отчаянностью положения жалкой горстки, которую мы составляли. Но как это и свойственно юным дурням, я с готовностью лез на рожон и только и надеялся, что на захватывающее приключение. Оно не заставило себя ждать!

Мы наконец добрались до нескольких глинобитных хижин деревни. Как и все прочие, она была покинута жителями. Деревня стояла на самом гребне отрога, и ее соединял с горным массивом широкий перешеек. Вместе с еще одним офицером и восемью сикхами я залег у деревенской околицы со стороны гор, в то время как остальные обыскивали хижины или отдыхали, укрывшись за ними. Следующая четверть часа не принесла с собой никаких событий. Затем подошел командир отряда.

— Мы собираемся отходить, — сказал он младшему офицеру. — А вы останетесь здесь, чтобы прикрывать наше отступление, пока мы не займем новую позицию на вон том выступе, пониже деревни. — Еще он прибавил: — Кентцы, похоже, не подтягиваются, и полковник считает, что мы тут со всех сторон оголены.

Такое соображение показалось мне вполне здравым. Мы подождали еще десять минут, пока, как я мог предположить, потому что вживе я этого не видел, основная часть отряда спускалась от деревни на площадку пониже. Внезапно склон горы ожил. Из-за расселин сверкнули сабли, здесь и там замелькали пестрые знамена. Из разных мест вздымавшегося перед нами бугристого скального среза вырвались десятки белых клубочков дыма. Совсем рядом послышались разрывы. Тысяча, две тысячи, три тысячи ног замелькали в вышине, белые и синие фигурки заскользили с уступа на уступ, как мартышки с ветки на ветку. С разных сторон неслись пронзительные крики «Яй, яй!» и звуки выстрелов. Весь склон испещрили пятнышки дыма, а крохотные фигурки с каждой минутой приближались к нам. Восемь наших сикхов открыли пальбу по ним, становившуюся все более яростной. Наши враги, продолжая движение вниз, начали скучиваться среди утесов, находившихся всего в сотне ярдов от нас, образуя тем самым весьма соблазнительную мишень. У сикха, лежавшего рядом со мной, я позаимствовал его «мартини». Он охотно передал мне и патроны. Я открыл прицельный огонь по собиравшимся среди утесов людям. Над нами свистели пули, но мы распластались на земле, и нас не задевало. Все это длилось минут пять с нарастающей интенсивностью. Наша жажда

приключений, таким образом, была вполне удовлетворена. Затем совсем близко за нашими спинами раздалось по-английски:

— Отходите. — Это был батальонный адъютант. — Нельзя терять ни минуты. Мы сможем прикрыть вас с высотки.

Сикх, одолживший мне свою винтовку, выложил на земле рядом со мной восемь-десять патронов. Существовало правило не допускать попадания боеприпасов в руки туземцев. Сикх, похоже, уже намылился удирать, поэтому я один за другим стал подавать ему патроны, чтобы он поместил их в сумку. Я сделал это по счастливому наитию. Все прочие вскочили и пустились бежать. Со скал прозвучал рваный залп. Возгласы, вскрики, вопль. На секунду мне показалось, что пять или шесть наших опять залегли. Они залегли надолго: двое были убиты, трое ранены. Одному прострелили грудь, и он истекал кровью, другой извивался и корчился, лежа на спине. Прямо за мною катался по земле офицер-британец. Лицо его представляло собой кровавое месиво, глаз вышибло из глазницы. Да уж, приключение, нечего сказать!

К чести воевавших на Индийском фронте, оставлять раненых там было не принято. Медленное умерщвление путем жестокого членовредительства неизменно ждало всякого, оказавшегося после боя в руках туземцев-патанов. Адъютант, а с ним еще один офицер-британец из младшего состава, старший сержант-сикх и два-три солдата вернулись назад. Все вместе мы подняли раненых и понесли вниз. Мы пробрались через несколько деревенских дворов, десять-двенадцать здоровых мужчин с четырьмя ранеными на руках, и вышли на открытое место. Там мы нашли командира отряда еще с полудюжиной бойцов. Ниже, на взгорке, ярдах в ста пятидесяти от нас, должно было находиться подкрепление. Ничего похожего! Может быть, имелся в виду холм подальше? Мы опять подняли раненых и потащили, невзирая на их протесты. Прикрывающих у нас не было. Все занимались ранеными. Поэтому я понимал, что гром вот-вот грянет. Мы не одолели и половины открытого пространства, когда среди хижин появились человек двадцать-тридцать озверелых туземцев, беспрестанно паливших и размахивающих саблями.

Происшедшее потом помнится мне лишь урывками. Одному из двух сикхов, с которыми я нес раненого, прострелили икру, и он взвыл от боли. Тюрбан упал у него с головы, длинные черные волосы разметались по плечам — трагическое пугало. Откуда-то снизу вынырнули двое и подхватили нашего раненого. Я и еще один младший офицер, подоспевший мне на помощь, схватили пугало за ворот и поволокли по земле. К счастью, дорога шла под уклон. Но, судя по всему, мы причиняли ему такую боль, ударяя об острые каменья, что он взмолился, чтобы ему дали идти

самому. Он скакал, и полз, и хромал, и спотыкался, но, в общем, не отставал. Я оглянулся налево. Адъютанта ранило. Его несли четверо солдат. Он был грузен, и солдаты насилу удерживали его. Внезапно от крайней хижины к нам ринулось с полдюжины патанов с саблями. При их приближении носильщики кинули несчастного адъютанта и пустились наутек. Первый туземец подлетел и три-четыре раза рубанул по распростертому телу. В тот момент единственным моим желанием было убить этого гада. Со мной был мой кавалерийский остро отточенный палаш. В конце концов, недаром же я выиграл школьный турнир по фехтованию. Я решился на поединок à l'arme blanche[22]. Дикарь увидел, что я направляюсь к нему. От него я находился всего в двадцати ярдах. Схватив большой камень, он левой рукой швырнул его в меня, правой же — взмахнул саблей. За ним в ожидании замерли другие. Тогда я передумал — оставив мысль о холодном оружии, я вынул револьвер, хорошенько, как казалось мне, прицелился и выстрелил. Безрезультатно. Выстрелил опять. Снова безрезультатно. Выстрелил еще раз. Не знаю, задел я его или нет. Во всяком случае, он отбежал на несколько шагов и плюхнулся за камень. Между тем ружейная пальба не прекращалась. Оглядевшись, я понял, что нахожусь один лицом к лицу с неприятелем. Ни одного товарища в пределах видимости. И я что было мочи помчался прочь. Кругом меня свистели пули. Вот и первая высотка. Ура! Пригорок внизу обороняли сикхи. Они призывно махали мне руками, и через несколько секунд я уже был среди них.

До подножия и долины оставалось еще три четверти мили по голому склону отрога, а слева и справа от нас были другие отроги, вниз по которым неслись наши преследователи, спешившие перерезать нам путь и обстреливавшие нас с двух сторон. Не знаю, сколько времени занял у нас спуск, но мы продвигались вниз — медленно и упорно. Силами двадцати человек мы несли двух раненых офицеров и шесть раненых сикхов. Один офицер и с десяток солдат, убитых и раненых, были оставлены на склоне на поругание врагу.

В этой операции я разжился винтовкой «мартини» и боекомплектом убитого и сделал тридцать или сорок выстрелов в туземцев, засевших на левом отроге, аккуратно целясь в них с расстояния от восьмидесяти до ста двадцати ярдов. Делать это непросто, когда с трудом переводишь дух, а руки трясутся от напряжения, уже не говоря о волнении. Тем не менее могу поручиться, что я не палил наобум.

К подножию мы вышли беспорядочной гурьбой, но раненых своих не бросили. Там нас ждал наш резерв с командовавшим

батальоном подполковником и несколькими ординарцами. Мы уложили раненых, и все остатки отряда были выстроены в две шеренги плечом к плечу, в то время как аборигены, числом две-три сотни, окружили нас широким полукольцом. Я видел, что белые офицеры делают все, что в их силах, чтобы заставить сикхов держать строй. Несмотря на то что наши сплоченные ряды делали из отряда удобную мишень, рассыпаться на местности было и того хуже. Туземцы собрались в кучки и, казалось, сгорали от нетерпения.

Полковник сказал мне:

— Кентцы на подходе. От нас они где-то в полумиле. Поезжайте и скажите им, чтоб поторопились, иначе всем нам крышка.

Я уже отправился было выполнять поручение, когда меня посетила светлая мысль. В моем воображении промелькнула картина: отряд атакован и истреблен, а я — адъютант дивизионного генерала, единственный уцелевший, мчусь во весь дух сообщить о несчастье и молить о помощи. Я сказал:

— Мне нужно письменное распоряжение, сэр.

Полковник, казалось, удивился. Порывшись в карманах кителя, он извлек оттуда блокнот и принялся сочинять записку.

Тем временем командир отряда надрывал голос, пытаясь командами своими унять общий гул и сумятицу. Наконец он заставил-таки бойцов прекратить дикую и беспорядочную пальбу.

— Залповый огонь! Готовьсь! Пли!

Залп — и по меньшей мере дюжина туземцев пала. Новый залп — и неприятель дрогнул. Еще один — и туземцы поползли в гору, отступая. Горнист протрубил атаку. Сигнал был подхвачен вырвавшимся из глоток криком. Острый момент миновал, и тут, слава Господу, показались передовые ряды Кентцев.

Возрадовавшись, мы занялись обедом. Но, как выяснилось, от вечера нас отделял еще долгий-долгий путь.

По прибытии Кентцев было принято упрямое решение взять высоту, с которой нас вышибли. Нам предстояло спасти свой престиж и вызволить тело адъютанта. Штурм длился до пяти часов.

В то же время другому отряду, 35-му сикхскому, бравшему правый отрог, пришлось еще туже. Они вернулись в долину с дюжиной или около того раненых, оставив нескольких офицеров и человек пятнадцать солдат на съедение волкам. Долину уже окутали сумеречные тени, и все подразделения, так неосторожно рассыпавшиеся утром по долине, потянулись к лагерю под прикрытием тьмы и начавшейся грозы, преследуемые

злорадствующим неприятелем. Я возвращался с Кентцами и сильно потрепанным 35-м сикхским. Когда мы добрались до окопов, теперь окружавших весь наш стан, было черным-черно. Прочие части бригады уже отдыхали в лагере после пустяковых и бесполезных стычек. Но где же генерал со штабом? И где артиллерия на мулах?

Лагерь был хорошо укреплен по периметру, и, тревожимые лишь обычными одиночными выстрелами снайперов, мы, раздобыв еды, утолили голод. Прошло два часа. Но где же все-таки генерал? К тому времени мы уже разузнали, что помимо батареи с ним была полурота саперов и минеров и на круг около десяти белых офицеров. Внезапно со стороны долины, с расстояния примерно трех миль, донесся звук пушечного выстрела. Вслед за ним через равные короткие промежутки последовало еще двадцать выстрелов, и далее все стихло. Что могло произойти? В кого среди кромешной тьмы целила генеральская артиллерия? Судя по всему, там сцепились нос к носу. Может, дело даже дошло до рукопашной. Или это сигнал, просьба о помощи? Следует ли нам выслать подкрепление? В добровольцах недостатка не было. Старшие офицеры начали совещаться. Как всегда в критическую минуту, формальности были отброшены, и я стал участником дискуссии. Решили ночью людей не посылать. Снарядить спасательный отряд, чтобы он блуждал вслепую по бесчисленным буеракам долины, значило не только опять нарваться на беду, но и опрометчиво оголить лагерь, который в любую минуту может быть атакован. Генералу и его артиллеристам, где бы они ни находились, придется продержаться до рассвета. Опять послышался гром пушек. Значит, еще не разбиты. Впервые я познал треволнения, трудности и превратности войны. Отнюдь не все в ней, как оказалось, сводится к веселым приключениям. Нам грозила опасность, и можно было ожидать чего угодно. Постановили, что эскадрон бенгальских улан, поддержанный колонной пехоты, двинется на помощь генералу с первыми же рассветными лучами. Было уже за полночь, и я крепко заснул как был — в сапогах и при шпорах — и проспал так несколько часов.

При свете дня плоская равнина не выглядела пугающей. Генерала и его батарею мы нашли окопавшимися в глинобитном поселке. Нелегко им пришлось. Генерала ранило в голову — правда, не так уж серьезно. Застигнутый темнотой, он дал приказ занять несколько домов поселка, превратив их в подобие крепости. Но одновременно в поселок ворвались и мамунды, и всю ночь в лабиринте узких улочек кипел ожесточенный, переходивший из жилища в жилище бой. Нападавшие знали здесь

каждую пядь земли и сражались в собственных кухнях и спальнях. Нашим оставалось лишь упорно обороняться почти в полной темноте, не имея ни малейшего представления ни о расположении, ни об устройстве домов. Туземцы рушили стены или карабкались на крыши и ломились в дом сверху, паля из ружей, нанося удары длинными своими саблями и кинжалами. Люди дрались, словно в кроличьей норе. Сцеплялись друг с другом, по ошибке стреляли в своих, из пушек били точно из ружей — с шагового расстояния. Из десяти британских офицеров четверо получили ранения. Треть саперов и пушкарей пала, как пали или истекали кровью почти все мулы. Измученные, осунувшиеся лица спасшихся офицеров довершали мрачную картину, представшую перед нами утром. Однако теперь все было кончено, и, пристрелив раненых мулов, мы сели завтракать.

Когда мы все вернулись в лагерь, генерал по гелиографу на дальней горе связался с сэром Биндоном Бладом, находившимся в Навагаи. Сам сэр Биндон с передовой бригадой также был атакован прошедшей ночью. Они потеряли сотни животных и двадцать или тридцать бойцов, но сохранили присутствие духа. Сэр Биндон приказал нам в отместку мамундам предать их долину огню и мечу. Мы и поступали согласно приказу, но с большой осторожностью — продвигаясь от селения к селению, мы в мстительном раже разрушали дома, засыпали колодцы, крушили башни, рубили большие развесистые деревья, сжигали посевы и сносили запруды. Хозяйничать в равнинных селениях было достаточно легко. Туземцы, засев в горах, угрюмо наблюдали за тем, как гибнут их дома и все то, что обеспечивало их существование. Однако, когда мы дошли до селений на склонах гор, жители стали отчаянно сопротивляться, и в битвах за каждую деревню мы теряли двух-трех офицеров и пятнадцать-двадцать солдат из местных. Стоило ли это таких жертв, сказать затрудняюсь. Так или иначе, по прошествии двух недель долина превратилась в настоящую пустыню, и честолюбие наше было удовлетворено.

Глава 12
Экспедиция в Тиру

Наши потери 16 сентября потребовали срочного переформирования сил, и я был экстренно откомандирован в 31-й Пенджабский пехотный полк, где оставалось всего три белых офицера, не считая полковника. Строевым офицером в периоды как мира, так и войны я официально числился в 4-м гусарском, 31-м Пенджабском пехотном, 21-м уланском полках, в Южноафриканской легкой кавалерии, в лейб-гвардии Оксфордшира, во 2-м гренадерском гвардейском полку, в Королевском полку шотландских стрелков и под конец в Оксфордширской артиллерии. Условия службы в столь различных войсковых единицах в Азии, Африке и Европе были, разумеется, очень разными, но служба в пенджабской заключала в себе особый колорит. Будучи кавалерийским офицером, я, разумеется, прошел курс пехотной муштры в Сандхерсте и считал себя профессионально компетентным в тактике ведения мелких пехотных операций, как, впрочем, и крупных. Большую трудность, однако, представлял для меня язык. Я не мог перемолвиться и парой связных слов с местными солдатами, отданными мне в подчинение ввиду нехватки других офицеров, и объяснялся исключительно с помощью мимики, жестов и разыгрывания пантомим. К этому я добавлял лишь три слова: «Maro (рази)», «Chalo (вперед)» и «Ату!», понятное без перевода. Где уж тут говорить о полном взаимопонимании между командиром и его солдатами, предписываемом военными учебниками. Тем не менее мы с грехом пополам и даже без потерь вышли из ряда стычек, которые я не отважусь удостоить наименованием операций, но которые для всех участников оказались весьма волнующими и поучительными. Видимо, действовал я, опираясь исключительно на моральный авторитет.

Хотя мысли и чувства пенджабцев не могли быть мне вполне доступны, я получил некоторое представление о них. Вне всякого сомнения, в боевых условиях присутствие среди них белого офицера им нравилось, и они зорко следили за ним, чтобы понять, как идут дела. Если ты весело улыбался, их лица тоже расцветали улыбками. Поэтому я скалился неустанно и со всем усердием. Попутно я слал военные корреспонденции телеграфом и почтой в «Пионер», а также в «Дейли телеграф».

К тому времени я имел твердые основания надеяться на мое постоянное нахождение в Малакандской действующей армии и

более или менее длительные перемещения с ней по долинам. Однако характер военных действий теперь переменился. Слух о событиях 16 сентября широко распространился среди туземцев, достигнув самых отдаленных мест, и, по всей вероятности, мамунды заключили, что ими одержана великая победа. Они преувеличивали понесенные нами потери и, без сомнения, считали, что успехи их не случайны. В отношении себя мы утверждали то же самое, но наших газет они не читали. Так или иначе, но все пограничье было взбаламучено, и в конце сентября к бунтовщикам примкнули куда более сильные племена африди. Племена эти обитают в Тире, высокогорной местности к северу от Пешавара и к востоку от перевала Хибер. Горы Тиры гораздо выше и неприступнее гор в районе Малаканда, долины же там не ровные, а ущелеобразные. Эта особенность дает большие преимущества туземцам и сильно затрудняет действия регулярной армии. В середине Тиры находится плоскогорье, весьма схожее с долиной мамундов, но значительно превышающее ее размерами и окруженное скалами, которые изрезаны отвесными узкими расщелинами-проходами. Плоскогорье это зовется Тира-Майдан, и уподобить его можно центру лабиринта улочек в Хэмптон-Корте, где вместо живых изгородей — каменные стены до неба.

Индийское правительство в мудрости своей надумало послать экспедиционный корпус в Тира-Майдан, где сосредоточивались зернохранилища, стада и главные поселения племен африди. Предполагалось все их уничтожить и загнать туземцев вместе с женщинами и детьми выше в горы, где в разгар зимы им конечно же пришлось бы туго. Для проведения такой карательной операции требовались две полные дивизии по три бригады каждая, считай тридцать пять тысяч человек, с солидной поддержкой в тылу и на опорном пункте. Соответствующие силы были собраны и сосредоточены возле Пешавара и Кохата для марш-броска на Тиру. До Майдана белые войска раньше не доходили. Серьезнее операции не проводилось со времен афганской войны, посему командование ею было поручено весьма опытному и отмеченному многими отличиями сэру Уильяму Локхарту. В свою очередь, сэр Биндон Блад оставался сдерживать туземцев у Малаканда. Таким образом, нашим активным действиям был положен конец, и в этот же момент подоспели белые офицеры из резерва пенджабского полка, так что образовавшиеся в нем бреши заполнились. Поэтому я обратил свой взгляд на экспедиционный корпус и стал предпринимать старания туда перевестись. Однако никого из командного состава корпуса я не знал. Правда, одной из бригад предводительствовал

полковник Иэн Гамильтон, который, несомненно, мне бы помог. Но, к несчастью, на Кохатском перевале он упал с лошади, сломал ногу, отстал от бригады, выбыл из кампании и чуть ли не сломал себе жизнь. В то время как я болтался в неопределенности и, оставив одно подразделение, еще не примкнул к другому, мой полковник из Южной Индии начал настаивать, чтобы я вернулся. Несмотря на покровительство сэра Биндона Блада, мое сидение меж двух стульев закончилось для меня Бангалором.

Собратья-офицеры встретили мое возвращение со всей возможной любезностью, но я ощущал как бы витавшее в воздухе общее мнение, что довольно мне прохлаждаться, пора, мол, и служебную лямку потянуть. Полк был по уши в осенних учениях и в подготовке к маневрам, так что менее чем через полмесяца после беготни под свищущими пулями в долине мамундов я уже стрелял холостыми патронами за две тысячи миль оттуда в псевдобитвах. Было странно слышать ружейную трескотню и видеть, что никто не думает прятаться и даже пригибаться. Во всем остальном жизнь протекала по-прежнему. Было так же жарко и так же хотелось пить. Один за другим следовали марши, перемежаемые разбиванием биваков. Благодатный край Мисор с великолепной растительностью и обилием воды. Маневры наши проходили вблизи огромной горы под названием Нандидруг, где добывается золото и растут деревья с ярко-пурпурной листвой.

Разумеется, жаловаться мне было не на что, но недели сменялись месяцами, и я, чем дальше, тем больше досадовал, читая газеты с отчетами о ходе кампании в Тире. Две дивизии углубились в горы и после ожесточенных боев, сопровождаемых потерями, по тем временам огромными, достигли центральной равнины Тиры. Следующей их задачей было вернуться до наступления зимы. Это им удалось, правда не вдруг. Разъяренные, а затем и торжествующие туземцы-африди скакали по гребням гор, с убийственной ловкостью обстреливая оттуда длинные колонны, вершащие свой трудный путь вдоль реки и вынужденные раз десять-двенадцать на дню переправляться через ее ледяные воды вброд. Сотни солдат и тысячи животных погибли, а отступление второй дивизии по долине Бары было совсем уж беспорядочным. Поговаривали даже, что порой оно больше напоминало бегство, чем победное возвращение карательного отряда. Насчет того, кто кого наказал и кому придется платить по счетам, сомнений не возникало. Тридцатипятитысячное войско, которое в течение двух месяцев гонялось за дикарями и бегало от них по теснинам, с двенадцатью тысячами, обеспечивающими их тылы, — это, если перевести в рупии, обошлось в сумму немалую. Калькуттские

умники хмурились, а либеральная оппозиция в Англии громко роптала.

Я не слишком горевал из-за провала Тирской экспедиции. В конце концов, не позволив мне участвовать в ней, ее командиры проявили непростительный эгоизм. Я считал, что весной им придется предпринять новый поход, и с удвоенной энергией принялся добиваться, чтобы меня взяли с собой. Моя мать, со своей стороны, тоже включилась в хлопоты. Она нажала на все рычаги, потянула за все нити, проникла во все щели. Под моим руководством она начала осаду лорда Вулсли и лорда Робертса. Сопротивлялись эти твердыни поистине героически. Так, лорд Робертс писал:

> Я с превеликим удовольствием оказал бы содействие Вашему сыну, но обращаться мне к генералу Локхарту бесполезно, так как все полномочия осуществляет сэр Джордж Уайт, а поскольку он отказал Уинстону в прикомандировании к штабу генерала Блада после его службы под началом этого офицера в Малакандской действующей армии, я не сомневаюсь, что согласия на отправку Вашего сына с Тирской действующей армией он не даст.
>
> Я бы протелеграфировал сэру Джорджу Уайту, но уверен, что при создавшихся обстоятельствах моим обращением к нему он будет недоволен.

Пока суд да дело, меня удерживали в Бангалорском гарнизоне. На Рождество, однако, было нетрудно добиться десятидневного увольнения. Десять дней — срок небольшой. Но чтобы съездить в пограничье и вернуться, его хватит. Однако являться в ставку командующего действующей армией, не наведя заранее мостов, было рискованно. Война кажется забавной резвой кошечкой, если умеешь увертываться от ее когтей, но стоит ее раздразнить — и это грозит тебе большими неприятностями. Более того, раз рассердившись, она с трудом усмиряется. Вот почему я решил отправиться не в пограничье, а в Калькутту, где сидело индийское правительство, и попробовать договориться о своей посылке на фронт там. В ту пору от Бангалора до Калькутты поезд тащился три с половиной дня, что, за вычетом стольких же дней обратного пути, оставляло мне всего лишь около шестидесяти часов на то, чтобы провернуть мою авантюру. Вице-король лорд Элджин, под чьим началом я впоследствии служил в качестве заместителя министра по делам колоний, проявлял большое радушие и гостеприимство по отношению к офицерам, имеющим соответствующие рекомендации. Меня

угостили по-королевски и обеспечили таким скакуном, что я выиграл проводимые каждые две недели скачки, в которых имел обыкновение участвовать Калькуттский гарнизон. Это было прекрасно, но мое дело не двигалось. Понятно, я еще до прибытия на место задействовал все свои связи и воспользовался советом авторитетных лиц, к которым был допущен. Они сходились во мнении, что единственный мой шанс — это взять за грудки генерал-адъютанта, пренеприятного субъекта, чье имя я, к счастью, запамятовал. Он сможет мне помочь, если захочет. Если же он заартачится, никто его не переубедит. Руководствуясь этим советом, я явился к нему в приемную и попросил аудиенции. Он решительно отказался меня принять, и я начал сознавать, что надеяться мне не на что. Высшие военные чины, с которыми в эти два дня я встречался за обедами и ужинами, смотрели на меня с легкой иронией. О цели моего прибытия им всем было известно, и то, как будет встречено мое ходатайство, они предвидели. Все они, начиная с главнокомандующего сэра Джорджа Уайта, были со мной подчеркнуто любезны, но их дружелюбный вид словно бы говорил: есть обстоятельства, о которых лучше умолчать. Итак, по истечении отведенных мне шестидесяти часов я вынужден был втиснуться в железнодорожный вагон и, грустный и разочарованный, отправился назад в Бангалор.

В ту зиму я написал первую свою книгу. Из Англии мне сообщали, что мои корреспонденции в «Дейли телеграф» встречены сочувственно. Публиковавшиеся анонимно за подписью «Молодой офицер», они обратили на себя внимание. В «Пионере» также отзывались о них лестно. Я решил возвести на этом фундаменте небольшое литературное сооружение. От друзей я узнал, что лорд Финкасл также работает над рассказом о данной экспедиции. Началась гонка — кто поспеет раньше. Очень быстро я вошел во вкус сочинительства и вскоре уже ежедневно посвящал три-четыре часа полуденного отдыха, проводимых обычно за ломберным столиком или в постели, упорной работе. После Рождества рукопись моя была закончена и отправлена домой матери с тем, чтобы она занялась ее пристраиванием. Мать договорилась с «Лонгменс» о публикации.

Подхватив заразу писательства, я решил попробовать себя в качестве романиста. Я обнаружил, что писание романа занимает гораздо меньше времени, чем кропотливое и тщательное нанизывание фактов и составление хроники событий. Стоило лишь начать, и рассказ лился сам собой. Темой я взял некий мятеж в воображаемой республике, не то балканской, не то южноамериканской, описав злоключения вождя-либерала, свергнувшего деспотизм правительства лишь затем, чтобы пасть

жертвой социалистической революции. Мои приятели-офицеры отнеслись к моей затее и сюжету романа очень сочувственно и наперебой предлагали мне те или иные способы подогрева читательского интереса к любовной интриге романа, принять которые я не соглашался. Но чего у нас было хоть отбавляй, так это кровопролитных сражений и политики, которые, перемежаясь моими доморощенными философствованиями, вели к эффектному финалу, когда несокрушимый, закованный в броню флот штурмовал местные Дарданеллы, чтобы усмирить мятежную столицу. Роман был закончен за два месяца и вскоре вышел в «Макмиллане мэгэзин» под названием «Саврола». Выдержав несколько книжных переизданий, он принес мне за несколько лет семьсот фунтов. Своих друзей я настойчиво просил этот роман не читать.

Одновременно увидела свет моя книга, посвященная событиям в Индии.

Дабы не терять двух месяцев на пересылку гранок в Индию и обратно, я поручил чтение их моему дядюшке, блестящему человеку, уже состоявшемуся писателю. Держа корректуру, он почему-то пропустил десятки досадных опечаток и даже не попытался каким-то образом выправить пунктуацию. Тем не менее «Малакандская действующая армия» мгновенно завоевала широкий успех. Рецензенты, изощряясь в сарказмах по поводу опечаток, наперебой расхваливали книгу. Когда я получил экземпляр вместе с пачкой рецензий, то преисполнился гордостью и одновременно негодованием: меня воодушевили комплименты и разозлило количество огрехов. Читателю следует напомнить, что до этого времени я никогда не удостаивался похвал. Школьные мои сочинения постоянно оценивались лишь как «посредственные», «небрежные», «неряшливые», «плохие», «очень плохие» и так далее. И вот сейчас большой мир в лице зорких высокоученых критиков посвящает мне целые хвалебные колонки на страницах ведущих литературных обозрений! Даже теперь я сгораю от смущения, передавая яркие метафоры, которыми они характеризовали мой «стиль». Так, «Атенеум» писал: «Нэпировские[23] пассажи, прошедшие через руки безумного корректора». Другие отзывы были менее образны, зато еще более комплиментарны. «Пионер» писал, что «автор не по летам мудр и прозорлив». Вот это да! Я был в восторге. Я понимал, что такое без оснований не напечатают, и чувствовал, что передо мной открывается совершенно новый способ заработка и новые блестящие возможности для самоутверждения. Я видел, что даже такая маленькая книжка принесла мне за несколько месяцев сумму, равную двухгодичному довольствию младшего

офицера. И я решил, что, как только завершатся войны, начинавшие, похоже, разгораться в разных частях земного шара, и мы выиграем кубок в главном турнире по поло, я сброшу с себя все путы дисциплины и гнет всякой власти и заживу совершенно замечательной и независимой жизнью в Англии, где никто не будет отдавать мне приказов или будить меня звуками колокола или горна.

Одно из полученных писем, доставивших мне особое удовольствие, я воспроизвожу здесь, чтобы продемонстрировать ту доброту и участливость, которые всегда отличали отношение принца Уэльского[24] к молодежи.

Мальборо-Хаус
Апрель 22/98

Дорогой Уинстон!

Не могу удержаться, чтобы не черкнуть Вам несколько строк с поздравлениями по поводу успеха Вашей книги! Я прочитал ее с огромнейшим интересом и считаю, что содержащиеся там описания и сам язык ее превосходны. Книгу читают все, и, кроме похвал, других отзывов я не слышал. Вкусив настоящего живого дела, Вы захотите вкусить еще и, несомненно, воспользуетесь случаем заслужить Крест Виктории, как заслужил его Финкасл; но я надеюсь, Вы не последуете его примеру и не оставите военную службу, как, к огорчению моему, намеревается сделать он ради членства в парламенте.

Впереди у Вас еще много времени, и Вам, несомненно, стоит продлить Ваше пребывание в рядах, прежде чем прибавить аббревиатуру Ч.П. к Вашему имени.

С пожеланием Вам успехов и всяческого процветания

искренне Ваш А. Э.

Новых отпусков я не имел до тех пор, пока наша полковая команда игроков в поло не отправилась в середине марта на ежегодный Конный турнир. Мне посчастливилось пройти отбор, и в должный срок я очутился в Мееруте, крупном военном городке, где обычно проводились эти соревнования. Не подлежит сомнению, что среди команд-участниц наша была второй по мастерству. Поражение нам нанесли лишь победители турнира — знаменитые Даремские стрелки, единственный пехотный полк,

когда-либо добившийся победы в борьбе за кубок конников. Они были несокрушимы. Им уступали все наши самые блестящие полки. Ту же участь разделяли и местные команды. Ни богатства Голконды и Раджпутаны, ни тщеславие их махараджей, ни искусство их великолепных игроков не могли противостоять этим неодолимым пехотинцам. Б истории индийского поло никто равных результатов не добивался. Победами своими они были обязаны уму и воле одного человека — капитана Делиля, впоследствии отличившегося при Галлиполи и в качестве командира корпуса на Западном фронте. Он муштровал и организовывал игроков и в течение четырех лет вел свою команду к абсолютному первенству на всех соревнованиях по всей Индии. Мы пали жертвой непревзойденной доблести этой команды в последний год ее поло-карьеры в Индии.

Меерут располагался в тысяча четырехстах милях к северу Бангалора и в шестистах с лишним милях от линии фронта. Отпуск наш истекал через три дня после финального матча, а чтобы добраться поездом до Бангалора, требовались как раз эти три дня. С другой стороны, доехать до Пешавара и попасть на фронт можно было за полтора дня. К тому времени я чувствовал такое отчаяние, что решился на очень рискованный шаг. Полковник Иэн Гамильтон наконец оправился от своей травмы и вновь встал во главе бригады по возвращении ее из Тиры. Он пользовался высочайшим авторитетом в армии, был личным другом и боевым товарищем сэра Джорджа Уайта и сохранял прекрасные отношения с сэром Уильямом Локхартом. С Иэном Гамильтоном я находился в оживленной переписке, и он не оставлял попыток мне помочь. Сообщения от него не слишком вдохновляли. Места в экспедиционном корпусе были, но все назначения шли из Калькутты и только *через ведомство генерал-адъютанта.* Исключение составляла лишь личная свита сэра Уильяма Локхарта. С последним я не был знаком, как не были знакомы, насколько мне помнилось, и мои отец с матерью. Как же мог я в таком случае пробраться к нему, и тем более убедить его взять меня на одно из двух или трех столь вожделенных младшеофицерских мест в своем ближайшем окружении? Тем более что вакансий там и не было. А с другой стороны, полковник Иэн Гамильтон одобрял мое желание рискнуть. Он мне писал:

> Я сделаю все, что в моих силах. У главнокомандующего есть личный адъютант, некто Холдейн, служивший со мной в Гордонском горском полку. Он пользуется громадным и даже чрезмерным, как говорят в армии, влиянием. Если Вы сумеете

снискать его расположение, то дело в шляпе. Я попытался подготовить почву. Особых дружеских чувств к Вам он не выказал, но и враждебности — не выказал также. Явившись туда самолично и будучи достаточно настойчивым и убедительным, Вы сможете добиться своего.

Такова была суть письма, полученного мной наутро после нашего поражения в полуфинале турнира. Я посмотрел расписание поездов, следующих на север и юг. Было ясно, что уложить в мой тающий отпуск полуторадневное путешествие на север до Пешавара, пребывание там в течение нескольких часов и последующее возвращение на юг, на которое уйдет четыре с половиной дня, никак не получится. Короче говоря, сев на поезд, идущий на север, я, в случае провала моей затеи, должен был вернуться по меньшей мере на сорок восемь часов позже назначенного срока. Я отлично понимал, что за подобное нарушение воинской дисциплины меня по головке не погладят. В нормальных условиях все было бы нетрудно урегулировать с помощью телеграфа, испросив разрешения на небольшую задержку, но едва мой замысел добиться отправки на фронт стал бы известен командованию, я получил бы не продление отпуска, а приказ о немедленном возвращении в часть. Учитывая обстоятельства, я решил рискнуть и отправиться в Пешавар.

По утреннему холодку я отыскал ставку сэра Уильяма Локхарта и, с бьющимся сердцем назвав свое имя, попросил об аудиенции его личного адъютанта. Выйдя ко мне, сей внушающий трепет Холдейн не проявил излишней сердечности, но, видимо, был заинтригован и колебался. Не помню, что я говорил и как формулировал просьбу, но, очевидно, я нашел нужные слова и, в общем, попал в яблочко. Потому что после получасового прохаживания взад-вперед по гравиевой дорожке капитан Холдейн изрек:

— Что ж, пойду доложу главнокомандующему и посмотрим, что он скажет.

Адъютант ушел, оставив меня мерить шагами дорожку теперь уже в одиночестве. Отсутствовал он недолго.

— Сэр Уильям принял решение, — сказал он, вернувшись, — назначить вас дополнительным личным ординарцем. Приступайте к выполнению ваших обязанностей прямо сейчас, а мы свяжемся с индийским правительством и командованием вашего полка.

Так в один момент положение мое в корне переменилось — настороженность и неопределенность отступили перед

дарованным мне внушительным преимуществом. Отвороты моего кителя украсились алыми петлицами. Генерал-адъютант поместил в «Газетт» приказ о моем назначении. Из далекого Бангалора мне были переправлены лошади и слуги, и я стал ближайшим помощником Вождя Рати. Вдобавок к приятному и интересному общению с этим очаровательным и достойнейшим человеком, знавшим каждый клочок земли в пограничье и принимавшим участие в каждой из разыгравшихся здесь за последние сорок лет войн, я получил возможность разъезжать по всему фронту, где меня встречали одни лишь радушные улыбки.

Первые две недели я вел себя как приличествовало моему возрасту и чину, и обращались со мной соответственно. За общим столом я помалкивал и лишь изредка отваживался на вежливый вопрос. Но один случай помог упрочить мое положение в свите сэра Уильяма Локхарта, совершенно изменив отношение ко мне офицеров. Капитан Холдейн взял в привычку ежедневно брать меня с собой на прогулку, и вскоре мы очень с ним сошлись. Он рассказывал много любопытного о генерале и его штабе, об армии и военных операциях, и этот взгляд изнутри открыл мне глаза на многое, о чем я и сторонняя публика понятия не имели. Как-то он упомянул о том, что один военный корреспондент, отправленный назад в Англию, напечатал в «Фортнайтли ревью» статью, в которой сурово и, как считал капитан, несправедливо раскритиковал весь ход Тирской кампании. Генерал и его приближенные были жестоко уязвлены этим коварным выпадом. Начальник штаба генерал Николсон — впоследствии вставший во главе всей британской армии, но уже и в то время широко известный как «старина Ник», написал если не хлесткий, то, по крайней мере, очень сердитый ответ. Ответ этот уже был отправлен в Англию с последней почтой.

Вот тут-то я и усмотрел возможность отплатить за проявленную ко мне доброту, дав незамедлительный и хороший совет. Я сказал, что, если офицер высокого ранга из штаба действующей армии вступит в газетную перепалку с отставным военным корреспондентом, это будет выглядеть недостойно и даже неприлично; что правительство, безусловно, придет в недоумение, а Военное министерство — в бешенство; что штаб армии вправе ожидать защиты от верховного командования или от политиков и что, какие бы справедливые доводы ни выдвигались в ответе, само стремление оправдываться будет расценено как проявление слабости. Капитан Холдейн сильно встревожился. Мы тут же развернулись и отправились назад. Весь вечер длились совещания главнокомандующего и его офицеров. На следующий день меня спросили, каким образом можно

остановить уже отправленную по почте статью. Следует ли просить Военное министерство оказать давление на издателя «Фортнайтли ревью» и запретить ему печатать статью, когда он ее получит? Согласится ли он на такое требование? Я ответил, что издатель, будучи, надо полагать, джентльменом и получив телеграмму от автора статьи с просьбой отказаться от ее напечатания, несомненно, внемлет просьбе и по возможности скроет свое разочарование. В результате немедленно была отправлена телеграмма и получен благоприятный ответ. После этого случая я был принят в более узкий круг доверенных лиц и ко мне стали относиться как к вполне зрелому офицеру. Теперь я считал, что перед началом весенней кампании все складывается для меня наилучшим образом, и уже надеялся сыграть в ней не последнюю роль. Главнокомандующий, казалось, мне симпатизировал, и я чувствовал, что нахожусь «в струе». К несчастью для меня, везение пришло слишком поздно. Операции, возобновления которых, и даже в более широком масштабе, ожидали со дня на день, начали стопориться, затем увязли в длительных переговорах с туземцами и окончились заключением прочного мира, который я, как начинающий политик, вынужден был приветствовать, но который совершенно не увязывался с целью моего прибытия в Пешавар.

Так трудится, строя свою плотину, бобер, и, когда она завершена и уже можно приступать к рыбной ловле, вдруг прибывает вода, руша плотину и унося вместе с обломками ее и счастье, и рыбу. Бобру приходится все начинать сызнова.

Глава 13
Строптивый Китченер

Едва закончились бои в Индии, как слухи о новой кампании в Судане обрели реальность. Решительное намерение правительства лорда Солсбери двинуться на Хартум и, сокрушив дервишей, освободить обширные территории от их дряхлеющей тиранической власти, провозглашалось теперь открыто. Еще до окончательного роспуска Тирского экспедиционного корпуса начался первый этап операции, и сэр Герберт Китченер во главе британских и египетских отрядов, насчитывающих двадцать тысяч бойцов, уже достиг места впадения Атбары в Нил и в яростном бою разбил армию Махмуда, военачальника халифа, посланного оказать сопротивление захватчикам. Впереди был заключительный этап долгой суданской драмы — двухсотмильный бросок на юг к столице дервишей и решающая схватка со всей военной мощью империи дервишей.

Я сгорал от нетерпеливого желания поучаствовать в этом.

Но внезапно передо мной выросли новые и грозные препятствия. Поначалу, поступив на военную службу и стремясь в действующую армию, я встречал только дружеское сочувствие.

> Мир добрым выглядит на свежий взгляд,
> О чем юнцу всегда не худо помнить.[25]

Свежесть взгляда я, разумеется, утратил. Я вдруг обнаружил вокруг себя массу мало меня знавших и мало расположенных ко мне людей, которым моя активность вовсе не нравилась. Воспринимали они меня настороженно и даже враждебно. До меня стали доноситься реплики вроде: «Да кто он такой, этот парень? Как это он ухитрился воевать и тут, и там? Каким образом удается ему и для газет пописывать, и в то же время нести службу офицера? Как смеет подобная мелюзга одобрять или же порицать действия командиров? С чего это к нему благоволят генералы? Как добился он столь продолжительного отпуска из полка? А кто-то день изо дня трубит, ни на шаг не выходя из круга тягостных и монотонных обязанностей. Нет, хватит, далее терпеть невмоготу! Он еще юн и зелен, и может быть, со временем из него получится толк, но пока что младшему лейтенанту Черчиллю нужно приучаться к дисциплине и рутине». Кое-кто позволял себе и попросту оскорбительные высказывания;

характеристики вроде «охотник за медалями» или «бахвал и честолюбец» звучали все чаще как в высших, так и в низших кругах офицерства, при этом тон, которым это произносилось, наверняка удивил и огорчил бы читателей. Жаль, что приходится упоминать об этих неприятных проявлениях человеческой натуры, которые по странным и непонятным причинам начал наблюдать я еще с первых невинных моих шагов на жизненном поприще и которые нередко становились преградой моим устремлениям.

Так или иначе, но еще в самом начале моих хлопот об участии в суданской кампании я ощутил неприкрытую антипатию и даже враждебность со стороны «сардара» египетской армии сэра Герберта Китченера. Мое ходатайство о вступлении в ее ряды, несмотря на поддержку Военного министерства, было отклонено, притом что несколько других офицеров одного со мной чина и звания получили благоприятный ответ. Наведя по разным каналам справки, я убедился в том, что отказ пришел с самого верха. Преодолеть это выросшее передо мной серьезное препятствие, сидя в Бангалоре, не представлялось возможным. Так как после расформирования Тирского экспедиционного корпуса мне был предоставлен отпуск, я решил, не теряя времени, отправиться в метрополию и там переубедить командование.

Прибыв в Лондон, я мобилизовал все доступные мне ресурсы. Моя матушка употребила все свое влияние, чтобы мне помочь. Последовала череда приятнейших завтраков и обедов с приглашением сильных мира сего и занявшие целых два месяца напряженные переговоры. Но — увы! Препятствие к моей отправке в Египет было слишком высоким и к тому же слишком от нее далеким. Она не постеснялась даже написать лично сэру Герберту Китченеру, которого довольно хорошо знала. Он отвечал с чрезвычайной любезностью, что для ведения кампании офицеров имеет достаточно, что его одолевают просьбами об участии, в том числе и офицеры, по-видимому, куда более опытные и достойные. Но если в будущем у него появится возможность, то он с радостью, и т. д. и т. п.

Был уже конец июня. Общее наступление намечалось в начале августа. Счет шел не на недели, а на дни.

И тут мне помог совершенно неожиданный случай. Премьер-министр лорд Солсбери, чьи политические разногласия с моим отцом имели, в общем-то, оттенок трагический, прочитал мою «Малакандскую действующую армию» и не только заинтересовался, но увлекся книгой. Внезапно, и совершенно негаданно, он высказал желание познакомиться с автором.

Однажды утром в начале июля мною было получено письмо, в котором его личный секретарь сэр Шомберг М'Доннелл извещал меня о том, что премьер-министр с большим удовольствием прочел мою книгу и очень хочет обсудить со мной ряд освещенных в ней моментов. Не сочту ли я для себя удобным нанести ему визит в Министерство иностранных дел? Его устроила бы встреча в четыре часа в ближайший вторник, если это не будет противоречить моим планам… Как легко догадается читатель, я ответил ему что-то вроде: «Лечу!»

Великий человек, властелин Британии, безусловный вождь консервативной партии, трижды премьер и министр иностранных дел на пике долгой своей карьеры принял меня в назначенный час, и я впервые вступил в просторный кабинет с видом на конногвардейский плац, в котором впоследствии мне суждено было не раз наблюдать, как вершатся судьбы мира и войны.

Сей старый и мудрый государственный муж был поистине человеком выдающимся. Несмотря на свое стойкое противление современным идеям, а может быть, в чем-то и благодаря ему, лорд Солсбери сыграл роль большую, нежели другие, столь часто цитируемые деятели, на поприще консолидации и упрочения мощи Британской империи в период выпавших ей испытаний, которые мало кто в состоянии был предвидеть и никто — измерить. Помню, с какой изысканной старомодной учтивостью встретил он меня на пороге кабинета, как мило приветствовал и каким любезным жестом пригласил сесть на маленький диванчик, стоявший посреди его обширных владений.

— Ваша книга вызвала у меня огромный интерес. Я прочитал ее с величайшим удовольствием и, должен признаться, даже с восхищением не только ее содержанием, но и самым стилем повествования. В обеих палатах парламента не прекращаются ожесточенные споры по поводу нашей политики в Индии, картину затемняют непонимание и предубежденность. Лично мне ваша книга лучше разъяснила то, что происходит на индийском театре военных действий, чем какие бы то ни было документы, с которыми я знакомился по долгу службы.

Я полагал, что минут двадцать будут пределом любезно отведенного мне времени, и ни в коем случае не хотел пересиживать, поэтому, когда они истекли, сделал попытку подняться и откланяться. Но он продержал меня более получаса, после чего, вновь пройдя со мной по длинной ковровой дорожке до самой двери, сказал мне на прощание следующее:

— Надеюсь, вам будет не неприятно услышать, что вы мне живо напомнили вашего батюшку, с которым связан был важнейший период моей политической жизни. Если когда-нибудь

в чем-нибудь я могу быть вам полезен, умоляю не стесняться и дать мне об этом знать.

Вернувшись домой, я принялся в волнении обдумывать эти произнесенные им напоследок слова. Мне не хотелось отягощать старого лорда заботами о себе. Но с другой стороны, мне казалось, что его простого указания будет достаточно, чтобы обеспечить мне то, чего я жаждал тогда более всего. Распоряжение премьер-министра, несомненно, побудит его ставленника сэра Герберта Китченера отказаться от своего непомерно жесткого противодействия моему скромному желанию. Впоследствии, когда мне самому то и дело приходилось разрешать подобные конфликты между молодыми людьми, просящими послать их на фронт, и высокопоставленными старыми ворчунами, им мешающими, я всегда говорил: «В конце концов, разве остановишь пулю? Пусть будет как будет».

И вот, поразмышляв несколько дней, я обратился к сэру Шомбергу М'Доннеллу, которого знал с детства. К тому времени шла третья неделя июля, и другого способа попасть в атбарскую армию до начала наступления на Хартум я для себя не видел. Я припал к его стопам под вечер, когда он переодевался к ужину. Не мог бы премьер-министр послать телеграмму сэру Герберту Китченеру? Военное министерство рекомендует меня, мой полк предоставил мне отпуск, в 21-м уланском готовы меня принять, ничего другого вроде бы и не требуется. Разве я прошу слишком многого? Не будет ли он так любезен осторожно прощупать, как посмотрит на это лорд Солсбери?

— Уверен, что старания он приложит, — ответил мне сэр Шомберг М'Доннелл. — Он очень симпатизирует вам, но дальше определенных границ идти не станет. Возможно, своим вопросом он намекнет на желательный ему ответ, но в случае ответа неблагоприятного ожидать, что он будет настаивать, вам не следует.

Я сказал, что удовлетворюсь и этим.

— Я сделаю все, не откладывая, — заверил меня этот милейший человек, ближайший сподвижник и конфидент лорда Солсбери во время его долгого правления, который в начале Мировой войны, будучи уже в весьма преклонных годах, настоял на отправке в окопы, где был почти мгновенно убит шрапнелью.

И, пренебрегши ужином, он отправился разыскивать своего патрона. Еще до наступления ночи сардару была направлена телеграмма, смысл которой сводился к тому, что лорд Солсбери, никоим образом не желая посягать на прерогативу сардара самолично выбирать себе подчиненных, был бы чрезвычайно признателен ему лично, если бы ходатайство мое об участии в

предстоящей кампании было бы без ущерба для общего дела удовлетворено. Ответная телеграмма пришла мгновенно: сэр Герберт Китченер уже имеет в своем распоряжении достаточное количество офицеров, на случай же возникновения возможных вакансий он располагает рядом претендентов, которых вынужден будет предпочесть вышеозначенному молодому офицеру.

Печальная эта новость в должный срок была доведена до моего сведения. Если бы в тот момент мне не хватило упорства, я так и не стал бы свидетелем и участником захватывающих эпизодов Омдурманского сражения. Но через какое-то время я узнал нечто, открывшее мне возможность сделать еще одно, последнее усилие.

Один из самых видных наших судей, сэр Фрэнсис Жен, всегда был другом нашей семьи. Его супруга, ныне леди Сент-Хельер, вращалась в кругах военных, где нередко сталкивалась с сэром Ивлином Вудом, генерал-адъютантом. Ее работа впоследствии в совете Лондонского графства может послужить доказательством как ее способностей, так и влияния, оказываемого ею на людей и события. Она поведала мне об ужине, на котором сэр Ивлин Вуд высказал мнение, что сэр Герберт Китченер уж слишком придирчив к кандидатурам, выдвинутым Военным министерством, и что он, сэр Ивлин, вовсе не расположен спокойно смотреть на то, как военачальник, возглавляющий всего лишь небольшое подразделение британской армии, утирает нос Военному министерству. В пределах египетской армии желания сардара, безусловно, закон, но британские части, то есть пехотные дивизии, артиллерийская бригада и 21-й уланский полк, суть экспедиционные силы, формирование которых целиком находится в компетенции Военного министерства. По словам этой дамы, сэр Ивлин Вуд был вне себя от гнева. Я спросил ее тогда:

— Сказали вы ему, что премьер-министр лично ходатайствовал перед ним за меня?

Она ответила, что не сказала.

— Так сделайте это, — попросил я, — и посмотрим, сумеет ли он защитить свои полномочия.

Через два дня я получил следующее лаконичное извещение из Военного министерства:

> Вы зачислены сверхштатным лейтенантом в 21-й уланский полк для участия в Суданской кампании. Немедленно по прибытии в Аббасийские казармы в Каире Вам надлежит доложить о себе в штаб полка. Заранее оговариваем, что дорожные расходы Вы

оплатите сами, а в случае Вашей гибели или ранения в предстоящей кампании или при других сопутствующих обстоятельствах никакой ущерб из бюджета британской армии возмещаться не будет.

Оливер Бортвик, сын владельца «Морнинг пост» и человек весьма влиятельный в редакции, был моим ровесником и приятельствовал со мной. Осознав справедливость наполеоновской максимы «война сама должна себя кормить», я в тот же вечер договорился с Оливером, что при первой возможности стану слать в газету корреспонденции по пятнадцать фунтов колонка. Президент Общества психологических исследований вырвал у меня после ужина совершенно неуместное обещание «связаться» с ним, если приключится какая-нибудь беда. Наутро я успел на одиннадцатичасовой поезд, идущий в Марсель. Мама любезно проводила меня. Через шесть дней я был уже в Каире.

В Аббасийских казармах царили невероятные волнение и сутолока. Два эскадрона 21-го уланского полка уже двинулись вверх по Нилу. Другие два должны были отбыть утром. Для усиления боевой мощи полка ему были приданы семь офицеров из других кавалерийских соединений. Офицеров этих распределили по разным эскадронам командирами взводов. Мне был выделен взвод в одном из первых эскадронов, но из-за неопределенности с моим прибытием взвод достался другому — младшему лейтенанту Роберту Гренфеллу, вместо меня занявшему эту вакантную должность. Он отправился в поход в прекрасном настроении. В лагере все боялись, что на сражение мы опоздаем. Возможно, первые два эскадрона еще поспеют вовремя, но и это сомнительно. «Представьте, как мне повезло, — писал Гренфелл домашним. — Мне передали часть, предназначавшуюся Уинстону, и мы тронемся первыми». Нашей жизнью неизменно руководит случай, просто мы не всегда его признаем и опознаем. Как выяснилось, в сражении 2 сентября взвод этот почти весь полег во время предпринятой нами атаки, и храбрый его молодой командир погиб. Он стал первым в славной череде Гренфеллов, отдавших свою жизнь в битвах за Империю. Два его младших брата сложили голову на Мировой войне, один из них — сразу по награждении Крестом Виктории, и все они не уступали один другому в пылкости и энтузиазме.

Переброска полка на 1400 миль в самую сердцевину Африканского континента была произведена быстро и безукоризненно согласованно, что вообще отличало тогда все

организуемые Китченером операции. До Ассиута мы ехали поездом, а оттуда до Асуана плыли колесными пароходами. Обойдя верхами Филы с их водопадом, в Шеллале мы опять погрузились на пароходы и после четырехдневного плавания очутились в Вади-Халфе; следующие четыреста миль пути, лежавшего через пустыню, были легко преодолены благодаря великолепной военной железной дороге, прокладка которой определила печальную участь дервишей. Ровно через две недели по выезде из Каира мы прибыли на конечно-выгрузочный пункт и в лагерь, туда, где воды Атбары сливаются с могучим течением Нила.

Путешествие было восхитительным. Все делалось для максимального нашего удобства. Мы ехали в веселой компании, наслаждаясь необычной красотой проплывавшего мимо ландшафта. Каждый из нас с беззаботной радостью предвкушал теперь уж неотвратимо близившееся сражение, в котором нам, единственному из британских кавалерийских полков, предстояло участвовать. Все это вкупе чрезвычайно бодрило. И тем не менее меня преследовал глубинный неослабевающий страх. Будучи в Каире, я так и не узнал, как воспринял сэр Герберт Китченер мое назначение, произведенное Военным министерством через его голову. Я воображал себе протестующие телеграммы, которыми он засыпал министерство, вынуждая его пойти на попятную. Взвинчивая себя, как мы всегда склонны делать в минуты тревоги, я рисовал себе ужасную картину того, что творится в Уайтхолле: генерал-адъютант рвет и мечет, получив суровый реприманд или даже категорический приказ отменить назначение от почти всесильного верховного главнокомандующего. Я каждую минуту ждал отзыва обратно. Кроме того, я находился теперь в полном распоряжении сардара. Что стоит ему бросить сквозь зубы: «Отослать его назад в лагерь; пусть состоит при ремонтных лошадях» или произнести еще что-нибудь не менее отвратительное! Всякий раз, когда поезд приближался к станции, а пароход — к причалу, я затравленным взглядом окидывал толпу и, если видел в ней кого-то, похожего на штабного офицера, тут же решал, что худшее уже нагрянуло. Наверное, подобное испытывает на каждом полустанке сбежавший от правосудия преступник. К счастью, беспроволочного телеграфа тогда еще не изобрели, не то я не знал бы ни минуты покоя. Правда, укрыться от обычного телеграфа тоже было трудно. Телеграфные ленты опутывали всех нас уже тогда. Но, по крайней мере, у меня были четырех-пятидневные передышки, когда мы, мирно плеща по воде лопастями, плыли вверх по великой реке в полном отрыве от жестокого и немилосердного окружающего мира.

Однако по мере того, как один этап путешествия благополучно сменялся другим, в груди моей все более крепла надежда. Когда мы добрались до Вади-Халфы, я обрел некоторую уверенность и здравомыслие. Уж конечно накануне решительнейшего из своих сражений сардар, обремененный заботами о стягивании и расположении войск, в малейшие детали которого, как всем известно, он вникает самолично, найдет другие темы для раздумий и не станет совать палки в колеса незадачливому лейтенанту. Вряд ли у него есть время и терпение для того, чтобы ругаться с министерством посредством шифрованных телеграмм. Да и вообще он мог обо мне забыть. Более того, и это было бы лучше всего, его даже могли не поставить в известность! И когда 14 августа из лагеря в Атбаре мы переправились паромом на левый берег Нила, что было прелюдией к двухсотмильному маршу к столице дервишей, я почувствовал себя вправе сказать вслед за Агагом, что «горечь смерти миновалась»[26].

Усилия мои, в конечном счете, оказались не напрасны. Сэр Герберт Китченер, как мне рассказали позднее, в ответ на уведомление Военного министерства о моем назначении лишь пожал плечами и занялся делами более существенными.

Глава 14
Канун Омдурманского сражения

Ничего, подобного сражению при Омдурмане, не будет больше вовек. Оно стало последним звеном в длинной цепи тех зрелищных противоборств, чьей яркой и величественной картинности война в основном и обязана своей притягательностью. Все видно было невооруженным глазом. Войска перестраивались и перемещались посреди иссушенной Солнцем равнины, через которую широкой, отливающей то сталью, то медью лентой пролег Нил. Кавалеристы атаковали сомкнутым строем на полном галопе, и вооруженные копьями пехотинцы поднялись им навстречу живой стеной. С верхушек утесов, то там, то здесь возвышавшихся над рекой, театр военных действий открывался во всех подробностях, странно искажаемых и преображаемых призрачными наплывами миража. Детали то четко выступали, то вдруг растворялись в муаровой иллюзорной зыбкости. Там, где, как мы знали, была только пустыня, фигуры бойцов по поясу или по коленям перерезались длинными сверкающими струями воды. Артиллерийские батареи или колонны конников выдвигались из переливчатого захрусталья на плотный желто-охристый песок и занимали позиции меж красно-черных, окаймленных лиловыми тенями скал. И над всем этим огромный, необозримый небесный свод, сначала серо-коричневый, потом бирюзовый, потом темно-синий, пышущий чудовищным жаром, тяжело и безжалостно давящим на шеи и плечи солдат.

Двадцать первый уланский полк, перебравшись вечером 15 августа на левый берег Нила в месте его слияния с Атбарой, начал девятидневный поход к передовому лагерю, расположенному чуть севернее Шаблукских порогов, представляющих собой удивительное явление природы. Здесь поперек течения Нила, одолевающего в своем стремлении к Средиземному морю четыре тысячи миль, природа бросила стену из скал. Но река, вместо того чтобы обогнуть преграду, сделав десятимильный крюк вокруг западной ее оконечности, делает выбор в пользу лобовой атаки и прорывается вперед сквозь самый центр каменной гряды. Место это представляло большую опасность. Перебросить требуемое количество живой силы судами, одолевая пороги, было невозможно. Приходилось двигаться по суше, огибая скалы со стороны пустыни. Это давало дервишам огромное тактическое преимущество: они могли

засесть в Шаблукских горах и ударить по флангу любой армии, вынужденной совершать такой обходной маневр. Не сомневаюсь, что сэр Герберт Китченер почувствовал большое облегчение, выслушав донесения кавалеристов и лазутчиков, уверивших его, что выгодная позиция эта дервишами не охраняется и не используется.

Тем не менее все необходимые военные предосторожности в этом опасном марше по пустыне были соблюдены. Все конники двигались одной широкой дугой. Нашей части, хоть и шедшей ближе всего к горам, надлежало покрыть двадцать пять миль от места нашего утреннего водопоя в северных предгорьях Шаблуки до вечернего привала на берегу Нила с южной, омдурманской, стороны гряды. Те из нас, кому, как мне и моим солдатам, приходилось в качестве передовых патрульных прочесывать колючую поросль, каждую минуту ждали, что вот сейчас из-за куста вынырнет враг. Мы напрягали зрение и слух, готовясь к первым выстрелам. Но кроме нескольких уносящихся прочь всадников, не видели и не слышали ничего, что остановило бы или даже просто оживило наше продвижение вперед, а когда равнинный простор окрасился цветами заката, мы со спокойной душой и с пересохшими глотками затрусили вслед за нашими удлинившимися тенями назад к сладостной влаге реки. Между тем плоскодонные канонерки и колесные пароходы, тащившие за собой на буксире бесконечные караваны парусных лодок, груженных боеприпасами и продовольствием, благополучно преодолели пороги, и к 27-му все наши силы, речные и сухопутные, собрались с южной стороны Шаблукских гор всего в пяти переходах от города, являвшегося нашей целью.

Двадцать восьмого началась финальная стадия марша. Мы проходили в боевом порядке не более восьми-десяти миль в день, сберегая силы для возможного в любую минуту столкновения. При нас не было ничего, кроме амуниции — нашей и конской. Воду и пищу по вечерам давали нам Нил и наша армада. Жара в этой части Африки в эту пору стоит страшная. Несмотря на плотную форму, пробковый наспинник и тропический шлем, возникало ощущение, что солнце наваливается на тебя и пронизывает жгучими лучами твое тело. Брезентовые мешки с водой, притороченные к нашим седлам и покрытые приятной прохладной испариной, опустошались задолго до того, как спадало полуденное пекло. Как же благословенны были вечера, когда пехота, разбив наконец лагерь, располагалась на покой, прикрытие, которое обеспечивала кавалерия, снималось, и в золотисто-багровых сумерках мы цепочкой тянулись к берегу, чтобы пить, пить и еще раз пить из быстрого полноводного Нила!

Разумеется, к этому времени каждый британский кавалерист пришел к заключению, что никакого сражения не будет. Может, нас просто обманывали? Существуют ли и вправду эти дервиши, или же это просто выдумка, миф, сочиненный сар-даром и его англо-египетским окружением? Более информированные полагали, что, несмотря на несомненное скопление в Омдурмане большого числа дервишей, от битвы они решили уклониться и уже находятся сейчас за сотни миль от нас, на пути к далекому Кордофану.

«Мы можем так месяцами идти и идти чуть ли не до самого экватора». Что ж, плохого в этом не было: нескучная здоровая жизнь, движение на свежем воздухе, нехватки еды не наблюдается, а на рассвете и на закате и напиться можно вволю. Пока что нас радовала новизна пейзажа, а потом, может статься, мы увидим и что-нибудь поувлекательнее. Однако, ужиная вечером 31-го с британскими офицерами суданского батальона, я услышал и другое мнение. «Да здесь они все, — говорили бойцы, уже десять лет воевавшие с дервишами. — И уж конечно за столицу своей империи они встанут горой. Пускаться наутек — это не для них. Наверняка они выстроились где-нибудь на подступах, где мы их и обнаружим, а до города теперь всего восемнадцать миль».

Первого сентября наш марш начался как обычно — в полном спокойствии, но к девяти часам патрульные стали кое-что замечать. Потекли донесения о каких-то белых пятнах и световых вспышках в мерцающей пелене миража на южном горизонте. Наш эскадрон в тот день был лишь в запасе авангардного прикрытия, и потому мы медленно продвигались вперед, подавляя нетерпение и возбуждение. Примерно в половине одиннадцатого мы поднялись на широкий песчаный бугор, откуда увидели, что наши передовые и патрульные части встали шеренгой всего в какой-нибудь миле от нас и наблюдают что-то, по-видимому, находящееся прямо перед ними и преграждающее им путь. Вскоре и нам было приказано остановиться, вслед за чем прискакал патрульный — мой приятель-лейтенант — с очень важным известием.

— Неприятель в пределах видимости, — сообщил он, сияя.

— Где? — вскричали мы.

— Да вот, неужели не видите? Вглядитесь-ка в ту темную полоску! Это они. Они и не думали бежать! — И лейтенант умчался.

Все мы и раньше различали вдали что-то темное, но считали, что это лес или кусты. С того места, где мы стояли, даже в самые лучшие полевые бинокли ничего, кроме смутной массы,

разглядеть было невозможно. И тут от аванпостов вернулся наш старшина.

— Сколько их там? — спросили мы.

— Достаточно, — ответил он. — Вполне порядочная армия. — И старшина тоже умчался.

Между тем в резерв поступил приказ послать кого-нибудь из лейтенантов, чья лошадь не слишком загнана, к полковнику на передовую.

— Мистер Черчилль, — распорядился командир эскадрона, и я сорвался с места.

Миновав небольшую лощину и новый взгорок, я наконец разыскал полковника Мартина в авангардном строю среди песчаных холмов.

— Доброе утро, — приветствовал он меня. — Неприятель только что начал наступление. Продвигаются они быстро. Вот, можете сами убедиться. А теперь возвращайтесь побыстрее, но так, чтобы лошадь не загнать, и доложите лично сардару. Он следует с пехотой.

Таким образом, мне все-таки предстояло встретиться с Китченером! Дивится ли он при виде меня? Или рассердится? Скажет: «Какого дьявола вы тут делаете? По-моему, я не велел вам приезжать». А может быть, он будет лишь презрительно-безразличен? Может, примет донесение, не дав себе труда узнать фамилию прибывшего с ним офицера? Так или иначе, новость о близости вражеской армии — наилучший повод обратиться к великому военачальнику. Перспектива эта возбуждала и увлекала меня так же, как предстоявшее сражение, а возможный поворот дел в тылу казался мне не менее интересным и по-своему не менее страшным, чем то, что ожидалось на передовой.

Внимательно понаблюдав за врагом и получив все разъяснения, какие можно было получить, я пустился, то рысью, то легким галопом, покрывать шесть миль пустыни, отделявшие наш авангард от основной армии. Стояла палящая жара, и, зная, что весь день мне предстоит быть в седле, я берег лошадь, насколько мне позволяла срочность моего поручения. В результате прошло почти сорок минут, прежде чем передо мной предстал корпус пехоты. На вершине почти черного утеса я сделал минутную остановку, давая лошади передохнуть и обозревая открывшуюся картину. Зрелище было поистине великолепное. Британо-египетская армия двигалась вперед в боевом порядке. Пять полных бригад по три-четыре батальона каждая шли колоннами, эшелонированными со стороны Нила. За этими людскими монолитами следовали длинные ряды артиллерии, а за ней тянулись цепочкой верблюды, груженные

припасами. По реке вровень с передовой бригадой шли несколько колесных пароходов, тащивших за собой массу набитых доверху парусных лодок, и в этом столпотворении грозно поблескивали семь или восемь крупных канонерок, изготовившихся к бою. Фланг со стороны пустыни и неприятеля прикрывал десяток широко рассредоточенных эскадронов египетской кавалерии, а за ними, еще дальше от берега, завершая эту обширную панораму, виднелись серо-коричневые колонны верблюжьего корпуса.

Не желая производить впечатление заполошного, я дал лошади отдышаться и только потом направил ее к центру пехотного сонмища. Вскоре я заметил впереди кавалькаду, скачущую за ярким красным полотнищем. Подъехав ближе, я различил «Юнион Джек»[27], а сбоку от него — египетский флаг. Китченер ехал на две-три лошади впереди своей свиты. Непосредственно за ним картинно, как на параде, гарцевали два знаменосца, возглавляя вереницу избранных офицеров штаба англо-египетских войск.

Приблизившись к ним сбоку, я сделал полукруг и, очутившись рядом и чуть позади главнокомандующего, отдал честь. Впервые я видел перед собой черты уже известного лица, которые будут знакомы всему миру и, возможно, многим поколениям. Он строго взглянул на меня. Густые усы, странное беспокойство в глазах, загорелые почти до лиловости щеки, крепкая, выдающаяся вперед челюсть.

— Сэр, — проговорил я. — Я прибыл из двадцать первого уланского полка с донесением.

Он чуть заметно кивнул, давая мне знак продолжать. Я описал ситуацию в словах, подобранных мной за время пути с таким расчетом, чтобы сделать доклад максимально полным. Враг в пределах видимости, и, судя по всему, силы его значительны. Основная масса неприятельских войск обнаружилась примерно в семи милях от нас непосредственно между нынешними нашими позициями и городом Омдурманом. До и часов картина оставалась неизменной, но в пять минут двенадцатого началось движение, и сорок минут назад, когда я отбыл с заданием, враг продолжал быстро наступать.

Сардар слушал меня абсолютно молча, лишь песок похрустывал под копытами наших шедших ноздря в ноздрю коней. Затем, после продолжительной паузы, он произнес:

— Вы говорите, что армия дервишей наступает. Сколько, по-вашему, времени у меня в запасе?

Я выпалил:

— По меньшей мере час, а может быть, полтора, сэр, даже если они не сбавят скорость.

Сардар как-то неопределенно дернул головой, оставив меня гадать, согласился ли он с моим выводом или отвергает его, а затем легким поклоном дал мне понять, что миссия моя окончена. Я отдал честь и, придержав лошадь, пропустил вперед его свиту.

Я судорожно принялся высчитывать скорости и расстояния, пытаясь понять, достаточно ли здрав был мой скоропалительный ответ. В результате я уверился, что был недалек от истины. Дервиши не могли проходить более четырех миль в час, а покрыть им надо было, по моим прикидкам, миль семь, из чего я заключил, что полутора часов нам хватит с лихвой.

Размышления мои прервал дружелюбный голос:

— Не угодно ли поехать и отобедать с нами?

Это был адъютант сэра Реджинальда Уингейта, начальника разведывательной службы армии. Он представил меня своему командиру, который всячески обласкал меня. Надо ли говорить, что плотная еда, высокое покровительство и перспектива получить новейшую информацию из самого лучшего источника были втройне привлекательны. Попутно я видел, как пехотинцы начали перестраиваться, образуя полукружие, упирающееся концами в Нил, а бойцы авангардной бригады кинулись рубить колючий кустарник и сооружать перед собой подобие баррикады. У нас же на пути, как по волшебству, вдруг вырос невысокий штабель сухарных ящиков, поверх которого мгновенно была расстелена длинная белая клеенка, тут же запестревшая заманчивого вида бутылками и большими блюдами с буйволятиной и пикулями. Это благостное зрелище, внезапно возникшее среди пустыни, готовящейся стать полем кровопролитной битвы, преисполнило мою душу благодарностью неизмеримо более глубокой, чем та, которую ежедневно испытываешь, вознося предобеденную хвалу Господу за даруемую им пищу.

Все спешились, ординарцы увели коней. Незадолго до трапезы я потерял из виду Китченера. Похоже, он отделился от своей свиты. Ел ли он за индивидуальным столом или вовсе не ел, я не знал, да и не задумывался над этим. Мое внимание было полностью поглощено буйволятиной и прохладительными напитками. Все были в прекрасном расположении духа, и за столом царило воодушевление. Это напоминало завтрак перед дерби. Помнится, рядом со мной сидел представитель немецкого генералитета барон фон Тидеманн.

— Сегодня первое сентября, — сказал он, — *наша* памятная дата, которая теперь и *вам* запомнится, Седан и Судан!

Он был в восторге от своего каламбура и несколько раз

повторил его присутствующим, часть которых углядела в нем оттенок сарказма.

— Да вправду ли состоится сражение? — спросил я генерала Уингейта.

— Весьма похоже на то, — отвечал он.

— Когда же? — спросил я. — Завтра?

— Нет, — сказал генерал, — уже сегодня, через час-другой.

Вот это была жизнь, и я, ничтожный младший лейтенант, совсем недавно считавший себя опальным, стал еще решительнее орудовать вилкой и ножом, заражаясь весельем окружавших меня военных магнатов.

А в это же время быстро маршировали туда-сюда взводы пехотинцев, и заграждения из веток с каждой минутой становились все внушительнее. Перед нами простиралась пустынная равнина, плавно поднимавшаяся от берега к возвышенности, за которой находились наши посты, а возможно, и двигавшийся к нам противник. Через час равнина эта наводнится атакующими дервишами и усеется трупами, пехота откроет ружейный огонь из-за своего прикрытия и загрохочут пушки. Конечно, мы возьмем верх. Одержим решительную победу. И все же, несмотря на всю меткость новейшего оружия, этим дервишам порой удавалось прорвать строй британцев, как это было при Абу-Клеа или Тамаи, а уж фронт египетских войск они сминали и даже опрокидывали многократно. В воображении своем я рисовал возможные повороты сражения, казавшегося таким грозным и неминуемым, а потом, словно возвещая его начало, раздалось: бум-бум — гром гаубиц, обстреливавших с острова гробницу Махди в Омдурмане.

Тем не менее 1 сентября сражения так и не произошло. Только я добрался до своего эскадрона, как дервиши вдруг встали и после ожесточенной пальбы вдруг принялись устраиваться на ночь. Мы пристально следили за ними весь вечер, а наши патрульные перестреливались с их патрульными. Лишь с наступлением темноты мы повернули к Нилу, получив приказ укрыться самим и спрятать лошадей под прибрежным обрывом за ограждением из колючих веток.

В таком безопасном, но и совершенно беспомощном положении мы выслушали верное известие, что неприятель атакует нас ночью. Было объявлено, что всякий, кто по той или иной причине, даже ради спасения собственной жизни, спустит внутри заграждения курок — не важно, пистолета или карабина, — будет подвергнут суровой каре. Если же дервиши, прорвав оборону, проникнут в наш лагерь, нам надлежит оборонять его пешими с помощью пик и шашек. Мы ободрили

себя тем, что в ста ярдах над нами окопались 1-й гренадерский батальон и Стрелковая бригада. Доверив нашу безопасность этим славным воинам, мы занялись приготовлением ужина.

В этом деле мне пофартило. Когда я в компании с собратом-офицером шел по берегу реки, нас окликнули с канонерки, стоявшей в двадцати или тридцати футах от берега. Командиром судна был младший лейтенант флота по фамилии Битти, давно уже служивший в Нильской флотилии и позднее прославившийся на этой службе. Офицеры с канонерки, в безукоризненно белых мундирах, горели желанием узнать, что видела кавалерия, и мы с готовностью удовлетворяли их любопытство. Солнце садилось, а мы весело болтали с ними, перекидываясь шутками через разделявшую нас полоску воды. Особенно веселились они, услышав о приказе не пускать в ход огнестрельное оружие внутри ограждения. Они подтрунивали над нами, предлагая нам, в частности, воспользоваться их гостеприимством, если дело будет совсем уж дрянь. Мы с достоинством отклонили это предложение, выразив уверенность в том, что среди барханов и в кромешной тьме с толпой дервишей лучше всего биться кавалерийскими шашками и пиками, стоя на своих двоих. В конце концов балагурство наше было вознаграждено.

— Как вы насчет того, чтобы промочить горло? У нас на борту чего только нет! Поймать сможете?

И чуть ли не в ту же секунду с канонерки на берег была брошена бутылка шампанского. Она упала в воды Нила, но, по счастью, туда, где милостивому Провидению угодно было устроить отмель и умягчить дно. Я шагнул в воду, доходившую мне до колен, и, пошарив под ногами, ухватил драгоценный подарок, который мы торжественно доставили к столу.

То была не война, а увлекательное приключение. Она разительно отличалась от Мировой. Никто не ждал гибели. Время от времени каждый полк или батальон терял пять, десять, а в худшем случае тридцать-сорок бойцов, но основной массе участников так называемых малых войн, которые вела Британия в те канувшие в Лету счастливые дни, это лишь горячило кровь, делая великолепную игру еще более азартной. Многим из нас суждено было увидеть другую войну, где ставки возросли, где смерти приходилось ждать постоянно, а тяжелые раны считались счастливым избавлением, где сталью артиллерийских снарядов и пулеметным огнем косило и сметало целые бригады, где уцелевшие в одном торнадо могли не сомневаться, что падут жертвой следующего или следующего за ним.

Все зависит от масштаба. И разве нас, юношей, засыпавших в ту ночь в трех милях от шестидесятитысячной армии фанатиков-

дервишей, каждую минуту ожидавших их яростной атаки и уверенных в том, что не позднее рассвета закипит бой, не следует извинить, если нам мнилось, что мы в самом горниле настоящей войны?

Глава 15
Кавалерийская атака и впечатления от нее

Задолго до рассвета мы начали подниматься, и к пяти часам 21-й уланский полк верхами потянулся за ограждение. Командир моего эскадрона майор Финн, австралиец по рождению, еще за несколько дней до этого обещал мне, когда придет время, показать «потеху». Я боялся, что данное мне поручение к лорду Китченеру он посчитает достаточным основанием для того, чтобы забыть об обещании. Однако я был отделен от отряда и послан с патрулем обследовать горный кряж между пиком Джебель-Сурхам и рекой. Другие патрули из нашего эскадрона и египетской кавалерии также торопливо устремились во мрак. Я взял с собой шестерых солдат и капрала. Мы поскакали рысью по равнине, и вскоре нас встретили неведомые горные склоны. Ничто в мире не может сравниться с рассветом. Четверть часа перед тем, как занавес поднимается и ситуация становится очевидной, переживаются на войне особо. Занял ли враг эту гряду? Не наткнемся ли мы сейчас во мраке на орды свирепых дикарей? Каждый шаг мог оказаться губительным, но проявлять чрезмерную бдительность было некогда. Полк следовал за нами, а рассвет уже брезжил. Пока мы поднимались, тьма отступила. Что ожидает нас наверху? Обожаю такие моменты за их сдержанную напряженность.

Вот мы почти и у гребня. Я приказал одному из бойцов отстать ярдов на сто, чтобы в случае нападения было кому о нем донести. Безмолвие нарушалось лишь цокотом копыт. Достигнув гребня, мы придержали лошадей. С каждой минутой горизонт распахивался все шире — обзор, только что составлявший ранее ярдов двести, увеличился примерно до четверти мили. Ни звука, мы были одни среди скальных зубцов и песчаных холмиков вершин. Ни засад, ни каких-либо следов лагеря! Равнина внизу, видимая теперь на полмили и более, тоже совершенно пуста.

Значит, они снялись с места! Как мы и считали, без боя отступили к Кордофану! Но погодите-ка! Света с каждой минутой становилось все больше. Мутные завесы одна за другой сползали с окрестностей. Что-то мерцает там, вдали, на равнине? Более того, в нарастающей ясности за мерцанием можно различить какие-то темные пятна. *Так это же они!* Огромные темные участки — это тысячи бойцов, а мерцание — это блеск их оружия.

Теперь уже было абсолютно светло. Я соскочил с коня и на листке из своего блокнота написал: «Армия дервишей все еще находится в полутора милях к юго-западу от Джебель-Сурхама». Послание это я отправил с капралом, как и было приказано, непосредственно командующему с пометкой XXX, то есть соответственно классификации, принятой военными учебниками: «очень срочно» или же, что называется, «сломя голову».

За нами разгорелся красивейший восход, но восхищенным взглядом мы наблюдали другую картину. Теперь уже можно было воспользоваться биноклем. Темные пятна словно выцветали прямо на глазах: вот они уже светлее равнины, вот принимают желтоватую окраску, вот делаются почти белыми на фоне коричневатого ландшафта. Перед нами на четыре или пять миль протянулись боевые порядки. Они занимали весь открытый нам горизонт, отсеченный справа зубчатым силуэтом Сурхама. Вот он, долгожданный час! Мы снова вскакиваем на лошадей, но вдруг новые впечатления приковывают нас к месту. Вражеское скопище не стоит на месте, оно движется, и движется быстро, подобное приливу. А что это за приглушенный гул, накатывающий на нас волнами? Это вопль во славу Господа, Пророка его и богоданного халифа. Неприятель уверен в победе. Сейчас мы ему покажем! И все же должен признаться, что на минуту мы застыли, удерживая лошадей, прежде чем начать спускаться по склону.

Теперь утро уже вступило в свои права, и косые солнечные лучи заливали своим сиянием картину, сообщая ей дополнительную красоту. Из бесформенной массы выступили очертания идущих шеренгами людей, сверкающих клинками, осененных реющими знаменами. Воочию мы увидели то, что видели крестоносцы. А надо увидеть больше! Я потрусил вперед, в направлении тех песчаных холмов, где накануне стоял 21-й уланский полк. Теперь неприятель находился едва ли не в четырехстах ярдах от нас. Мы опять спешились, и я приказал четырем бойцам открыть огонь, а двум другим — держать их лошадей. Враги прихлынули как море. Прямо перед нами и чуть левее затрещали ружья. Вверх взметнулись клубы пыли. Нет, христианам тут не жить. Мы ринулись прочь и ускакали, по счастью, без потерь. Едва успели мы въехать на гору, как вернулся на взмыленной лошади посланный мною гонец. Вернулся он от Китченера с приказом, подписанным начальником штаба: «Оставайтесь на месте так долго, как только сможете, чтобы докладывать ход атаки». Вот повезло так повезло! Просто неслыханная удача: с самого рассвета на коне на расстоянии выстрела от наступающей вражеской армии, все видеть и общаться напрямую со штабом!

Так мы и оставались на верхотуре в течение почти получаса, и я наблюдал вблизи то, чему мало кто был свидетелем. Вся неприятельская армия, за исключением одного отряда, на какое-то время скрылась от нас за пиком Сурхам. Но этот отряд, численностью уж никак не меньше шести тысяч человек, попер прямо через кряж. Они уже начали взбираться на склон. С того места, где мы сидели в седлах, нам открывался вид на обе стороны. Основные силы нашей армии стояли в боевой готовности у реки. На воде ощетинились пушками канонерки. Сухопутная артиллерия тоже ждала лишь сигнала. А тем временем с противоположной стороны это длинное пестрое полчище с молниеносной быстротой, не нарушая строя, карабкалось по крутизне к лучшей точке обзора. Мы были в двух с половиной тысячах ярдов от наших батарей и чуть более чем в двухстах от их приближающихся мишеней. Про себя я называл дервишей «Белыми флагами». Лесом вертикально торчащих бело-желтых знамен они напоминали мне изображаемые на гобеленах воинства. Между тем главные силы неприятеля, продвинувшись вперед, оказались в пределе досягаемости пушек, и соединенная британо-египетская артиллерия открыла огонь. Мой взгляд приковало к себе другое зрелище. На вершине «Белые флаги» перестроились, развернувшись широким фронтом вдоль гребня. Тогда пушки ударили по ним. Две или три батареи совместно с канонерками начали плотный обстрел. Снаряды с воем неслись в нашем направлении и падали в самую гущу «Белых флагов». Это происходило в такой опасной близости от нас, что мы словно зачарованные сидели на своих конях, не смея пошевелиться. На наших глазах Смерть принялась крушить эту людскую стену. Флаги падали дюжинами, люди — сотнями. В стройных рядах образовывались пустоты и бесформенные груды. Мы стали свидетелями нелепых прыжков и неуклюжих увертываний людей от разрывов шрапнели. Но никто из них не повернул назад. Шеренга за шеренгой, в дыму яростной ружейной пальбы, они устремлялись вниз по склону, неумолимо приближаясь к нашему заграждению.

Пока что нас они не замечали, но вот я увидел слева всадников, по двое-трое мчавшихся по равнине к нашему кряжу. Один из этих патрулей оказался на расстоянии пистолетного выстрела от меня. Темные фигуры в капюшонах походили на монахов, вооружившихся длинными копьями. Не слезая с лошади, я выпустил в них несколько пуль, и они отскочили подальше. Я не видел причины не оставаться на этом хребте на протяжении всей атаки. Я рассчитывал отойти поближе к Нилу и наблюдать всю картину боя из безопасного места. Но тут поступил строгий

приказ майора Финка, которого, общаясь напрямую с главнокомандующим, я волей-неволей вынужден был игнорировать: «Немедленно возвращайтесь, пехота вот-вот откроет огонь». На самом деле вверху нам грозила меньшая опасность, потому что, едва мы успели вклиниться в ряды пехоты, как пошла жуткая обоюдная пальба.

Я не ставлю целью в этом повествовании, посвященном личной моей истории и впечатлениям, дать подробное описание битвы при Омдурмане. О ней рассказывали так часто и с такими деталями, что каждый, интересующийся этим предметом, без сомнения, уже знает, как все происходило. Я расскажу о ходе сражения лишь в самых общих чертах, без чего непонятны будут мои ощущения.

Вся почти шестидесятитысячная армия халифа прошла в боевом порядке от места своей последней ночевки до песчаного бугра, отделявшего одно войско от другого, перевалила через него и теперь единым потоком катилась вниз по пологости амфитеатра, на арене которого ожидали ее, стоя плечом к плечу спиной к Нилу, двадцать тысяч бойцов Китченера. Древность против современности. Средневековому оружию, фанатизму и методам ведения войны в силу необычайной их живучести пришлось столкнуться в жестоком бою с дисциплиной и новейшими достижениями девятнадцатого века. Итог был предрешен и никого не удивил. Когда потомки и наследники сарацинов спустились по длинным пологим склонам к реке, их встретил ружейный огонь двух с половиной пехотных дивизий, выстроенных в два плотных ряда и поддерживаемых залпами семидесяти орудий и канонерских пушек, стрелявших с неизменной и методической меткостью. Под таким шквалом атака захлебнулась и вскоре прекратилась уже в семистах ярдах от англо-египетской линии обороны, обернувшись шести-семитысячными потерями. Однако у дервишей было около двадцати тысяч ружей самых различных моделей — от допотопных до новейших, — и когда их копьеносцы отступили, стрелки, залегши на равнине, принялись беспорядочно, неприцельно, но очень активно пулять в наше заграждение. Впервые они начали наносить нам урон, и за короткий промежуток времени, пока это длилось, потери британцев и египтян составили около двух сотен человек.

Видя, что атака утонула в крови и что он находится теперь ближе к Омдурману, чем его защитники, Китченер мгновенно перестроил пять стоявших полукругом бригад в обычную колонну, левым флангом к реке, и двинул ее на юг к городу.

Таким образом он намеревался отрезать рассеянную, как ему казалось, ораву дервишей, от их столицы и базы, от продовольствия и воды, и загнать их в простиравшуюся по сторонам пустыню. Однако дервиши вовсе не были побеждены. Весь их левый фланг, находившийся вне пределов досягаемости, даже не попал под обстрел. Резерв халифа, насчитывавший примерно тысяч пятнадцать, был цел и боеспособен. И вся эта лавина с беспримерным мужеством устремилась теперь на силы британцев и египтян, не сосредоточенные для боя, а просто марширующие вдоль берега. Этот второй набег обошелся нам дороже, чем первый. По всей длине колонны дервишам удалось приблизиться на расстояние от ста до двухсот ярдов, а арьергардная бригада суданцев, обложенная с двух сторон, спаслась от разгрома лишь благодаря мастерству и твердости ее командира генерала Гектора Макдональда. Однако дисциплина и техника все же взяли верх над отчаянной храбростью, и после ужасной бойни, итогом которой были минимум двадцать тысяч трупов, громоздившихся кучами, «как сугробы», армия дервишей распалась на группки, потом на горстки и исчезла, растворившись в фантастических миражах пустынной дали.

Во время первой атаки египетская кавалерия и верблюжий корпус защищали наш правый фланг, а 21-й уланский полк оставался единственным кавалерийским полком на левом, ближайшем к Омдурману фланге. Немедленно после того, как атаку отбили, нам было приказано выяснить, какие силы неприятеля находятся — если находятся — между Китченером и городом, и постараться отогнать их, очистив путь наступающей армии. Конечно, простой полковой офицер мало что знает о том, как протекает сражение в целом. Всю первую атаку мы простояли возле своих лошадей, защищенные крутым берегом Нила от вражеских пуль, свистевших над нашими головами. Как только огонь стал ослабевать и до нас донеслись слухи, что враг отогнан, галопом прискакал генерал в сопровождении свиты и скомандовал «в седло и вперед». Уже через две минуты четыре эскадрона выехали на рысях из укрытия и устремились на юг. Мы вновь поднялись на склоны Джебель-Сурхама, сыгравшего свою роль на первом этапе операции, и с его утесов вскоре увидели перед собой простершийся в шести или семи милях от нас Омдурман — большой, выстроенный из глины город, различили его минареты и купола. После многочисленных остановок и рекогносцировок мы образовали, что называется, «взводную колонну». Каждые четыре взвода составляли эскадрон, а четыре эскадрона — полк. Взводы располагались теперь друг за другом. Взвод, которым командовал я, шел вторым с хвоста, в него

входило двадцать — двадцать пять уланов.

Все мы надеялись, что пойдем в атаку. Мы мечтали о ней с самого Каира. Уж сейчас, конечно, атака будет. В те дни, до бурской войны, британскую кавалерию учили в основном атаковать. И вот он — подходящий случай! Но с какого размера отрядом нам предстоит сшибка, на каком рельефе, в каком направлении ожидается бросок и с какой целью, рядовым бойцам было неведомо. Мы продолжали свой марш по жаркому твердому песку, вглядываясь в искаженную миражами даль, едва сдерживая возбуждение. Внезапно в трехстах ярдах от нас по флангу, параллельно прямой, на которую завершала поворот колонна, я заметил длинный ряд каких-то иссиня-черных точек на расстоянии в два-три ярда друг от друга. Таких точек я насчитал около полутора сотен. Очень скоро я понял, что это люди — вражеские стрелки, приникшие к земле. И почти в ту же секунду горн протрубил «рысью — марш», и наша длинная кавалькада с грохотом и звяканьем понеслась вдоль линии скорчившихся на песке фигур. Кругом воцарилось безмолвие, как перед бурей. Вдруг все черные точки разом утонули в облачках дыма, и странную тишину взорвал громкий ружейный залп. Промазать с такого расстояния было невозможно, и по всей колонне запрядали лошади, несколько человек упали.

Наш полковник явно намеревался обойти с фланга армию дервишей, укрывавшуюся в ложбине позади стрелков и только что им замеченную, но невидимую нам, а обойдя, атаковать ее с более выгодной позиции, однако открывшийся огонь и растущие потери, вероятно, заставили его счесть дальнейшее продвижение по открытой местности нецелесообразным. Прозвучал сигнал горна «строй фронт направо — марш-марш!», и все шестнадцать взводов развернулись лицом к иссиня-черным стрелкам. Почти сразу же полк взял в галоп, и для наших уланов началась их первая на этой войне атака.

Думаю, мне удастся с большой точностью передать то, что произошло потом, то, что я видел и чувствовал. После я так часто воскрешал это событие в своем воображении, что впечатление от него живо и поныне и картина встает передо мной с той же яркостью, как четверть века назад. Когда мы встали в шеренгу, то взвод, которым командовал я, оказался вторым справа. Подо мной был резвый и крепкий серый арабский поло-пони. Еще до того как мы, развернувшись, помчались на врага, офицеры ехали с шашками наголо. Я же давно для себя решил, что в случае рукопашной буду, не полагаясь на вывихнутое плечо, действовать не шашкой, а пистолетом. В Лондоне я приобрел автоматический пистолет-маузер новейшего образца и потихоньку

пристреливался к нему, пока мы поднимались вверх по реке. Им я и намеревался воспользоваться. Первым долгом мне надо было сунуть шашку обратно в ножны, что не так-то просто проделать на полном скаку, а затем вытянуть из деревянной кобуры пистолет и взвести курок. На выполнение этой двойной задачи у меня ушло довольно много времени, в течение которого я не смотрел на происходящее, а лишь изредка скашивался влево, чтобы знать, велик ли наносимый нам обстрелом урон.

И вдруг я увидел прямо перед собой, на расстоянии буквально в половину поля для игры в поло, цепочку синих фигур. Припав к земле, они бешено палили, окутанные белым дымом. Справа и слева от меня офицеры держали строй. Прямо за мной колыхалась длинная череда нацеленных на врага пик. Все мы шли быстрым ровным галопом. За конским топотом и треском ружей не было слышно свиста пуль. Обозрев таким образом своих, я опять устремил взгляд на противника. Открывшаяся глазам картина внезапно изменилась. Иссиня-черные фигуры продолжали стрельбу, но за ними обозначилась похожая на неглубокий овраг впадина. В ней притаились люди — много людей, они поднимались нам навстречу. Словно по волшебству вверх взвились пестрые знамена, и буквально из ниоткуда в гуще и по бокам этого воинства появились эмиры на конях. Глубина вражеского строя не превышала десяти-двенадцати шеренг, и вся эта серая масса сверкала сталью и переливалась, заполняя собой сухое речное русло. Я мгновенно смекнул, что правый наш фланг далеко обходит их левый, что мой взвод может ударить по самому их краю, в то время как те, кто находится справа от меня, вообще промахнутся. Командир правого взвода, младший офицер Уормольд из 7-го гусарского, тоже понял ситуацию, и мы оба, пустив лошадей в карьер, стали забирать влево, заходя во фронт рогом полумесяца. У нас не было времени ни для страха, ни для посторонних мыслей — думали мы лишь о необходимости сделать то, что я описал. Мы были сосредоточены только на этом.

Столкновение близилось. Прямо на моем пути, меньше чем в десяти ярдах, лежали двое. Между ними был просвет в пару ярдов, и я направил лошадь в этот просвет. Оба выстрелили. Я пролетел сквозь облако дыма с сознанием, что цел. Следовавший за мной солдат был убит — этими выстрелами или другими, я не знал. Чувствуя, что начинается спуск, я придержал своего пони. Умное животное в кошачьем прыжке пролетело четыре-пять футов и опустилось на мягкое песчаное дно высохшего русла, где меня окружили, как мне показалось, десятки врагов. Но стояли они здесь не настолько плотно, чтобы мне пришлось с ними по-настоящему схватиться. В то время как взвод Гренфелла, через

один от моего, был остановлен и нес тяжелые потери, мы протискивались вперед, как, бывает, протискиваются сквозь толпу конные полицейские. Быстрее, чем длится этот рассказ, мой пони вскарабкался на противоположный склон. Я огляделся.

Теперь, вновь очутившись на твердой хрусткой почве, я припустил рысью. Мне показалось, что дервиши разбегаются кто куда. Прямо передо мной на землю упал человек. Читателю следует учесть, что мне, как кавалеристу, внушили следующее: если кавалерия прорвала строй пехоты, той несдобровать. Поэтому я было подумал, что человек этот перепуган. Но тут же увидел, как сверкнула в его руке кривая сабля, занесенная с намерением перерезать сухожилие моему коню. Мне хватило времени и свободного пространства, чтобы развернуть коня, и, свесившись с седла с другой стороны, я выпустил во врага две пули с расстояния в три ярда. Вновь утвердившись в седле, я увидел перед собой еще одного с занесенной саблей. Подняв руку, я выстрелил. Мы находились так близко друг от друга, что дуло фактически ткнулось в плоть. Человек и сабля исчезли, оставшись где-то внизу позади, а в десяти ярдах слева появился арабский всадник. Он был в ярком кафтане и стальном шлеме с кольчужной сеткой. Я выстрелил в него. Он шарахнулся от меня. Я пустил лошадь шагом и вновь огляделся.

В кавалерийской атаке, как в каком-то смысле и в обычной жизни, пока ты при оружии, твердо держишься в седле и не выпускаешь из рук поводья, враги предпочитают с тобой не связываться, они сторонятся тебя. Но едва нога твоя потеряла стремя, узда порвалась, ты сам ранен, выронил из рук оружие или лошадь твоя захромала, враги кидаются на тебя, как стая коршунов. Такая участь постигла многих моих товарищей из соседних со мной взводов. Остановленные остервенелой толпой, обложенные по кругу, они были заколоты копьями, зарублены саблями, стащены с седел и искромсаны на куски.

Но тогда я ничего этого не видел и не знал, а впечатления мои от хода сражения были самые что ни на есть благоприятные и оптимистические. Я считал, что мы хозяева положения, громим неприятеля, гоним и убиваем. Так вот я придержал лошадь и огляделся. В сорока или пятидесяти ярдах слева от себя я заметил скопление дервишей. Они толклись на месте, теснясь друг к другу. Вид у них был крайне возбужденный — воинственно притопывая, они потрясали копьями. Я лишь скользнул по этой колышащейся массе глазами, но мне мнится, что я различил в ней коричневые силуэты уланов. Одиночки, которых было рядом со мной вдоволь, не порывались на меня покушаться. Однако где мой взвод? Куда делись другие взводы эскадрона? На сотню

ярдов вокруг не было видно ни одного офицера или солдата. Я опять посмотрел на толпу дервишей и увидел на ее краю двух или трех стрелков, которые, присев, целились в меня. И тут впервые за это утро меня охватил страх. Я ощутил полное одиночество. Пришла мысль, что вот сейчас стрелки эти меня убьют и вся орава, как стая волков, накинется на тело и растерзает его. Какой же я дурак, что медлил посередь вражеского гнезда, что не мчался сломя голову! Я пригнулся к седлу, пришпорил скакуна и оставил позади опасное место. Промчавшись так ярдов триста, я наткнулся на свой взвод — уже развернутый для наступления и частично даже построившийся.

Другие три взвода эскадрона перестраивались неподалеку. Внезапно среди моих бойцов вдруг появился дервиш. Не знаю, откуда он взялся — возможно, выпрыгнул из какой-нибудь ямы или из-за куста. Все бойцы кинулись на него с пиками, но он метался туда-сюда, создавая дикую сумятицу. Раненный не один раз, он, шатаясь, сделал несколько шагов ко мне и поднял копье. Я пристрелил его с расстояния меньше чем в ярд. Он упал на песок и затих, мертвый. Как легко, оказывается, убить человека! Но я сохранил хладнокровие. Обнаружив, что расстрелял весь магазин моего маузера, я прежде всего вставил в него новую обойму с десятью патронами.

Мной все еще владело убеждение, что мы здорово пустили кровь неприятелю, не понеся при этом почти никаких потерь. В моем взводе недоставало трех-четырех человек. Шесть человек и с десяток лошадей получили кровавые раны — колотые и резаные. Мы все ждали приказа о немедленном продолжении атаки. Бойцы были готовы к ней, хотя глядели хмуро. Некоторые испросили разрешения бросить пики и обнажить шашки. Я спросил у младшего своего сержанта, понравилась ли ему атака. Он отвечал: «Да не скажу, чтоб очень уж понравилась, сэр, но, думаю, к следующему разу я пообвыкну». Весь взвод покатился со смеху.

Но тут со стороны неприятеля потянулась страшная вереница: лошади, исходящие кровью и ковыляющие на трех ногах, бредущие пешком кавалеристы, кровь, хлещущая из жутких, развороченных крючкастыми наконечниками копий ран, вывалившиеся наружу кишки, искромсанные руки и лица, задыхающиеся, кричащие, теряющие сознание, Испускающие дух люди. Первой нашей задачей было помочь им, а между тем военачальники наши вновь обрели присутствие духа. Они вдруг впервые вспомнили об имевшихся у нас карабинах. Общая суматоха все еще продолжалась, но уже слышались горны и отдаваемые команды, и мы рысью тронулись к флангу противника. Заняв позицию, удобную для продольного огня по

сухому руслу, два эскадрона спешились, и через несколько минут плотным огнем мы заставили дервишей отступить. Таким образом, мы овладели полем сражения. Через двадцать минут после разворота шеренгой и начала атаки мы сделали привал для завтрака в той самой ложбине, которая чуть не погубила нас. Вот тебе и хваленое *Arme Blanche!*[28] Дервиши унесли своих раненых, и мы смогли насчитать тридцать-сорок брошенных неприятельских трупов. Тут же лежали тела и двадцати наших уланов, изувеченные до неузнаваемости. Из трехсот десяти офицеров и солдат, составлявших численность нашего полка, мы за две-три минуты потеряли убитыми и ранеными пять офицеров и шестьдесят пять солдат, да еще сто двадцать лошадей — почти четверть нашей живой силы.

Таков был итог этой знаменитой битвы. Крайне редко пехота и кавалерия, не дрогнув в схватке, сражаются на равных и одинаково доблестно. Обычно либо пехота, не теряясь, расстреливает кавалерию, либо в панике беспорядочно отступает под мощными ударами шашек и пик. Но две-три тысячи дервишей, схватившиеся в ложбине с 21-м уланским полком, не прогнулись под нашим напором и не испугались кавалерии. Им не хватило огневой мощи, чтобы нас остановить, но биться с конниками им, несомненно, приходилось не раз во время войн с Абиссинией. Что такое кавалерийская атака, они хорошо знали, испытав ее на собственной шкуре. Более того, в оружии мы тоже были равны, потому что британцы, как встарь, управлялись шашками и пиками.

Белая канонерка, наблюдавшая начало атаки, поспешно двинулась вверх по реке, надеясь нас поддержать. Их командир Битти затаив дыхание следил за всем происходящим с высоты своего мостика. Прошло много лет, прежде чем мне довелось, поговорив с ним, узнать, что он видел наш галоп. Встретились мы, когда я уже был первым лордом адмиралтейства, а он — самым молодым из адмиралов Королевского флота. Я спросил его:

— И как это выглядело? На что это было похоже?

— На вареный пудинг с изюмом, — ответил адмирал Битти. — Темные изюмины, утопающие в толще масла.

Это очень бытовое, но весьма впечатляющее сравнение чрезвычайно подходит для того, чтобы завершить им рассказ о пережитом мной приключении.

Глава 16
Я выхожу в отставку

Поражение армии дервишей было настолько полным и сокрушительным, что экономный Китченер посчитал возможным немедленно отказаться от дорогостоящих услуг британского кавалерийского полка. Через три дня после описанной битвы 21-й уланский полк двинулся на север, в сторону дома. Мне было разрешено спуститься по Нилу на одном из больших парусников, везших гренадеров-гвардейцев. В Каире я отыскал Дика Молино, младшего офицера из Королевской конной гвардии, подобно мне прикомандированного к 21-му уланскому. Он был серьезно ранен повыше правого запястья ударом сабли. Перерезанные сухожилия заставили его выронить револьвер. В ту же секунду под ним пала лошадь, застреленная в упор. Самого Молино героически спас от неминуемого растерзания один из его солдат. Сейчас Молино под присмотром госпитальной сестры отправлялся в Англию. Я решил составить ему компанию. Во время нашей с ним беседы пришел доктор, чтобы сделать перевязку. Рука была ужасным образом рассечена, и доктор решил немедленно сделать пересадку кожи. Он что-то тихо сказал сестре, и та закатала свой рукав. Они удалились в уголок, где он начал надсекать ей кожу, чтобы снять полоску для приживления к ране Молино. Бедняжка побледнела как смерть, и доктор повернулся ко мне. Это был высокий тощий ирландец.

— Придется у вас позаимствовать, — заявил он.

Выхода не было, и, когда я обнажил руку, он добродушно добавил:

— Слыхали небось, как с живого шкуру сдирают? Вот сейчас мы займемся примерно этим.

После чего он принялся срезать с внутренней стороны моего предплечья кусочек кожи с прилегающим к ней кусочком мяса размером с шиллинг. То, что я испытал, пока он орудовал бритвой, водя ею взад-вперед, вполне может именоваться мукой мученической. Однако я выдержал ее, и в руках доктора оказался прелестный лоскутик кожи с тонким слоем подкожной плоти. Драгоценный этот лоскутик был вживлен в рану моего приятеля, где находится по сей день, служа ему верой и правдой. Мне же на память остался шрам.

Родители мои всегда имели возможность находиться в центре лондонской жизни, вращаясь в самых верхах и умеренно

пользуясь всем, что почиталось там самым лучшим. Однако назвать их богатыми было бы трудно, а экономными — еще труднее. Напротив, активность их общественной и личной жизни оборачивалась постоянными долгами и материальными затруднениями, нараставшими, как снежный ком. Благодаря своей поездке в Южную Африку, предпринятой в 1891 году, отец смог приобрести долю в разработке весьма ценных золотых рудников. В числе прочего он купил по номинальной стоимости пять тысяч акций компании «Ранд Майнз». В последний год его жизни цена этих акций возросла в двадцать раз, а вскоре после его кончины — в пятьдесят-шестьдесят, и, проживи отец еще год, он стал бы состоятельным человеком. В те дни, когда налоги были ничтожными, а покупательная способность денег раза в полтора превышала теперешнюю, даже четверть миллиона фунтов представлялись настоящим богатством. Но к несчастью, отец скончался как раз в тот момент, когда его состояние как раз сравнялось с его долгами. Акции, естественно, пошли на их уплату, и после того, как все дела отца были улажены к полному удовлетворению кредиторов, мать осталась лишь с деньгами, обеспеченными ей брачным контрактом. Впрочем, и их хватало для вольной, комфортной и полной всяческих удовольствий жизни.

Я очень старался ни в коей мере не быть обузой для матери и потому, несмотря на все разнообразие и увлекательность военно-походной жизни, не переставал между битвами и турнирами по поло серьезно размышлять о финансовой стороне своего существования. Моего содержания, составлявшего пятьсот фунтов в год, не хватало на поло и все то, что приличествовало гусару. Я наблюдал, как год от году все сильнее обнаруживается дефицит средств — не грандиозный, но все же заметный. Я начинал понимать, что единственная профессия, которой меня обучили, никогда не даст мне возможности избежать долгов, не говоря уже о том, чтобы отказаться от содержания и стать полностью независимым, как я мечтал. Идея отдать драгоценнейшие годы учебы подготовке к тому, за что платят четырнадцать шиллингов в день, на которые нужно еще обхаживать двух лошадей и покупать дорогостоящую форменную одежду, представлялась мне задним числом не слишком-то разумной. Было очевидно, что, продолжая играть в военные игрища еще хотя бы пару лет, я еще больше запутаю себя и своих близких. А с другой стороны, две книги, которые я успел написать, и мои корреспонденции в «Дейли телеграф» уже принесли впятеро больше того, что заплатила мне королева за три года усердного, беспорочного, а подчас и опасного служения ей. Ее Величество стараниями

парламента была так стеснена в средствах, что не могла обеспечить нам даже мало-мальски сносное существование. С большим сожалением я вынужден был принять решение об отставке. Серия корреспонденций в «Морнинг пост», в которых я, не называя себя, описал битву при Омдурмане, принесла мне свыше трехсот фунтов. Жизнь дома с матерью должна была обойтись мне гораздо дешевле, и я надеялся прожить безбедно года два, продав новую книгу о Суданской кампании, которую собирался назвать «Война на реке». К тому же я подумывал о заключении договора с «Пионером» на еженедельные корреспонденции из Лондона по цене три фунта каждая. В последующие годы мне стали платить гораздо больше, но в то время я рассудил, что такой гонорар немногим меньше моего младшеофицерского жалованья.

Мои планы на конец 1899-го и ближайшие за ним годы были таковы: возвратиться в Индию и выиграть турнир по поло, после чего подать прошение о выходе из военной службы и отправиться в Англию, где, освободив мать от обязанности выплачивать мне содержание, заняться сочинением новой книги и писем в «Пионер», попутно изыскивая способ попасть в парламент. Планы эти, как станет ясно из дальнейшего, я в основном выполнил. Следует сказать, что начиная с того года и вплоть до 1919-го, когда я совершенно неожиданно получил богатое наследство по завещанию моей давно покойной прабабки Фрэнсис Энн, маркизы Лондондерри, я жил исключительно своим трудом. Все эти двадцать лет я сам кормил себя, а впоследствии и мою семью, при этом не жертвуя ни здоровьем, ни развлечениями. Я этим горжусь, ставлю себе в заслугу и хочу, чтобы моему примеру последовал как мой сын, так и прочие мои дети.

В Индию я предполагал вернуться в конце ноября, чтобы успеть подготовиться к февральскому турниру по поло. А пока я был всячески обласкан дома. Мои письма в «Морнинг пост» имели широкий резонанс. Всем было интересно узнать о кампании, об Омдурмане и, более всего, об атаке нашей кавалерии. Поэтому за обеденным столом, в клубах и на Ньюмаркетском ипподроме, куда я в то время зачастил, я нередко оказывался центром кружка заинтересованных слушателей значительно старше меня. Находились и юные дамы, проявлявшие неподдельный интерес к моей болтовне и моей особе. Так что это были очень приятные недели.

Именно тогда я познакомился с группой консерваторов — новых членов парламента, с которыми впоследствии очень сошелся. Мистер Иэн Малькольм пригласил меня на завтрак, на

котором присутствовали также лорд Хью Сесил, лорд Перси (старший брат покойного герцога Нортумберлендского) и лорд Балкаррис (ныне лорд Кроуфорд). Все они были многообещающими политиками-консерваторами, но звезды их только-только начинали разгораться на политическом небосклоне, и еще немало парламентских сессий должно было пройти, чтобы интеллектуальная мощь и выдающиеся способности этой блистательной когорты проявились в полной мере. Они отнеслись с большим интересом к моей персоне как потому, что слышали обо мне и моих свершениях, так и из-за славы, окружавшей имя моего отца даже после его смерти. Я, разумеется, вовсю старался произвести впечатление, чувствуя известную ревность к этим еще таким молодым — всего-то на два-три года старше меня — людям, родившимся, так сказать, с серебряной ложкой во рту, уже успевшим отличиться в Оксфорде или Кембридже и обеспечившим себе уютные представительские местечки в парламенте от торийских избирательных округов. Я чувствовал себя глиняным горшком среди медных котлов.

Уже в юные годы недюжинный интеллект лорда Хью Сесила поражал своим блеском. Воспитываемый почти двадцать лет в доме премьер-министра и вождя партии, он с детства привык слышать обсуждения важнейших государственных вопросов и взвешенную точку зрения ответственного политика. Та откровенность и та свобода, с какой домочадцы Сесила, как мужчины, так и женщины, излагали и отстаивали свои идеи, споря друг с другом, были поистине замечательны. Разнообразие мнений лишь приветствовалось, а остроумные замечания и блестки контраргументов в беседах отца с его детьми, брата с сестрой, дядюшки с племянником, молодежи с людьми, умудренными опытом, так и сыпались — тут все они были равны и полемизировали на равных. Лорд Хью уже погрузил в мертвую тишину палату общин, заставив ее более часа внимать своим рассуждениям об устройстве господствующей церкви и усовершенствовании управления ею, о разногласиях между эрастианами и приверженцами Высокой церкви. Он блестяще владел всеми приемами риторики и диалектики, а в беседах был столь находчив, остроумен и парадоксален, что слушать его было наслаждением.

Лорд Перси, глубокомысленный юный романтик, ирвингианин по вероисповеданию[29], человек чрезвычайно обаятельный и высокоученый, за два года до этого получил в Оксфорде ежегодный Ньюдигейтский приз за лучшее стихотворное произведение. Он много путешествовал в горах Малой Азии и на Кавказе, едал с туземной знатью и голодал с

монашеской братией. Восток бросал на него свой чарующий отсвет, как на Дизраэли. Он словно сошел со страниц «Танкреда» или «Конингсби»[30].

Наш первый разговор свернул на обсуждение вопроса, имеет ли народ право на самоуправление, или разумнее позаботиться о предоставлении ему *хорошего* правительства; в чем состоят неотчуждаемые права человека и на чем основываются? После чего мы перешли к оценке института рабства. Я был немало удивлен уверенностью, с какой они отстаивали весьма непопулярные взгляды на все эти проблемы, но еще более меня удивило и даже раздосадовало, что мне с великим трудом удавалось находить доводы в защиту своей справедливой и, казалось бы, очевидной точки зрения против их ошибочной, но очень хитрой аргументации. Они настолько лучше меня освоили полемику и знали ее возможности, что все мои смелые рассуждения о свободе, равенстве и братстве оказывались опровергнутыми и разбитыми в пух и прах. Я выставил в качестве прикрытия известный лозунг: «Под „Юнион Джеком“ рабству не место». К рабству, конечно, можно относиться по-разному. «Юнион Джек», без сомнения, весьма почтенный и всеми уважаемый стяг, возразили они, но какова нравственная связь этих двух понятий? Обосновать утверждения, которые я столь решительно сделал, мне оказалось не легче, чем опровергнуть тех, кто говорил, что солнце всего лишь плод нашего воображения. И хотя поначалу все преимущества, казалось бы, были у меня, я вскоре почувствовал себя в положении чудака, воздвигшего баррикаду посреди Сент-Джеймс-стрит или Пикадилли и призывающего толпу защитить ее во имя свободы, демократии и справедливости. Однако в конце лорд Хью посоветовал мне не воспринимать подобные споры слишком всерьез. Он сказал, что всякие эмоции, даже самые благородные, нуждаются в предварительном анализе и что на самом деле ни он, ни его друзья не настолько жалуют институт рабства, как мне могло подуматься. Таким образом, выходило, что они лишь дразнили меня, заставив пуститься вскачь по полю, которое, как им было прекрасно известно, изобилует ямами и ловушками.

В результате этой встречи у меня родилась мысль, вернувшись после турнира из Индии, поступить в Оксфорд. От пребывания в Оксфорде я в то время ожидал как пользы, так и удовольствия и потому начал выяснять, что нужно для зачисления. Выяснилось, что всем желающим, даже таким зрелым, как я, необходимо держать экзамены и что формальности этой не избегнуть. Я не понимал, почему за определенную плату нельзя слушать лекции, спорить с профессорами и читать

рекомендованную ими литературу. Но нет — оказывается, подобное исключалось. Надо было экзаменоваться, и не только в знании латыни, но и во владении греческим. Засесть за зубрежку греческих неправильных глаголов после того, как я командовал взводом в британских регулярных войсках, — немыслимо! После тяжких раздумий я, к величайшему своему прискорбию, вынужден был этот план отставить.

В первых числах ноября я направился с визитом в Сент-Стивенс-Чеймберс, где располагалось руководство партии консерваторов. Я хотел разузнать, нельзя ли мне подобрать избирательный округ, который я мог бы представлять в парламенте. Один из дальних моих родственников, Фицрой-Стюарт, давно работал в Сент-Стивенс-Чеймберс на безвозмездных началах. Он представил мне тогдашнего главу аппарата консерваторов мистера Мидлтона, Шкипера, как его называли. Мистер Мидлтон был в большой чести, потому что выборы 1895 года партия выиграла. Когда партия проигрывает выборную кампанию из-за слабости лидера, или глупой политики, или просто потому, что зазевалась и маятник качнулся в другую сторону, главу аппарата всегда увольняют. Значит, справедливо, что в случае успеха все лавры достаются этим партийным функционерам. Шкипер встретил меня очень сердечно и осыпал комплиментами. Партия, конечно же, добудет мне место в парламенте, и я буду заседать в нем в самое ближайшее время. Затем он деликатно коснулся материальной стороны дела. Способен ли я оплачивать свои расходы и какую годовую сумму я готов выделять округу? Я ответил, что с удовольствием ввяжусь в политическую борьбу, но никаких трат, кроме как лично на себя, позволить себе не могу. Услышав это, он несколько сник и заметил, что лучшие и самые надежные округа очень ценят щедрые пожертвования своих представителей. Он привел в пример случаи, когда за честь удерживать за собой кресло депутат отдавал на разные благотворительные нужды по тысяче, а то и больше фунтов в год. Округа поплоше, не столь надежные, подобную взыскательность проявить не могли, а округа «оставь надежду» вообще обходились дешево. Тем не менее, заверил меня Шкипер, он сделает все, что в его силах, так как я, без сомнения, представляю собой особый случай, учитывая заслуги моего батюшки, а также, добавил он, собственный мой военный опыт, который наверняка расположит ко мне голосующий за тори простой люд.

Уже уходя, я еще раз перекинулся словом с Фицрой-Стюартом. На его столе я заметил толстую папку с надписью: «Требуются ораторы» и с удивлением на нее воззрился. Надо же!

Требуются ораторы, и передо мной толстая папка с заявлениями! А я-то всегда мечтал произносить речи, но мне ни разу, ни по серьезному, ни по пустячному поводу, не предлагали и не разрешали выступить. В 4-м гусарском, как и в Сандхерсте, речей не было, за одним исключением, о котором я предпочитал умалчивать. И я сказал Фицрой-Стюарту:

— Просветите меня на сей счет. Неужели правда, что на многих митингах не хватает ораторов?

— Да, — ответил он. — Шкипер велел мне обязательно вас использовать. Могу я ангажировать вас для этой работы?

Я был крайне взволнован. С одной стороны, мне очень хотелось попробовать, но с другой — я испытывал большие опасения. Но как бы там ни было, в жизненном стипль-чезе постоянно приходится брать барьеры. Собрав всю свою выдержку, я скрыл за бесстрастной личиной обуревавшие меня чувства и ответил, что при благоприятных условиях, если меня действительно хотят послушать, я охотно соглашусь. Он открыл папку.

Оказалось, что проводятся сотни мероприятий — собраний в помещениях и праздников на открытом воздухе, базаров и сходок. Я глядел на это открывшееся глазу изобилие с жадностью уличного мальчишки, застывшего перед витриной кондитера. В конце концов местом моего (официального) посвящения в ораторы мы выбрали Бат. Я должен был выступить на собрании «подснежников»[31] в парке, принадлежавшем некоему мистеру Г.-Д. Скрайну и расположенном на одном из холмов, окружающих этот древний город.

Штаб-квартиру консерваторов я покидал, едва сдерживая возбуждение. Несколько дней я был сам не свой от страха, что плану что-нибудь помешает осуществиться. Может быть, мистер Скрайн или другой какой-нибудь местный магнат отвергнет мою кандидатуру; может быть, им приглянулся кто-нибудь получше. Однако все вышло как задумывалось. Я своевременно получил официальное приглашение, а объявление о собрании появилось в «Морнинг пост». Оливер Бортвик известил меня, что «Морнинг пост» пришлет в Бат специального корреспондента, который будет записывать мою речь, и что «Морнинг пост» опубликует ее. Сообщение это еще больше и воодушевило и разволновало меня. Я потратил немало часов на подготовку моего выступления и выучил его наизусть и так твердо, что мог произнести даже во сне и задом наперед. Для защиты Имперского правительства я избрал тон жесткий и даже воинственный. Особенно мне нравилась одна измысленная мной сентенция: «Англия почерпнет больше из приливной волны торийской демократии, чем из высохшей

сточной канавы радикализма». Я потирал руки, придумывая это и многие другие высказывания. Озарение, раз возникнув, тянет за собой другие, и слова текут рекой. Вскоре хлестких афоризмов у меня набралось на добрый десяток речей. Я озаботился предполагаемой длиной моего выступления и осведомился, как долго должен говорить. Мне ответили, что четверти часа или около того будет вполне достаточно. После этого я ограничил себя двадцатью пятью минутами. Прорепетировав мою речь несколько раз с хронометром, я выяснил, что могу спокойно уложиться в двадцать минут. Значит, еще оставалось время для пауз. Но самое важное — не торопиться, не давать себя погонять. Нельзя слишком уж легко уступать прихотям аудитории. Аудитория такая, какая она есть. Вы ждали от меня выступления, так получайте.

Знаменательный день настал, и я сел в поезд на Паддингтонском вокзале. Здесь же был репортер из «Морнинг пост», компанейский джентльмен в сером сюртуке. Мы ехали вдвоем, в купе, кроме нас, никого не было, и я как бы невзначай испробовал на нем пару-другую своих хлестких речений. В холмы, что над городом, мы покатили вместе в пролетке. Мистер Скрайн и его семейство приняли меня с распростертыми объятиями. Вокруг вовсю шло гулянье. Здесь были состязания в беге, стрельбища по кокосам и всяческие балаганы. Погода стояла лучше некуда, и люди веселились от души. Помня предыдущий свой опыт, я озабоченно спросил, будет ли собрание. Все в порядке. В пять часов прозвенит гонг, и все эти весельчаки подтянутся к входу в павильон, где сооружена трибуна. Местный председатель партии меня представит. Помимо меня никто, кроме как с благодарностями, выступать не должен.

Как и было намечено, зазвонил гонг, мы отправились к павильону и взошли на трибуну, представлявшую собой четыре доски, положенные на какие-то бочонки. Ни стола, ни кафедры не было, но как только около сотни гостей, оторвавшись от своих детских забав, довольно неохотно, как мне показалось, приблизились к трибуне, председатель поднялся и представил меня публике. В Сандхерсте, как и в армии, хвалят редко и скупо, а уж лесть среди младших офицеров вообще не в ходу. Наградили ли тебя Крестом Виктории, выиграл ли ты общенациональный кубок в стипль-чезе или общеармейский чемпионат боксеров-тяжеловесов, ты не услышишь от товарищей ничего, кроме совета не пьянеть от успеха. В политике же, видимо, дело обстояло иначе. Здесь елей лился потоком. Моего отца, с которым обошлись так некрасиво, превозносили в самых высокопарных выражениях, называя крупнейшим из лидеров консервативной

партии за всю ее историю. Что же касается моих похождений на Кубе, в индийском пограничье и на берегах Нила, то единственное, на что мне оставалось надеяться, это чтобы в полку не узнали, как их расписывал председатель. Когда же он запел соловьем, восхваляя мою храбрость и «мастерское владение как мечом, так и пером», я испугался, что услышу крики из публики: «Ерунда! Хватит вздор молоть!» или что-нибудь подобное. Но, к моему удивлению и величайшему облегчению, всему этому вняли с благоговением, точно Евангелию.

А затем наступила моя очередь. Укрепившись сердцем и собравшись с духом, я произнес заготовленную речь. Следуя по хорошо проторенным на репетиции колеям, переходя от пункта к пункту и от постулата к постулату, я чувствовал, что все идет как надо. Аудитория, постепенно увеличившаяся, казалось, слушает меня с удовольствием. Одобрительные возгласы и хлопки раздавались всякий раз, когда я специально делал паузу, чтобы их вызвать, и даже возникали совершенно для меня неожиданно. В конце последовали аплодисменты — громкие и продолжительные. Значит, все-таки получилось! И даже без особых усилий! Я и репортер вернулись в Лондон. Он сверил со мной текст и тепло поздравил меня, а на следующий день «Морнинг пост» посвятила моему выступлению целую колонку и вдобавок — подумать только! — предварила текст вступительным словом от редакции, в котором приветствовала появление на политическом небосклоне новой фигуры. Я был чрезвычайно доволен и собой, и тем, как все складывалось, и в этом настроении отбыл в Индию.

Теперь настал черед обратиться к другим, более серьезным вещам. Все офицеры моего полка провели сбор средств, чтобы послать нашу поло-команду на турнир в Мируте. Тридцать пони отправились специальным обозом в тысячечетырехсотмильное путешествие под присмотром старшины. Помимо конюхов их сопровождали несколько самых надежных наших унтер-офицеров, включая сержанта-подковщика. Вся команда подчинялась старшине. Обоз покрывал каждый день по двести миль, и каждый вечер лошадей выгружали, чтобы они отдохнули и подразмялись. В результате к пункту назначения пони прибыли в форме, ничуть не уступавшей той, в какой находились вначале. Мы путешествовали отдельно, но приехали с ними одновременно. Существовала договоренность, что мы недели две потренируемся в Джодпуре, прежде чем отправляться в Мирут. Здесь нас принимал достославный сэр Пертаб Сингх. Сэр Пертаб был регентом Джодпура, поскольку его племянник махараджа еще не

вошел в возраст. Он по-царски принимал нас в своей прохладной каменной резиденции. Каждый вечер он сам и его молодые родичи (двое из которых — Гурджи и Докул Сингх — были такими искусниками, каких даже в Индии мало), а также другие местные вельможи натаскивали нас в умно продуманных тренировочных матчах. Старый Пертаб, обожавший поло почти так же, как войну, то и дело прерывал игру, растолковывая нам наши ошибки и указывая, как можно было бы усовершенствовать тактику. «Живее, живее и легче, летайте, как мухи летают!» — покрикивал он, подгоняя нас. Носясь по полю, мы поднимали клубы красной пыли. Клубы эти подхватывал крепкий ветерок, чем иногда неприятно осложнялась игра — из-за красной завесы вдруг вылетали стрелой фигуры в тюрбанах или неожиданно над самым ухом твоим просвистывал мяч. Следить за тем, что делали другие игроки, было трудно, и приходилось двигаться, стараясь не попадать в тучи пыли. Раджпутам такая обстановка была привычна, а вскоре и их гостей она перестала беспокоить.

Вечером накануне отъезда в Мирут со мной произошел прискорбный случай. Спускаясь к ужину, я поскользнулся на лестнице, и у меня выскочило плечо. Я довольно ловко его вправил, но продолжал ощущать неудобство и напряжение в мускулах. А наутро я практически не мог пошевелить правой рукой. Из опыта я знал, что раньше чем недели через три я не смогу с силой ударить по мячу, как того требует игра в поло, и даже тогда из предосторожности придется придерживать локоть петлей на расстоянии нескольких дюймов от тела. Турнир начинался через четыре дня. Читатель может вообразить мою досаду. Рука моя за последнее время очень окрепла, и я отлично справлялся с ролью форварда. И вот я в одночасье превратился в калеку. К счастью, мы взяли с собой запасного пятого игрока, и, когда товарищи за мной зашли, я их огорчил, сказав, что им придется обойтись без меня. Весь следующий день они самым серьезнейшим образом обсуждали ситуацию, после чего наш капитан известил меня об их решении: я выйду на поле, несмотря ни на что. Если я даже и не смогу бить по мячу, а буду только держать клюшку, мое знание игры и нашей командной манеры, по их мнению, — наилучший залог успеха. Уверившись, что решение это принято не из Сострадания, а в интересах дела, я согласился и обещал постараться. В то время существовало правило офсайда, и форвард находился в постоянном противоборстве с чужим защитником, который, вертясь на своем пони, упорно старался загнать противника в офсайд. Если форварду удавалось «пасти» защитника, блокировать каждый его поворот, то команде он приносил больше пользы, чем если бы

только и делал, что беспрестанно бил по мячу. Нам было известно, что у самых сильных наших соперников, 4-го драгунского полка, в защите играет грозный капитан Хардрес Ллойд, позднее выступавший против сборной Соединенных Штатов.

Итак, с накрепко прикрученным к боку локтем, с трудом и болью манипулируя клюшкой, я отыграл два матча. В обоих мы одержали победу, и хотя вклад мой в нее был весьма ограничен, товарищи мои вроде остались мной довольны. Наш главный нападающий Альберт Савори был блистательным бомбардиром, я же расчищал ему путь. Поло — царица всех игр, ибо соединяет в себе удовольствие бить по мячу, лежащее в основе многих забав, с удовольствием скакать и управлять лошадью, к чему добавляется сложная и слаженная командная работа, которая составляет суть футбола и бейсбола и в которой хорошая комбинация куда более важна, чем отдельные ее звенья.

Великий день наконец настал. Как мы и предвидели, в финале мы встретились с командой 4-го драгунского гвардейского полка. С самого начала борьба приобрела остроту, так как с противником мы были на равных. Мы носились туда-сюда по гладкому, утоптанному полю, где мазали редко и каждый знал точно, кому пасовать. Довольно быстро мы забили противнику гол, а он нам — два, после чего игра зависла на мертвой точке. Я не оставлял своего защитника и, будучи ездоком ловким, сильно его донимал. Внезапно посреди общей свалки у вражеских ворот я заметил пущенный прямо на меня крученый мяч. Он подкатывался ко мне слева. Я умудрился перекинуть клюшку и, свесившись с седла, слабым ударом направить его вперед. Мяч проскочил в ворота. Два-два! За исключением калеки-форварда, команда наша была и впрямь очень сильной. Нашему капитану Реджинальду Хору, игравшему в полузащите, в Индии не было равных. Наш защитник Барнс, с которым я был на Кубе, незыблемый как скала, сильными ударами наотмашь, почти безошибочно слал мяч именно туда, где его поджидали Савори и я, расчищающий ему дорогу. Целых три года это соревнование было нашей главной заботой, средоточием всех наших усилий и помыслов. И тут мне представился еще один шанс. Мяч опять приблизился к воротам противника. На этот раз он летел, и летел быстро, так что мне легко было, мгновенно выставив ему навстречу клюшку, направить его аккурат между столбиков ворот. Три-два! Противник приналег и, погнав нас по полю, сравнял счет. Три-три!

Я вынужден пояснить, что в индийском поло в то время, дабы избежать ничьих, учитывались добавочные голы. С обеих сторон

ворот флажками отмечалось расстояние в половину ширины ворот, и, если мяч не попадал в ворота, а проходил между ними и флажками, засчитывался добавочный гол. Настоящими голами эти добавочные, сколько бы их ни было, не становились, но если голов бывало поровну, тогда дело решали добавочные. К несчастью, в добавочных противник имел перевес. Не успей мы забить еще один гол, это было бы поражением. И тут удача еще раз улыбнулась мне: я чуть-чуть коснулся мяча между конских копыт, и он срикошетил в цель. Так подошел к концу седьмой «чакэ».

К последнему периоду мы имели четыре гола и три добавочных, в то время как у противника было три гола и четыре добавочных. Таким образом, забив еще один гол, они не просто бы сравняли счет, *а стали бы победителями турнира!* Редко мне приходилось видеть такую напряженную сосредоточенность, какую наблюдал я на лицах игроков обеих команд в эти минуты. Казалось, что речь шла вовсе не об исходе игры, а о жизни и смерти. Коллизии куда серьезнее и то не порождают столько эмоций. Этот последний период остался в моей памяти лишь как бешеная скачка по полю в отчаянных атаках и контратаках. Я только и думал: «Боже, пусть скорее придет ночь или Блюхер!»[32] И они пришли в виде самых сладостных из когда-либо слышанных мною звуков: прозвучал гонг, возвестивший об окончании матча и позволивший нам, измученным, истекающим потом, воскликнуть: «Межполковой турнир 1899 года мы выиграли!» Последовали бурные и продолжительные изъявления восторга, глубокое чувство внутреннего удовлетворения, ночное застолье в честь победы, на котором не обошлось без винопития. Не стоит упрекать за эту радость и этот азарт молодых людей, съехавшихся из многих полков. Мало кому из тех веселых здоровяков суждено было дожить до преклонных лет. Что же касается нашей команды, то больше мы не играли. Год спустя Альберт Савори погиб в Трансваале, Барнс получил тяжелое ранение в Натале, я же занялся сидячей работой политика, к тому же плечо мое все чаще стало меня подводить. Для нас это было тогда или никогда, впоследствии же ни один кавалерийский полк из Южной Индии не повторил нашего успеха.

Мои полковые товарищи очень тепло меня проводили. За последним нашим совместным ужином они удостоили меня редчайшего из комплиментов — выпили за мое здоровье. Какие же счастливые годы провел я рядом с ними, каких верных друзей приобрел! Для каждого из нас это было великой школой. Дисциплина и товарищество — вот чему научила нас эта школа, и уроки эти, возможно, не менее ценны, чем академические знания,

даваемые университетами. Хотя, конечно, неплохо бы их сочетать.

Между тем я упорно продолжал трудиться над своей «Войной на реке», размахиваясь все шире. Из простой хроники Омдурманской кампании мое сочинение, разрастаясь назад, превращалось едва ли не в историю краха и спасения Судана. Я прочел десятки книг, по существу, освоив все, что было опубликовано по данной теме, и теперь материала моего хватало на два толстенных тома. В своем изложении я старался сочетать стили Маколея и Гиббона — маколеевскую россыпь антитез с гиббоновскими раскатистыми фразами и притяжательными конструкциямя, — вставляя порой и что-то свое. Я пришел к пониманию, что в писании, а особенно в повествовательной прозе, важно умение строить не только фразу, но и период, выделяемый абзацем. Причем важно в одинаковой степени. Маколей — великий мастер периода. Как фраза заключает в себе мысль во всей ее полноте, так и период должен охватывать целостный эпизод. И как фразам надлежит следовать друг за другом, складываясь в гармоническое единство, так и периоды должны смыкаться, подобно сцеплениям железнодорожных вагонов. Начал сознавать я также и необходимость деления на главы. Каждая глава должна быть самодостаточной и равноценной другим, близкой им по длине. Случается, что главы вычленяются сами собой, но трудность возникает тогда, когда приходится вплетать чужеродные эпизоды в представляющуюся монолитной тему. В завершение следует внимательно изучить сочинение как целостность и добиться строгой его пропорциональности от начала и до конца. Я уже знал, что ключом к легкости повествования является хронология, и успел понять: коли «правильно хочешь писать — старайся правильно мыслить»[33]. Я остерегался впасть в ошибку многих пишущих бедолаг, начинающих, так сказать, «от Адама»: «За четыре тысячи лет до Всемирного потопа…», и постоянно держал в памяти одно из любимых моих французских изречений: «L'art d'être ennyeux, c'est de tout dire»[34]. Мне и сейчас грех об этом забывать.

Писать книгу было огромным удовольствием. С книгой живешь. Она делается твоим товарищем, она окружает тебя неосязаемым, прозрачным коконом твоих мыслей и интересов. В каком-то смысле ты чувствуешь себя золотой рыбкой в стеклянном сосуде, особенном тем, что рыбка сама его для себя создала. И этот сосуд везде был со мной. В дороге он не расплескивался, и с ним я ни одной минуты не скучал. То надо было протирать стекло, то добавлять или убавлять содержимое,

то укреплять стенки. В жизни я часто подмечал сходство между вещами совершенно разнородными. Сочинительство можно сравнить со строительством дома, или планированием военной операции, или писанием картины. Техника другая, фактура другая, но принцип тот же. Нужно подготовить основу, затем собрать материал, и заключение своей тяжестью не должно раздавить зачин. А напоследок можно заняться и украшательством. Законченность же работе придает ее соответствие замыслу. В сражениях, однако, есть то отличие, что в ход их постоянно вмешивается противник: он вечно срывает все планы, поэтому лучшими генералами становятся те, кто умеет достигать задуманного, действуя по ситуации.

Плывя на пароходе домой, я подружился с блестящим журналистом, лучшим из всех, кого я знал. Мистер Г.-У. Стивенс был «звездным» автором новой газеты мистера Хармсворта «Дейли мейл», только что открытой тогда и побудившей «Дейли телеграф» сделать шаг в направлении викторианской респектабельности. В эти первые, критические для газеты дни мистер Хармсворт всецело полагался на Стивенса и, бесконечно доверяя ему и хорошо относясь ко мне, вскоре поручил ему разрекламировать меня, что тот с блеском и выполнил. «Шуметь так уж шуметь» — таков был тогдашний девиз новорожденной газеты Хармсворта, и для своей кампании они выбрали меня. Однако не надо забегать вперед.

Я работал в кают-компании «Индийца» и как раз дошел до одного волнующего эпизода, когда Нильская колонна форсированным маршем достигла Абу-Хамеда и приготовилась к штурму. Самым цветистым слогом я описывал пейзаж: «Занимался рассвет, и утренние туманы, поднимаясь над рекой, рассеивались в лучах восходящего солнца, обнаруживая очертания города дервишей и полукружье скалистых гор за ним. Внутри этого строгого амфитеатра суждено было развернуться одной из малых драм этой войны». «Ха-ха!» — услышал я. Это Стивенс, подойдя, заглянул мне через плечо.

— В таком случае закончите этот пассаж за меня, — сказал я и, поднявшись, вышел на палубу.

Мне не терпелось посмотреть, как у него это получится, и я надеялся, что творение мое много выиграет. Когда я опять спустился вниз, на чистом листе бумаги, который я ему оставил, его мелким почерком было написано: «Пиф-паф! Пиф-паф! Пиф! Паф!», а внизу красовалось огромное: «БАХ!!!» Легковесность этой шутки меня возмутила. Но, разумеется, Стивенс владел и более изощренными стилевыми приемами и, мастерски оперируя ими, создавал для «Дейли мейл» свои остроумные, свежие,

парадоксальные статьи и репортажи. Примерно в это же время в газете был помещен отрывок без подписи и под заголовком «Новый Гиббон». Речь в нем шла о будущности Британской империи. Можно было подумать, что и впрямь нашлись дотоле неизвестные страницы, принадлежащие перу именитого историка Рима. Я был поражен, когда Стивенс признался мне в своем авторстве.

Позднее Стивенс любезно прочитал мои гранки и дал мне полезный совет, который я здесь и воспроизвожу.

> Прочтенные мной куски, — писал он, — показались мне ценным дополнением к трудам Г.-У. Стивенса, а в общем — отличная работа. По-моему, книга первоклассная, толковая, хорошо продуманная, хорошо скомпонованная, изобилует выразительными и живописными подробностями. Единственное критическое замечание, которое я считаю своим долгом высказать, — это что философические размышления, в общем вполне внятные, подчас тонкие и остроумные, а иногда даже справедливые, уснащают книгу чертовски густо. На Вашем месте я гнал бы «философа» в шею, к примеру, когда речь идет о январе 1898 года, но, возможно, дал бы ему порезвиться где-нибудь в самом конце. «Философ» только утомит читателей. Те из них, кто имеет вкус к размышлениям, займутся ими самостоятельно, без Вашей помощи.

Веселая ироничность Стивенса, его забавное остроумие, блестки прозорливости делали общение с ним чрезвычайно приятным, и летом 1899 года наше знакомство переросло в настоящую дружбу. Это было последнее для него лето. В феврале он умер от тифа в Ледисмите.

Две недели я провел в Каире, где собирал материал для книги и заручался помощью нескольких важных участников суданской драмы. Я встречался с Жируаром, молодым офицером канадских инженерных войск, строившим железную дорогу через пустыню; со Слатин-Пашой, маленьким австрийским офицером, проведшим десять лет в плену у халифа и написавшим уникальную в своем жанре книгу «Огонь и меч Судана»; с сэром Реджинальдом Уингейтом, начальником разведки, которому я уже был обязан очень важным для меня обедом; с Гарстином, возглавлявшим египетскую ирригационную службу; и многими другими видными фигурами. Все эти талантливые люди сыграли свою роль в осуществлении военных и административных мер,

меньше чем за двадцать лет поднявших Египет из болота анархии, банкротства и поражения к высотам процветания. Я уже был знаком с их главой, лордом Кромером. Он пригласил меня к себе в британское представительство и с большой готовностью взял на себя труд ознакомиться с разделами моей книги, где говорилось об освобождении Судана и смерти Гордона. Я послал ему увесистую кипу машинописных листов и был одновременно рад и несколько изумлен, когда буквально через день-другой листы вернулись ко мне, исчерканные синим карандашом так энергично, что это мне напомнило Харроу и мои тетрадки по латыни с пометками преподавателя. Я мог убедиться, что лорд Кромер не пожалел времени на мои писания, и приготовился с должным вниманием отнестись к его замечаниям и критическим суждениям, часто весьма пространным и язвительным. Так, генерала Гордона, поступившего секретарем к лорду Рипону, я назвал «лучистым светилом, которое стало вращаться вокруг свечного огарка». Лорд Кромер прокомментировал это так: «„Лучистое светило“ — похвала, по-моему, чересчур выспренняя, и сравнение вице-короля со „свечным огарком“ не совсем корректно. Сам лорд Рипон, уверен, в обиде не будет, но его друзья могут разгневаться, а большинство попросту Вас обсмеет». В своем ответном послании я обещал пожертвовать моим стилистическим перлом, которым ранее так гордился, и безропотно принял подавляющую часть суровых критических замечаний. Такая моя покорность обезоружила и умиротворила лорда Кромера, продолжившего и затем выказывать пристальный и дружеский интерес к моей работе. Он писал:

> Замечания мои жестки, я это сознаю, и весьма благоразумно с Вашей стороны принять их с тем же чувством, с каким они делались, то есть дружески. С Вами я поступил так, как не устаю просить моих друзей поступать со мной. Я всегда и постоянно хочу слышать от друзей моих критику заблаговременно. Насколько же лучше узнать о слабостях того, что ты пишешь или делаешь, из дружеских уст и пока еще не поздно, чем встретить критику недоброжелателей, когда что-либо предпринять и исправить недостатки уже невозможно! Надеюсь, что Ваша книга будет пользоваться успехом. Мало что в жизни еще так радует меня и интересует, как успехи молодежи.

За эти две недели я не раз виделся с лордом Кромером, черпая в беседах с ним знания и мудрость. Он в высшей степени воплотил в себе характерные черты крупных британских

чиновников на Востоке — невозмутимость и выдержку. При виде его я всегда вспоминал одно из любимейших моих французских изречений: «On ne règne sur les âmes que par le calme»[35]. Он никогда не спешил, не горячился, не старался произвести впечатление, не гонялся за эффектами. Он просто сидел, и люди тянулись к нему. Он наблюдал события, пока они не складывались так, что возникала возможность вмешаться — мягко, но решительно. Он мог выжидать год с такой легкостью, словно ждал всего лишь день. Ему случалось ждать и больше — года четыре или пять, пока не удавалось добиться желаемого. К тому времени он почти шестнадцать лет как безраздельно царил в Египте. Звучные титулы его не прельщали, он оставался просто представителем Британии. Его статус не был определен; он мог оставаться никем, в то время как на самом деле являлся всем. Его слово было законом. С помощью маленькой группки своих преимущественно молодых и невероятно способных заместителей, которые, как и их начальник, предпочитали держаться в тени, Кромер осуществлял скрупулезный и вдумчивый контроль над всеми ветвями египетской администрации и над всеми аспектами ее деятельности. Британские правительства, египетские правительства сменяли друг друга, он же пересидел потерю и новое завоевание Судана. Он крепко держал в руках и египетский кошелек, и вожжи местной политики. Было огромным удовольствием видеть этого человека — воплощение безграничной власти, чуждающейся помпы и достигаемой без видимых усилий, — в ореоле его свершений. Я был горд его вниманием ко мне. В наши дни равных ему нет, а нужда в таких людях — огромная.

Глава 17
Олдхем

Весной 1899 года мне стал известен факт существования другого Уинстона Черчилля, как и я пишущего книги, только романы, причем романы очень неплохие, выходящие в США огромными тиражами. Отовсюду я получал поздравления и похвалы моему мастерству романиста. Поначалу я считал это запоздалым признанием художественного достоинства «Савролы», но постепенно пришел к пониманию, что «есть еще один Ричмонд на поле боя»[36], к счастью по другую сторону Атлантики. Я тут же принялся за сочинение письма моему трансатлантическому двойнику, которое, вместе с ответом на него, представляет забавный литературный анекдот.

Лондон
7 июня 1899

Мистер Уинстон Черчилль приветствует мистера Уинстона Черчилля и просит его уделить внимание обстоятельству, касающемуся обоих. Из сообщений прессы стало известно, что мистер Уинстон Черчилль готовится опубликовать очередной роман под заглавием «Ричард Карвел», который наверняка разойдется большим тиражом как в Америке, так и в Англии. Автором романа, который сейчас выходит сериями в «Макмиллане мэгэзин», а впоследствии будет продаваться в виде книги по обе стороны Атлантики, также является мистер Уинстон Черчилль. К тому же на 1 октября намечен очередной выпуск другого его опуса — военно-исторической хроники Суданской войны. Автор не сомневается, что мистер Уинстон Черчилль уже из этого письма — если не иным образом — сможет сделать вывод об опасности возникновения некой путаницы, в результате которой его произведения станут приписываться мистеру Уинстону Черчиллю, и наоборот. Мистер Уинстон Черчилль уверен, что и мистер Уинстон Черчилль не желает этого, как не желает этого он сам. В будущем, чтобы избежать ошибок, насколько возможно их избежать, мистер Уинстон Черчилль полагает необходимым подписывать все свои публикуемые статьи, рассказы, очерки и прочие произведения не «Уинстон Черчилль», а «Уинстон Спенсер Черчилль». Он надеется,

что такое решение будет поддержано мистером Уинстоном Черчиллем, а во избежание дальнейшей путаницы, порожденной данным удивительным совпадением, рискует также предложить помещать в публикуемые произведения обоих джентльменов соответствующее уведомление, объясняющее читателю, перу которого из Уинстонов Черчиллей что принадлежит. Текст этого уведомления можно обсудить в дальнейшем при условии, что мистер Уинстон Черчилль согласится на предложение мистера Уинстона Черчилля. Последний пользуется случаем выразить мистеру Уинстону Черчиллю восхищение стилем и успехом его произведений, которые всегда, в книжном или журнальном виде, попадают в поле зрения мистера Уинстона Черчилля, искренне надеющегося, что и его произведения будут замечены мистером Уинстоном Черчиллем и доставят ему такое же удовольствие.

Виндзор, Вермонт
21 июня 1899

Мистер Уинстон Черчилль выражает глубокую благодарность мистеру Уинстону Черчиллю за то, что тот затронул вопрос, сильно тревоживший мистера Уинстона Черчилля. Мистер Уинстон Черчилль отдает должное любезному решению мистера Уинстона Черчилля впредь именоваться «Уинстоном Спенсером Черчиллем» в своих книгах, статьях и т. п. Мистер Уинстон Черчилль спешит добавить, что, имей он сам другие имена, он, несомненно, воспользовался бы одним из них. О творчестве мистера Уинстона Спенсера Черчилля (отныне так именуемого) мистер Уинстон Черчилль осведомлен с тех пор, как в «Сенчери» был принят к публикации первый его рассказ. Тогда мистеру Уинстону Черчиллю не показалось, что работы мистера Уинстона Спенсера Черчилля могут каким-то образом смешаться с собственными его пробами пера.

Предложение мистера Уинстона Спенсера Черчилля относительно помещения в те или иные произведения мистера Уинстона Спенсера Черчилля, а также мистера Уинстона Черчилля уведомления, текст которого был бы согласован и одобрен обоими, мистер Уинстон Черчилль полностью поддерживает. Если мистер Уинстон Спенсер Черчилль был бы столь любезен, что набросал бы этот текст, мистер Уинстон Черчилль, безусловно, принял бы

его без оговорок.

Более того, мистер Уинстон Черчилль собирается озадачить своих друзей и издателей вопросом, не желательно ли помещать слово «Американец» в качестве второго имени автора на обложках его книг. Если это покажется им целесообразным, он распорядится, чтобы все будущие издания выходили с таким добавлением.

Мистер Уинстон Черчилль берет на себя смелость послать мистеру Уинстону Спенсеру Черчиллю авторские экземпляры двух своих книг. Восторгаясь сочинениями мистера Уинстона Спенсера Черчилля, он предвкушает удовольствие от чтения «Савролы».

Дело уладили дружески и к удовлетворению обеих сторон, читатели же постепенно свыклись с одновременным существованием двух разных людей, носящих одно и то же имя и одинаково намеренных впредь, усердно и плодотворно трудясь, удовлетворять как литературные, так, при нужде, и политические запросы масс. Когда год спустя я посетил Бостон, мистер Уинстон Черчилль первым оказал мне гостеприимство. Он пригласил меня на веселое молодежное застолье, где мы оба произносили речи, в которых восхваляли друг друга. Но искоренить путаницу все же не удалось — мою почту направляли на его адрес, а счет за то самое застолье прислали мне. Вряд ли стоит уточнять, что все эти ошибки были быстро исправлены.

В один прекрасный день меня попросил заехать в палату общин мистер Роберт Аскрофт, депутат-консерватор от округа Олдхем. Там он повел меня в курительную, где рассказал об одном важном проекте. Олдхем — двухмандатный округ, и в то время оба места в палате занимали консерваторы. У главного из депутатов, Аскрофта, положение было прочное не только потому, что его поддерживал ориентированный на консерваторов электорат, но и потому, что он являлся поверенным и юристом местной профсоюзной организации рабочих-прядильщиков. Его коллега хворал, и мистер Аскрофт подыскивал человека, с которым мог бы работать в одной упряжке. Видимо, выбор свой он остановил на мне. В разговоре со мной он высказал несколько здравых соображений. Молодежь, сказал он, зачастую не располагает денежными средствами в количестве, достаточном, чтобы тягаться со старшими. Никаких доводов в пользу обратного я, увы, представить не мог. Тем не менее он считал все препятствия преодолимыми. И я согласился на то, чтобы, не откладывая в долгий ящик и при его, Аскрофта, содействии,

выступить в Олдхеме.

Прошло несколько недель, и дата моего выступления уже была определена, когда, к моему огорчению, газеты сообщили о скоропостижной смерти Аскрофта. Казалось странным, что он, такой крепкий и деловитый, выглядевший абсолютно здоровым, вдруг ни с того ни с сего скончался, в то время как его коллега, чье здоровье вызывало опасения, продолжал жить. Роберт Аскрофт был очень уважаем в рабочей среде Олдхема. Рабочие организовали подписку и собрали, с миру по нитке, более двух тысяч фунтов на сооружение памятника «другу и защитнику рабочих». Они поставили условие (которое я счел тогда очень значимым), что деньги эти не будут использованы ни на какие повседневные нужды; никаких там новых кроватей для больниц, закупок книг в библиотеки, даже фонтана не надо — только памятник. Мы не хотим, объяснили они, делать подарок себе самим.

Образовалась вакансия, которую теперь следовало заполнить, и первым же кандидатом стал я. Говорили, что на меня указует перст высокочтимого усопшего. По городу уже были расклеены афиши, анонсирующие мое выступление. Вкупе с памятью о моем отце это решило дело. Без каких-либо хлопот, прошений, обращений и вызовов в комитеты я получил официальное приглашение баллотироваться в депутаты. В штабе консервативной партии Шкипер, всецело одобряя выбор местной ячейки, выдвинул другой план — воспользоваться дополнительными выборами, чтобы освободить оба мандата. По его мнению, у правительства было в тот момент мало шансов выиграть дополнительные выборы в Ланкашире. Устраивать их вторично, если через несколько месяцев образуется вторая вакансия, вообще никому не хотелось. Лорд Солсбери мог, не моргнув глазом, позволить себе потерять пару мандатов. Значит, лучше отказаться от обоих мест сейчас и забыть об Олдхеме до общих выборов, а тогда уж постараться отвоевать себе оба мандата. Тактическая мудрость такого плана была мне понятна. Но в то время любая политическая борьба при любых обстоятельствах казалась мне предпочтительнее бездействия. Поэтому я, так сказать, развернул знамена и ринулся в бой.

Итак, я нырнул с головой в пучину дополнительных выборов открыто и публично, как это бывает в подобных случаях. К настоящему времени я выдержал четырнадцать избирательных кампаний, каждая из которых отняла у меня месяц жизни. Грустно думать, что из отведенного нам столь недолгого жизненного срока целых четырнадцать месяцев были потрачены на эту изнурительную болтовню. Дополнительные же выборы — а

я прошел через пять таковых — и того хуже, ибо привлекают чудаков и психопатов со всей страны, а также их знакомых и приятелей, равно как и всевозможные паразитические фонды «возрождения», и вся эта свора намертво присасывается к несчастному кандидату. Если он поддерживает власти, то на него вешают всех собак и, делая его ответственным за все беды нашего существования и недостатки общественного устройства, громогласно требуют от него ответа, каким именно образом он собирается все это исправить и наладить.

В описываемый мною момент юнионистская власть начала терять популярность. Либералам уже достаточно давно не давали рулить, и электорат жаждал перемен. Демократия не любит преемственности. Лишь в редчайших случаях англичанин не поддастся искушению вытолкать в шею министров Короны, кто бы они ни были, и постараться переменить политический курс, в чем бы он ни заключался. Таким образом, я пустился грести против течения. Больше того, как раз в это время консерваторы проводили через палату общин так называемый Билль о десятине с целью облегчить жизнь священства англиканской церкви. Нонконформисты, и в том числе уэслианцы, чьи позиции в Ланкашире были очень сильны, одобрять это уж никак не могли. Радикалы безудержно изощрялись в насмешках, не останавливаясь даже перед тем, чтобы именовать это проявление щедрости Биллем о поповской милостыне. Вряд ли стоит пояснять, что до истории с Олдхемом я никаким боком не касался этой проблемы. Ни образование мое, ни военная служба никак не подготовили меня к участию в конфликте, вызвавшем такой бешеный накал страстей. Поэтому мне пришлось выяснять, из-за чего весь этот сыр-бор. Большинство моих соратников сходилось в оценке билля с радикалами, считая его серьезной ошибкой. Как только они посвятили меня в суть проблемы, мне явилось решение. Разумеется, священников следует поддержать, чтобы жизнь они могли иметь достойную, иначе как им исполнять их обязанности. Однако почему не соблюсти принцип равенства, как это принято в армии? Высчитать долю каждой Церкви в соответствии с размерами ее паствы, и образующиеся излишки пропорционально между Церквями поделить! Решение справедливое, логичное, исполненное почтения к служителям культа и примиряющее. Удивительно, почему до меня никому это не пришло в голову! Но когда я изложил свои соображения моим соратникам, никто не счел их разумными. Напротив, меня раскритиковали. Что ж, если таково общее мнение, по-видимому, оно справедливо. Я оставил мой уравнительный проект и принялся искать другие способы завоевать избирателей этого

едва ли не самого большого округа на нашем острове.

Тут ко мне присоединился мой новый коллега по борьбе. Вовлечение его в избирательную кампанию, по общему мнению, являлось мастерским ходом главного штаба. Это был не кто иной, как мистер Джеймс Модели, социалист и всеми уважаемый секретарь Союза рабочих-прядильщиков. Мистер Модели являлся ярчайшим кандидатом от рабочих-тори из всех, кого я встречал. Он смело объявлял себя поклонником торийской демократии и даже торийского социализма. Обе партии, как заявлял он, лицемерят, но либералы — хуже. Он же, со своей стороны, горд выступать единым фронтом с «отпрыском» древнего рода британской аристократии за дело рабочего люда, которому он так хорошо известен и который всегда ему доверял. Неожиданно возникшее, это содружество меня чрезвычайно радовало и какое-то время казалось достаточно плодотворным. Партнерство «отпрыска» и социалиста обещало интересный поворот в политике. К несчастью, отвратительные вздорные радикалы, вмешавшись, испортили всю картину. В этом им помогла угрюмая толпа профсоюзных деятелей. Последние стали обвинять бедного мистера Модели в предательстве классовых интересов. Они ругательски ругали консерваторов и не стеснялись даже непочтительно отзываться о лорде Солсбери, утверждая, что он реакционер и противостоит демократическим устремлениям избирателей. Мы, разумеется, отвергали все эти наветы. Однако либерально и радикально настроенные рабочие, окончательно отшатнувшись от нас, проголосовали за свою партию, а мы остались лишь со стойкими своими приверженцами, слегка обескураженными появлением на их трибуне злостного социалиста.

Между тем два наших противника-либерала, как оказалось, были людьми замечательными и достойными. Старший из них, мистер Эммот, происходил из семьи потомственных олдхемских прядильщиков. Умудренный опытом, состоятельный мужчина в самом цветущем возрасте, так сказать, тысячью прядильных нитей связанный с городком и вплетенный в его ткань, он обладал способностями, благодаря которым впоследствии достиг высоких должностей и возглавил партию, оппозиционную правительству. Это был противник, над которым не так-то просто было одержать победу. Младший, мистер Рансиман, тогда еще совсем молодой, был очень обаятелен, богат и тоже исполнен всевозможных достоинств. Мой бедный друг-пролетарий и я едва могли наскрести на двоих пятьсот фунтов, и при этом нас обвиняли в защите интересов богачей, в то время как наши оппоненты, имевшие в загашнике уж никак не меньше четверти

миллиона, клялись в верности сирым и убогим. Забавное противоречие!

Борьба была долгой и трудной. Я защищал правительство, существующий общественный строй, официальную церковь и ратовал за целостность империи. «Никогда раньше, — уверял я, — население Англии не было настолько многочисленным и настолько обеспеченным едой». Я расписывал мощь империи, говорил об освобождении Судана и необходимости не пускать на рынок иностранные товары, созданные рабским трудом. Мне вторил мистер Модели. Противники же наши вещали о тяжелой жизни рабочих, об убожестве трущоб, о вопиющих контрастах между богатством и нищетой, особенно и самым решительным образом напирая на несправедливость Билля о поповской милостыне. Их преимущество в борьбе было бы безусловным, не обладай ланкаширские рабочие удивительной способностью взвешивать все pro и contra каждого соискателя голосов. Оли вносили множество корректив в явно неравную игру. Я с утра до вечера объяснял, убеждал и уговаривал, в то время как мистер Модели раз за разом упорно повторял свою хлесткую инвективу против либералов, превосходящих тори в лицемерии.

Олдхем — округ исключительно рабочий и в ту пору очень процветающий. Здесь пряли хлопок для Индии, Китая и Японии, а вдобавок на крупном предприятии «Аса Лис» делали машины, которые впоследствии позволили этим странам обрабатывать хлопок самостоятельно. В городке не было приличной гостиницы, где удалось бы нормально выспаться, и богатые особняки попадались редко; он состоял из многих тысяч вполне сносных домиков, существование в которых в течение предшествовавших пятидесяти лет медленно, но верно улучшалась. Появился даже достаток — с шерстяными платками на девичьих головках, с башмаками на деревянной подошве и с босоногой ребятней. Я дожил до тех времен, когда мировой кризис сильно ударил по ланкаширским рабочим, но все же он не довел их до того убожества, которое некогда мнилось им пределом мечтаний. В те дни говорили: «От деревянных башмаков к деревянным башмакам — путь в четыре поколения», то есть первое поколение наживает, второе — приумножает нажитое, третье — транжирит, четвертое — возвращается на фабрику. Мне еще довелось стать свидетелем волнений из-за введения налога на шелковые чулки, когда рабочие достигли благосостояния, о котором в пору моей молодости и помыслить не могли, но оказались затянутыми во все сужающуюся воронку экономического спада и растущей конкуренции. Никто из тех, кого судьба сводила с ланкаширскими трудягами, не может не желать им всего

наилучшего.

В разгар моей избирательной кампании мои главные советчики приступили ко мне с просьбой решительно осудить Билль о поповской милостыне. Далекий от нужд, которые этот билль был призван удовлетворить, и абсолютно чуждый разыгравшимся вокруг него страстям, я чувствовал искушение расправиться с ним. И я поддался искушению. Под восторженные крики моей команды я провозгласил, что, если меня изберут, голосовать за билль я не собираюсь. Это было страшной ошибкой. Бессмысленно выступать в поддержку правительства и правящей партии, не поддерживая наихудшего из законов, из-за которого ломаются копья! К моменту моего громкого выступления споры о билле достигли точки накала. В Вестминстере на правительство обрушился град издевок: мол, чего стоит сей документ, если даже выдвинутый правящей партией кандидат не в силах защитить его перед избирателями! В Олдхеме же мои противники, воодушевленные тем, что я полил воду на их мельницу, с удвоенной энергией набросились на билль. Век живи — век учись! Но думаю, однако, что могу без ложной скромности сказать, что был достойным кандидатом. Во всяком случае, нас встречал неподдельный энтузиазм избирателей, и сердце радовалось при виде того, как массы рабочих горячо и совершенно бескорыстно выражают свою преданность империи и верность древним традициям королевства. Однако при подсчете голосов выяснилось, что мы потерпели весьма ощутительное поражение. Из двадцати трех тысяч поданных бюллетеней — количество для английского округа невиданное — за меня было на тысячу триста бюллетеней меньше; что же касается мистера Модели, то он получил примерно на тридцать голосов меньше, чем я.

Последовали обвинения, как всегда бывает при поражениях. Все порицали меня. Я заметил, что это практика почти постоянная. Видимо, считается, что к травле я устойчивее других. Видные тори и весь «Карлтон-клуб» как один заявляли: «Поделом ему, что связался с социалистом. Человек мало-мальски принципиальный никогда бы на это не пошел». Мистер Бальфур, в то время возглавлявший палату общин, услышав, что я выступил против Билля о десятине, сказал в кулуарах (признаться, не без оснований): «Я считал его многообещающим юношей, а он, похоже, только на обещания горазд». Партийные газеты разразились передовицами, где говорилось, что нельзя доверять борьбу за крупные рабочие округа молодым и неопытным кандидатам, и потом все поспешили забыть этот пренеприятнейший инцидент. Я вернулся в Лондон полностью

выдохшимся — так выдыхается недопитая бутылка шампанского, оставленная на ночь без пробки.

По возвращении моем в Лондон никто не навещал меня в материнском доме. Однако мистер Бальфур, будучи человеком верным и участливым, прислал мне написанное им самолично письмо — его я только что откопал в старейшем из моих архивов.

10.7.99

Меня крайне огорчила Ваша неудача в Олдхеме — ведь я так надеялся в скорейшем времени видеть Вас в палате, в которой мы некогда сражались совместно с Вашим батюшкой, сражались дружно, плечом к плечу. Надеюсь, однако, что происшедшее сейчас не лишит Вас уверенности в себе. По многим причинам для дополнительных выборов время неподходящее. Оппозиция на таких выборах всегда может надежно укрыться за критикой, не обнародуя встречной программы. Такая позиция удобна всегда, и она удобна вдвойне, когда встречная твоя программа включает в себя такой неперспективный пункт, как гомруль. К тому же разбрасываемые оппозицией критические семена падают сейчас в особо благодатную почву: предпринимателям не нравится билль о компенсациях; докторам — постановление о вакцинации; народ вообще не любит священников, и билль о выделении им средств, естественно, публике нравиться не может; священников возмутило Ваше неприятие билля; оранжисты дуются, и даже обещание проголосовать за Ливерпульские предложения их не умиротворяет. Ну, и как следует ожидать, те, кто в выигрыше от наших мер, проявляют неблагодарность; считающие же себя обделенными по праву негодуют. Худших условий для борьбы за место от Ланкашира, прямо скажем, не придумаешь!

Бодритесь, все сложится хорошо. Это маленькое поражение не повредит Вашей будущности политика.

В конце июля того же года я имел долгую и содержательную беседу с мистером Чемберленом. Хотя я несколько раз видел его в доме моего отца и при встречах он чрезвычайно любезно со мной раскланивался, знакомством с ним до этого дня я похвастаться не мог. А тут мы с ним вместе гостили у леди Джен в ее уютном доме на Темзе, где провели день, катаясь в лодке по реке. В отличие от мистера Аскуита, никогда не ведшего деловые разговоры на отдыхе, мистер Чемберлен всегда был готов поговорить на политические темы. При всей своей

обходительности он без стеснения резал правду-матку. Уже само общение с ним являлось настоящей школой практической политики. Он был в курсе всех тонкостей и всех деталей политической игры, знал все ее изгибы и повороты, прекрасно разбирался в глубинных процессах, происходивших внутри обеих наших великих партий, чьи воинственные устремления он поочередно реализовывал. И в лодке, и вечером за ужином разговаривали мы с ним в основном между собой. Тогда злобой дня опять становилась Южная Африка. Переговоры с президентом Крюгером, затрагивающие щекотливую и убийственную проблему сюзеренитета, постепенно завладели вниманием английской и мировой общественности. Как с уверенностью может предположить читатель, я выступал за принятие жестких мер и помню, что мистер Чемберлен возразил мне:

— Какой смысл трубить в боевой горн, если, оглянувшись потом, можно никого за собой не обнаружить?

Плывя дальше, мы заметили на берегу очень прямо сидящего в кресле старца. Леди Джен воскликнула:

— Смотрите, это ж Лабушер!

— Негодная ветошь! — отрезал мистер Чемберлен и отвернулся от злобного своего политического оппонента.

Меня поразило презрительное и полное отвращения выражение, мелькнувшее на его лице, и, как молнией, ослепило понимание того, какой лютой ненавистью преисполнил моего знаменитого собеседника, столь милого и любезного в общении, разрыв с либеральной партией и мистером Гладстоном.

Но больше всего занимала меня «Война на реке», в которую я погрузился тогда с головой. Трудная часть работы была позади, и оставалось лишь приятнейшее: чтение гранок и правка. Освободившись от пут военной дисциплины, я мог теперь написать все, что думал, о лорде Китченере, ничего не боясь, беспристрастно и объективно. Что я, разумеется, и сделал. Меня шокировало осквернение им гробницы Махди, чью голову он варварски отсек и привез в Англию в качестве трофея в канистре с керосином. Поступок этот уже вызвал всплеск эмоций в парламенте, и я, сидя там на галерее, сочувственно слушал Джона Морли и сурового редактора «Манчестер гардиан» С.-П. Скотта, яростно нападавших на генерала. Голова Махди была как раз такой деталью, вокруг которой можно раздуть настоящий пожар. Либералы дружно возмущались этим поступком, называя его достойным гуннов и вандалов. Тори, так же дружно, пытались перевести все в шутку. Так что и в этом вопросе я отбился от стаи, шагая не в ногу.

Выход книги был запланирован на середину октября, и я уже

предвкушал момент, когда два увесистых тома моего главного (и по сей день) труда, на который я угробил целый год жизни, будут кинуты нетерпеливо ожидающей их публике.

Но настала середина октября, и нашими мыслями завладели совершенно иные вещи.

Глава 18
С Буллером к мысу Доброй Надежды

Большие ссоры, как это верно сказано, нередко возникают по мелким поводам, но в основе их лежат отнюдь не мелочи. Вся Англия и даже весь мир пристально следили за тем, как назревала война в Южной Африке. Долгая история распри британцев и буров, начало которой положил Маджуба-Хилл, и еще более долгая история взаимных обид и непонимания, предшествовавшая этому злополучному инциденту, были хорошо известны публике. Каждый шаг в переговорах и препирательствах 1899 года внимательно рассматривался палатой общин, обсуждался и осуждался оппозицией. Лето и осень четко разделили британских политиков на тех, кто считал войну необходимой и неизбежной, и тех, кто всеми силами, используя любые аргументы, поправки и проволочки, пытался эту войну предотвратить.

Лето было знойным. В воздухе медленно, но верно назревало напряжение, атмосфера насыщалась электричеством, предчувствием грозы. К тому времени уже три года, начиная с самого рейда Джеймсона, Трансвааль вооружался. Хорошо оснащенная полиция не давала «чужакам» пикнуть, и по планам немецких инженеров над Йоханнесбургом строилась крепость, чтобы постоянно держать город под прицелом артиллерии.

Пушки, ружья, боеприпасы рекой текли из Голландии и Германии, ими можно было вооружить не только население обеих бурских республик, но и значительно больший по численности голландский контингент Капской колонии. Опасаясь восстания не меньше, чем войны, британское правительство постепенно наращивало мощь своих гарнизонов в Натале и Капской колонии. Между тем обмен нотами и депешами между Даунинг-стрит и Преторией принимал все более угрожающий характер.

А в первых числах октября дерзкие смельчаки, определявшие политику Трансвааля, внезапно решили вскрыть долго гноившийся нарыв. 8 октября Претория послала нам ультиматум с требованием отвести британские части от границ республик и новых не присылать. На выполнение требования давалось три дня. С этой минуты война стала неизбежностью.

Не прошло и часа с тех пор, как из телеграфного аппарата вылезла лента с ультиматумом, как явился Оливер Бортвик, чтобы нанять меня главным военным корреспондентом «Морнинг пост». Двести пятьдесят фунтов в месяц плюс оплата всех

расходов, полная свобода в передвижениях и выражении собственного мнения, минимум четыре месяца гарантированной занятости — таковы были условия, вряд ли до меня предлагавшиеся кому-либо из британских военных корреспондентов и, разумеется, крайне привлекательные для двадцатичетырехлетнего молодого человека, не имеющего других обязанностей, кроме как обязанность зарабатывать себе на жизнь. Ближайший пароход «Замок Даннотар» отправлялся одиннадцатого, и я тут же забронировал на нем место.

Считаные часы, которые оставались мне дома на сборы, прошли в радостном нетерпении. Лондон бурлил патриотическим восторгом и яростными партийными спорами. Новости так и сыпались: буры взяли инициативу в свои руки и армия их движется в направлении Капской колонии и Наталя, британским главнокомандующим назначен генерал сэр Редверс Буллер, призываются резервисты и единственный наш армейский корпус незамедлительно высылается в Столовую бухту.

Я решил попытаться перед отплытием переговорить с мистером Чемберленом. Несмотря на крайнюю занятость министра, он назначил мне встречу в Министерстве колоний, а узнав, что я туда никак не поспеваю, послал мне приглашение наутро приехать к нему домой на Принсиз-Гарденс. Так и получилось, что я удостоился беседы с этим выдающимся деятелем в один из самых судьбоносных моментов его общественного служения. По обыкновению, он курил сигару и не преминул угостить сигарой и меня. Минут десять мы обсуждали с ним ситуацию, и я рассказал ему о своей миссии. Тогда он предложил:

— Я должен сейчас ехать в министерство, и мы побеседуем по дороге.

В те дни поездка в экипаже от Принсиз-Гарденс до Уайтхолла занимала целых пятнадцать минут, но ни за что на свете я не согласился бы сделать ее короче. Относительно перспектив мистер Чемберлен был настроен весьма оптимистически.

— Буллер, — говорил он, — весьма вероятно, опоздает. Надо было ему раньше поторопиться. Но если буры вторгнутся в Наталь, сэр Джордж Уайт с его шестнадцатитысячной ратью все уладит.

— Ну а Мафекинг? — спросил я.

— А-а, Мафекинг! Его, конечно, могут осадить. Но неужели они там пару недель не продержатся? — Потом он рассудительно добавил: — Мне, конечно, приходится основываться на мнении Военного министерства. Они в наших силах уверены. А я лишь полагаюсь на их слово.

Британское Военное министерство тех лет являлось тем, чем сделала его политика строжайшей экономии, последовательно проводимая на протяжении двух поколений палатой общин, глухой к самым тревожным сигналам. Оно было настолько оторвано от реальности, что на просьбу австралийцев разрешить им прислать войска от себя ответило лишь: «Предпочтительно не конные». Тем не менее Разведывательный отдел министерства, располагавшийся в отдельном здании, подготовил два тома рапортов о ситуации в бурских республиках; материалы эти, позднее переданные в парламент, содержали самую полную и точную информацию. Глава разведки сэр Джон Ардаг сообщил военному министру лорду Лансдауну о необходимости сосредоточить в указанном районе двухсоттысячную армию. Мнением его пренебрегли, и отправленные Булл еру два тома вернулись спустя час со следующей ответной запиской: «Генералу положение в Южной Африке досконально известно». Кажется, серьезность положения и грандиозность того, что предстояло осуществить, умел оценить только мистер Джордж Уиндхем, заместитель министра, с которым судьба столкнула меня в один из этих дней за ужином. Буры, сказал он мне, всесторонне подготовились и действуют согласно планам. Они прекрасно вооружены и обладают в числе прочего новейшими тяжелыми орудиями «Максим», стреляющими однодюймовыми снарядами. Мистер Уиндхем подозревал, что начало кампании может оказаться для нас весьма неприятным, что более мобильные буры могут вклиниваться между британскими частями, окружать их и, зажав в тиски, расстреливать из этих новых однодюймовых «Максимов». Должен сознаться, что в юношеском пылком легкомыслии своем я ощутил даже нечто вроде облегчения, узнав, что войне не грозит односторонность, что она не выльется в простую демонстрацию нашей силы. Как мне казалось, буры здорово рисковали, бросая вызов громаде Британской империи, и я был рад, что они не так уж беззащитны, притом что своими приготовлениями сами подвели себя под удар.

Впредь нам наука. Начиная военную кампанию, любую, никогда, никогда не надейтесь на легкий, благополучный, без сучка без задоринки, ее ход, так же как, отправляясь в неведомые воды, не думайте, что исчислили их глубину и знаете, с какими течениями и ураганами вам придется столкнуться. Государственный муж, заразившийся военной лихорадкой, должен помнить, что первый же звук военного горна превращает его, хозяина на политической сцене, в раба и заложника непредвиденных и всесильных обстоятельств. Дряхлые военные министерства, слабые, некомпетентные или чересчур

высокомерные военачальники, неверные союзники, враждебно настроенные нейтралы, злокозненная Фортуна, безобразные сюрпризы, ужасная нерасчетливость — вот кто заседает в Военном совете накануне объявления войны. Всегда следует помнить, что, как бы ни был ты уверен в легкой победе, война потому и разражается, что и противник твой уверен в имеющемся у него шансе.

Один из старейших друзей моего отца, Билли Джерард, еще за несколько лет до описываемых событий вырвал обещание у сэра Редверса Буллера (как некогда я у сэра Биндона Блада), что в случае назначения генерала на пост главнокомандующего действующей армии тот возьмет его к себе в штаб. Лорд Джерард к тому времени был уже немолод, очень состоятелен и популярен в свете и владел одной из крупнейших в Англии скаковых конюшен. Отбытие его на фронт стало поводом для званого ужина, данного в его честь сэром Эрнестом Касселом в «Карлтон-отеле». Я тоже там присутствовал в качестве, так сказать, второй скрипки. Принц Уэльский и около сорока аристократов на пике их политических карьер образовали компанию представительную и веселую. На Джерарда возлагалась обязанность всячески заботиться о комфорте главнокомандующего, ввиду чего его прямо-таки завалили на этом ужине ящиками превосходного шампанского и самого выдержанного бренди из старейших запасов лондонских погребов. Дарители наказали ему, чтобы он не упускал случая разделить со мной наслаждение этой божественной влагой. Кругом царила атмосфера веселья и сердечности, как это часто бывает в самом начале войны. На фронт отправлялся еще один из гостей, известный тем, что не раз употреблял спиртное в количествах, превышающих желаемую меру. Его пагубное пристрастие даже стало притчей во языцех. Когда он уже поднялся, собираясь уйти, лорд Маркус Бересфорд очень серьезно сказал ему на прощание:

— До свидания, старина. Помните: В.К. — штука хорошая, но голову из-за него не теряйте.

На это бедняга, глубоко тронутый таким напутствием, ответил:

— Я обязательно его заслужу.

— А-а! — воскликнул лорд Маркус. — Вы неверно меня поняли: я имел в виду не Викторианский Крест, а выдержанный коньяк.

Добавлю только, что указанные ящики шампанского и бренди вкупе с моей законной в них долей стали еще одним разочарованием этой войны. Чтобы вернее обеспечить

сохранность и благополучную доставку ящиков в штаб, лорд Джерард из предосторожности снабдил ящики наклейками с надписью: «Касторка». Когда через два месяца ящики так и не прибыли в Наталь, он срочно телеграфировал на базу в Дурбане, интересуясь, где же касторка. Ему ответили, что адресованные Его Светлости посылки с лекарствами были ошибочно направлены в госпитали, однако на базе имеются большие запасы касторки и комендант уже распорядился отгрузить ее в количествах, возмещающих потерю с лихвой!

Многое из происшедшего с нами в Южной Африке было в том же роде.

«Замок Даннотар» отплыл из Саутгемптона и октября, в день, когда истекал бурский ультиматум. На своем борту кроме корреспондента «Морнинг пост» и его пожитков он вез сэра Редверса Буллера и весь высший командный состав нашего (единственного) армейского корпуса. Буллер являл собой воплощение типичнейших черт британца. С каменным лицом, немногословный, он был из тех, кто не умеет выражать свою мысль ясно и не пытается это делать. В серьезных спорах и дискуссиях он обычно довольствовался хмыканьем, киванием или качанием головой, в простом же общении избегал говорить о делах. В юности он зарекомендовал себя храбрым и умелым офицером, после чего почти двадцать лет просидел в Уайтхолле на важных административных должностях. Так как политические его взгляды имели либеральную окраску, его считали генералом с головой. Он так долго был на виду, что уже одно это, помимо вышеперечисленных его качеств, обеспечило ему полное доверие общества. «Моя вера в британского солдата, — говорил 9 ноября 1899 года в Гилдхолле лорд Солсбери, — сравнима лишь с моей верой в сэра Редверса Буллера». Несомненно это был человек крупного масштаба. Он шел вперед от ошибки к ошибке, от катастрофы к катастрофе, не теряя ни в глазах страны, ни во мнении солдат, о сытости которых, как и своей собственной, он очень радел. Независимый, внушительный, человек слова и человек дела — на британцев он действовал силой своей личности, точно так же, как на французов впоследствии действовал генерал Жоффр.

В то время как мир и война покачивались на весах в неустойчивом равновесии, а первый непоправимый выстрел еще не раздался, пароход наш, дав гудок, начал разрезать неспокойные серые воды. Никакого беспроволочного телеграфа в те дни, разумеется, не существовало, и потому в этот острейший исторический момент главнокомандующий, равно как и его штаб, вкупе с корреспондентом «Морнинг пост» оказались полностью

оторваны от происходящего. Мы надеялись узнать что-нибудь на Мадейре, куда должны были прибыть на четвертый день плавания. Однако там нас ждала только одна новость: переговоры завершились, и наблюдается передвижение обеих противоборствующих армий. В таком подвешенном состоянии мы опять вышли в море, на этот раз спокойное и отливающее синевой.

Нам предстояло провести две недели, не имея ни малейшего представления о ходе той драмы, о которой мы только и думали. Все две недели небо оставалось безоблачным, море не волновалось, и кейптаунский лайнер шел вперед мирно и безмятежно, на обычной своей рейсовой скорости. Превысить ее значило бы проявить беспрецедентную нервозность. Почти пятьдесят лет Британия не вела войн ни с кем из представителей белой расы, и в ее действиях не было и намека на понимание того, что время в таких случаях может играть решающую роль. Волны мерно плескались о борт судна, где царило невозмутимое спокойствие. Пассажиры, как военные, так и штатские, предавались обычным для морских прогулок играм и развлечениям. Буллер каждый день мерил шагами палубу, непроницаемый, как сфинкс. Общее мнение штабных сводилось к тому, что на место мы прибудем, когда конфликт уже будет исчерпан. Находившийся на борту цвет офицерства просто не мог себе представить, чтобы «собранное с бору по сосенке» бурское ополчение способно было противостоять профессиональным солдатам. Если буры и вторгнутся в Наталь, их встретит генерал Пенн Симондс, расположившийся с целой пехотной бригадой, кавалерийским полком и двумя артиллерийскими батареями в Данди, на самом севере Наталя. Офицеры опасались одного — как бы шок от подобной встречи вообще не отбил у буров охоту сражаться с регулярными войсками. Все это угнетало, и я не удивлялся тому, что временами сэр Редверс Буллер выглядел мрачноватым.

Двенадцать дней прошли в тишине, покое и гаданиях. Я строил в уме десятки предположений — от захвата Кейптауна Крюгером и до вторжения в Преторию сэра Джорджа Уайта или даже генерала Пенна Симондса. Ни одна из версий не казалась мне достаточно убедительной. Так или иначе, еще пара дней — и мы узнаем все, что произошло за эти волнующие две недели. Передышка и неведение кончатся, занавес поднимется, и общая картина представится взору. Что это будет? Я думал о том, каково сносить подобную неопределенность генералу Буллеру. Наверно, дорого бы он дал, чтобы быть в курсе событий. Как глупо со стороны правительства не выслать ему навстречу торпедный

катер, чтобы генерал мог сориентироваться в обстановке еще дней за пять до прибытия! Располагая фактами, он все обдумал бы заранее и сделал первые шаги хладнокровно и неспешно.

Внезапно на палубе наметилось движение. Вдали показался корабль, он двигался нам навстречу, оттуда, где все было известно! Мы быстро сближались. Я думаю, корабль прошел бы примерно в миле от нас, если бы наша молодежь не разволновалась: «Нельзя ли остановить судно? Ведь мы могли бы тогда все узнать! Наверняка там, на борту, найдутся кейптаунские газеты! Нельзя упускать такой случай, даже не попытавшись что-либо выведать!»

Этот ропот достиг ушей высокого начальства. Началось серьезное обсуждение. Пришли к тому, что останавливать корабль в море было бы неразумно. Не дай бог, предъявят нашему правительству иск за нанесенный ущерб или попросту нас оштрафуют, как, например, штрафуют за протяжку телеграфного кабеля без должного на то разрешения. В качестве дерзкой полумеры мы просигналили пароходу, прося поделиться новостями. В результате судно изменило курс и прошло ярдах в ста от нашего борта. Это был грузовой пароход так называемого «дикого плавания» с командой человек в двадцать. Все они высыпали на палубу поглазеть на нас, мы же, в свою очередь, как может легко догадаться читатель, отвечали им тем же. Над головами они вскинули черную доску, на которой можно было разобрать такую надпись:

БУРЫ РАЗБИТЫ.
ТРИ СРАЖЕНИЯ.
ПЕНН СИМОНДС УБИТ.

Судно, мелькнув, скрылось за нашей кормой, а мы остались размышлять над этим загадочным сообщением.

Штабные буквально оцепенели. Значит, буры сражались — трижды, по-настоящему! И британский генерал погиб! Следовательно, бои были жестокими. Вряд ли после них у буров остались хоть какие-то силы. Разве мыслимо предположить, что, потерпев поражение в трех битвах, они будут продолжать свою безнадежную борьбу! Мы все погрузились в глубокий мрак, один только Буллер упрямо сохранял на лице выражение непроницаемого и неколебимого спокойствия — эдакая твердыня в годину смуты. Он рассмотрел послание через бинокль, но и бровью не повел. Лишь спустя несколько минут штабной офицер рискнул к нему обратиться:

— Похоже, к нашему прибытию все будет кончено, не так ли,

сэр?

Прижатый, таким образом, к стенке, великий человек ответствовал так:

— Смею предполагать, что на подступах к Претории еще осталось кому дать нам отпор.

Его военный нюх был безошибочен и точен. Действительно, кому дать нам отпор там еще о-го-го как осталось!

Выразительное это высказывание подняло и укрепило наш боевой дух. Слова его, передаваясь из уст в уста, в несколько секунд облетели весь корабль. У всех загорелись глаза. Каждый словно сбросил с плеч тяжелую ношу. Офицеры поздравляли друг друга, адъютанты плясали от радости. Всеобщее воодушевление было столь сильным, что никто не дал мне по носу, когда я, возвысив голос, произнес:

— Всего-то стоило на десять минут остановить корабль, и теперь мы имели бы полную информацию и понимали, что нас ждет.

Напротив, меня принялись мирно увещевать:

— Нетерпение — это слабость молодых. Мы и так скоро все узнаем.

Сэр Редверс Булл ер в очередной раз продемонстрировал свое знаменитое хладнокровие, не торопясь выяснять то, что и так будет ему доложено, едва мы пришвартуемся в Кейптауне. Поскольку, по мнению главнокомандующего, заключительное сражение произойдет не ранее, чем при подходе нашем к Претории, докуда от Кейптауна — целых семьсот миль, мы еще спокойно успеем подготовиться к операции по подавлению сопротивления буров. И наконец, подвергать сомнению распоряжения старших по званию во время войны, равно как и во время мира, не пристало даже военному корреспонденту, тем более так недавно носившему форму офицера.

Тем не менее я не раскаялся и ничто из сказанного меня не переубедило.

Глава 19
Бронепоезд

Когда мы бросили якорь в Столовой бухте, уже стемнело, но с берега нам светили бесчисленные огоньки, и вскоре судно наше начали осаждать катерки. С рапортами прибывали разные военачальники и просто начальники. Штаб всю ночь занимался чтением докладов. Я получил в свое распоряжение целую кипу газет и изучал их с не меньшим тщанием.

Буры вторглись в Наталь, атаковали наши передовые части в Данди и, несмотря на поражение при Талана-Хилле, убили генерала Пенна Симондса и в поспешном и рискованном своем отступлении к Ледисмиту едва не взяли в кольцо от трех до четырех тысяч его солдат. В Ледисмите сэр Джордж Уайт силами двенадцати-тринадцатитысячной армии с сорока-пятьюдесятью пушками и кавалерийской бригадой пытался помешать дальнейшему продвижению буров. Британское высшее командование считало, хотя этого я тогда и не знал, что ему следует отойти на юг за Тугелу и там сдерживать натиск буров в ожидании подкрепления, спешащего через океан из Англии и Индии. Он должен был прежде всего позаботиться о том, чтобы его не отрезали и не окружили. Британский тактический план предполагал временную сдачу Северного Наталя — клинышка земли, удержать который не представлялось возможным, — и переброску основных сил под командованием Буллера из Капской колонии через свободную Оранжевую республику к Претории. Но вскоре все эти замыслы были опрокинуты действительным ходом событий.

Помню, как спустя годы я сказал за ужином мистеру Бальфуру, что мы скверно обошлись с сэром Джорджем Уайтом. Любезный, улыбчивый Бальфур словно преобразился: лицо его моментально приобрело суровое, упрямое выражение — на меня глядел другой человек!

— Это ему мы обязаны тем, что увязли в Ледисмите! — отрезал он.

В самый день нашего прибытия (31 октября) в окрестностях Ледисмита разыгралась драма. Генерал Уайт после локального успеха при Эландслаагте предпринял смелый наступательный маневр против накатывающих и обволакивающих, как приливная волна, бурских коммандос. Произошла катастрофа. Более чем тысяче британских пехотинцев пришлось сдаться в плен в Николсонс-Нек, а остатки рассеянной армии британцев были

отброшены назад в Ледисмит. Наши спешно укрепили городок, обнеся его по широкому периметру рвом. Мгновенно окруженные бурами, перекрывшими «железку», они приготовились к продолжительной осаде до прибытия подкрепления. Взяв Ледисмит в кольцо, буры, похоже, собирались треть своих сил двинуть через реку Тугела на Южный Наталь. Одновременно на западе другие бурские войска прочно обложили Мафекинг и Кимберли с явным намерением уморить осажденных голодом. А в довершение всего на грани открытого бунта находились голландские анклавы Капской колонии. Весь субконтинент полыхал враждой, и за пределы действия корабельных пушек власть британского правительства не распространялась.

Хотя мне ничего не было известно ни о наших планах, ни о положении дел на фронтах, а свежая новость об ужасном поражении в Натале еще тщательно скрывалась, сразу же по прибытии стало очевидно, что первые тяжелые столкновения произойдут в Натале. Армейскому же корпусу Буллера не собраться в Кейптауне и в Порт-Элизабете ранее чем через месяц-полтора. Таким образом, можно было успеть, понаблюдав военные действия в Натале, вернуться обратно в Капскую колонию к началу мощного и решительного наступления. Так рассудил я. И так же, несколько дней спустя, рассудил сэр Редверс Буллер, в чем впоследствии сильно раскаялся. Транспортное сообщение через свободную Оранжевую республику, разумеется, было прервано, и желающему попасть в Наталь предстояло потратить четыре дня на то, чтобы сначала проехать семьсот миль по железной дороге через Де-Аар и Стормберг до Порт-Элизабета, а оттуда маленьким почтовым суденышком или паромом доплыть до Дурбана. Железнодорожная колея от Де-Аара до Стормберга шла вдоль вражеской границы. Дорога не охранялась и в любую минуту могла быть перерезана. Однако в штабе считали, что проскочить шансы имеются, и вместе с обаятельным молодым корреспондентом «Манчестер гардиан» мистером Дж.-Б. Аткинсом, впоследствии главным редактором «Спектейтора», я пустился в путь. Наш поезд, как выяснилось, был последним, которому повезло, и когда мы добрались до Стормберга, железнодорожные служащие уже складывали вещи.

На пароходике водоизмещением в сто пятьдесят тонн мы отплыли из Ист-Лондона, терзаемые ужасным антарктическим штормовым ветром. Я всерьез боялся, что хилое наше суденышко захлестнет гребнем гигантского вала или швырнет на скалы, черные зубья которых торчали в какой-нибудь миле от нас по левому борту. Но все страхи были вскорости оттеснены

ужасающими приступами морской болезни, подобных которым я в жизни не испытывал. Думаю, я не сумел бы пошевелиться даже ради спасения жизни. Б кормовой части под палубой помещался душный камбуз, где ютились — спали и ели — шесть или семь членов команды. Там я и валялся на койке в полном изнеможении, в то время как наша утлая скорлупка прыгала и качалась, и билась и болталась, и падала и кренилась, и почти опрокидывалась и вновь выпрямлялась, а по моим впечатлениям, крутилась колесом. И так час за часом весь томительный день, и еще более долгий и томительный вечер, и совсем уж бесконечную ночь. Я вспомнил тогда Титуса Оутса[37], который еще много лет после того, как его чуть не насмерть запороли плетьми, жил себе да здравствовал, и это воспоминание вкупе с верой в благость Провидения, умеющего все устроить к лучшему, поддерживало во мне хоть слабую, но надежду.

Но все имеет конец, и, к счастью, ничто не улетучивается так быстро, как память о физических страданиях. В целом же путешествие мое в Дурбан — это впечатление, которое, как поется в песенке,

> Будет следовать за мной повсюду
> До преклонных самых лет,
> Когда памяти простынет след,
> Когда день вчерашний позабуду.

Причалив в Дурбане, мы ночью отправились в Питермарицбург. В лазарете уже было полно раненых. Среди них я нашел Реджи Барнса, у которого было прострелено бедро. Его прошило пулей, выпущенной с близкого расстояния, во время с блеском выигранного нами боя при Эландслаагте, которым командовал мой приятель Иэн Гамильтон, ныне генерал. Реджи просветил меня относительно ситуации, рассказал о том, какие ловкие буры кавалеристы, какие меткие стрелки. А еще он показал мне свою ногу. Кость была цела, но нога от бедра до кончиков пальцев почернела. Хирург уверил меня, что это лишь синяк, а вовсе не гангрена, чего я поначалу испугался. Той же ночью я добрался до Эсткурта, крохотного захудалого городишка, насчитывающего всего несколько сот обитателей. Дальше поезда уже не ходили.

Намерением моим было непременно попасть в Ледисмит, где Иэн Гамильтон, как я был уверен, позаботился бы обо мне и постарался максимально все мне показать. Но я опоздал — дверца захлопнулась. Буры захватили станцию Коленсо на реке Тугеле и удерживали железнодорожный мост. Генерал Френч и

его штаб, включая Хейга и Герберта Лоуренса[38], под артиллерийским огнем сумели сесть в последний поезд, направлявшийся из Ледисмита в Капскую колонию, где должны были сгруппироваться основные силы кавалерии. Ничего не оставалось, как только ждать в Эсткурте вместе с немногочисленным войском, в спешке собранным для защиты Южного Наталя от грозившего ему бурского вторжения. Единственный батальон Дублинских стрелков, две-три пушки, несколько эскадронов натальских карабинеров, две роты Дурбанской легкой пехоты и бронепоезд — вот и все, с чем предстояло оборонять колонию! Остальная Натальская армия была блокирована в Ледисмите. К нему со всех концов империи спешили подкрепления, но в ту неделю, которую я провел в Эсткурте, слабость наша была такова, что мы сами опасались, как бы нас внезапно не окружили, и могли только укреплять позиции и изображать уверенность.

В Эсткурте я также обнаружил старых друзей. Лео Эмери, тот самый староста, которого я десять лет назад, будучи в Харроу, так неудачно столкнул в бассейн, а впоследствии мой коллега по работе в парламенте и правительстве, был теперь одним из военных корреспондентов «Таймс». Впервые мы с ним встретились на равных и на дружеской ноге и вместе с моим приятелем из «Манчестер гардиан» обосновались в пустой палатке, стоявшей на маневровом треугольнике станции. И на кого же наткнулся я, фланируя вечером по единственной улице городишка, как не на капитана Холдейна, который так поспособствовал моему назначению в штаб сэра Уильяма Локхарта во время Тирской кампании! Холдейн был ранен при Эландслаагте и, надеясь присоединиться к своему батальону Гордонского горского полка в Ледисмите, как и я, застрял в Эсткурте, где получил во временное командование роту Дублинских стрелков. Время текло медленно, тревога нарастала. Положение наше было очень шатким. В любую минуту на нас могла налететь десятитысячная бурская конница и отрезать нам путь к отступлению. И все же необходимо было закрепиться в Эсткурте на достаточно долгий срок. Каждое утро мы высылали кавалерийские патрули миль на пятнадцать в сторону противника, чтобы они вовремя дали нам знать, если появятся буры. И тут командующего посетила не слишком счастливая мысль: отправить на разведку еще и бронепоезд, благо шестнадцатимильный отрезок «железки» пока не был поврежден.

Вид у бронепоезда самый что ни на есть впечатляющий и устрашающий, но в действительности он в высшей степени уязвим и довольно беспомощен. Стоит всего лишь взорвать

железнодорожный мост или водопропускную трубу, и гигант застрянет вдали от своих, беззащитный перед противником. Однако о возможности подобного исхода наш командующий даже не подумал. На бронепоезд из шести товарных платформ он решил погрузить две роты — Дублинских стрелков и Дурбанской легкой пехоты, шестифунтовую корабельную пушку с расчетом из нескольких матросов корвета «Грозный» и небольшую ремонтную бригаду, пожертвовав этой весьма значительной частью своих сил для вылазки в направлении Коленсо. Командование операцией он поручил капитану Холдейну. Вечером 14 ноября Холдейн поведал мне о полученном на завтра задании. Выезжать надо было на рассвете. Не скрыл он от меня и опасений, которые вызывал у него этот рискованный план, притом что он, как и каждый на начальном этапе войны, жаждал приключений и столкновений с противником. Не поеду ли я с ним? Он был бы рад, если б я согласился. Из чувства товарищества, а также потому, что считал своим долгом собрать как можно больше информации для «Морнинг пост», и еще потому, что любил лезть на рожон, я без малейших колебаний принял его предложение.

Военный аспект того, что произошло потом, хорошо известен и не раз обсуждался. Бронепоезд прошел около четырнадцати миль и достиг станции Чивли, не заметив ничего враждебного, ни вообще какого-либо движения, каких-либо признаков жизни на волнистых просторах Наталя. В Чивли мы сделали небольшую остановку, чтобы телеграфировать генералу о нашем прибытии на вышеозначенный пункт. Но не успели мы это сделать, как на холме, возвышавшемся над железной дорогой ярдах в шестистах за хвостом поезда, показались суетящиеся фигурки. Без сомнения, это были буры. И без сомнения, они зашли нам в тыл. Что они сделают с путями? Нельзя было терять ни секунды. Мы немедленно дали задний ход. Когда мы поравнялись с холмом, я вспрыгнул на ящик и высунулся по самые плечи из-за стального борта задней платформы. На верхушке холма я увидел группу буров. Внезапно среди них возникли три штуковины на колесах, и тут же глаз резанули десять-двенадцать ярчайших всполохов. В небе выросло шаровидное белое облако, из которого вырвался смертоносный конус, как мне показалось — в паре футов над моей головой. Это была шрапнель — в первый и чуть ли не единственный раз я видел ее в действии. Стальные бока платформы зазвенели от бьющих в нее снарядов. Впереди, в голове бронепоезда, раздался грохот и один за другим несколько громких взрывов. Огибая основание холма, колея резко шла под уклон, и подгоняемые Вражеским огнем, а также крутизной спуска, мы мчались теперь как бешеные. Артиллерия буров (две

пушки и зенитка) сумели сделать лишь по залпу, прежде чем мы скрылись у них из глаз за поворотом. И меня вдруг осенило, что дальше нас могла ждать ловушка. Я уже повернулся к Холдейну, чтобы предложить ему послать кого-нибудь к машинисту с приказом сбавить скорость, как вдруг нас с огромной силой тряхануло, и мы с ним, как и все солдаты на платформе, попадали вверх тормашками на пол. Бронепоезд, шедший со скоростью уж никак не меньшей, чем сорок миль в час, сбросило с рельсов какое-то препятствие или повреждение путей.

На нашей платформе никто серьезно не пострадал, и я в секунду вскочил на ноги и выглянул из-за брони. Бронепоезд находился в низине примерно в тысяче двухстах ярдах от обращенного к Эсткурту склона вражеского холма. Сотни буров устремлялись вниз с вершины этого холма и кидались в траву, чтобы мгновенно начать плотный ружейный обстрел бронепоезда. Пули свистели над нашими головами и градом барабанили по стальным пластинам. Я пригнулся и принялся обсуждать с Холдейном, что нам делать. Мы порешили, что он с корабельной пушкой и со своими Дублинскими стрелками, располагавшимися в хвосте, попытается загасить огонь противника, я же в это время сбегаю и посмотрю, что сталось с поездом и путями и возможно ли устранить повреждение или препятствие.

Я слез с платформы и пробежал вдоль поезда к его голове. Локомотив стоял на рельсах. Первая платформа, простая вагонетка, перевернулась вверх колесами, и среди ехавших на ней ремонтников были убитые и покалеченные. Следующие две бронированные платформы, везшие Дурбанскую легкую пехоту, сошли с рельсов — одна не упала, вторая лежала на боку. Их развернуло и притиснуло друг к другу, так что они загораживали обратный ход прочим платформам. За этим нагромождением нашли временное укрытие Дурбанские пехотинцы — оглушенные, в синяках, а кое-кто и с увечьями. Противник вел беспрерывный огонь, и вскоре к ружейным выстрелам присоединился гром полевых пушек и близкие разрывы снарядов. В общем, мы влипли.

Когда я был возле паровоза, опять словно бы прямо надо мной разорвалась еще одна шрапнель — начинка так и прыснула из нее, с визгом взрезая воздух. Машинист мгновенно выпрыгнул из кабины и бросился за перевернутую платформу. По его рассеченному осколком лицу текла кровь, и он горестно всхлипывал в бессильном негодовании:

— Я же гражданский, а тут… За что, по их мнению, я деньги получаю? За то, чтобы меня взрывали бомбами? Нет уж, только не я! Так не договаривались! Я и минуты здесь больше не пробуду!

Казалось, что взвинченное состояние и боль — шарахнуло его

и впрямь здорово — не позволят ему вести машину, а поскольку управляться с паровозом мог только он, надежда на спасение гасла. Я принялся ему объяснять, что пуля не бьет в одно место дважды, что раненый, остающийся в строю и продолжающий выполнять свой долг, получает награду за храбрость и что ему, возможно, второй раз такого случая не представится. Услышав это, он взял себя в руки, вытер кровь с лица, влез обратно в кабину своего паровоза и стал послушно исполнять все мои приказания[39].

У меня сложилось мнение, что, используя локомотив в качестве тарана или тягача, можно столкнуть с рельсов две перегораживающие их платформы и таким образом спастись. Сами пути, казалось, не пострадали — рельсы и шпалы были на месте. Пройдя вдоль поезда обратно, я через амбразуру доложил капитану Холдейну о ситуации и поделился с ним своим планом. Холдейн согласился с ним полностью и взялся тем временем отвлекать противника.

Мне очень повезло, что в следующий час я остался цел: приходилось почти постоянно быть на виду у противника, то бегая взад-вперед вдоль состава, то отдавая распоряжения машинисту. Прежде всего требовалось отцепить платформу, наполовину сошедшую с рельсов, от той, что опрокинулась. Для этого паровоз должен был оттащить ее назад, а потом уже окончательно сбросить с путей. Тяжесть бронированной махины, наполовину стоявшей на шпалах, была огромна, и колеса локомотива несколько раз прокрутились вхолостую, прежде чем он сдвинулся с места. Наконец платформу удалось отбуксировать, и я стал звать добровольцев, чтобы те толкали ее сбоку, помогая напирающему сзади паровозу. Я понимал, что этим подвергаю серьезной опасности людей. Нужны были человек двадцать, но добровольцев оказалось только девять, в том числе майор Дурбанской легкой пехоты и четверо или пятеро Дублинских стрелков. Только они и вышли из укрытия. Тем не менее попытка удалась: платформа сильно накренилась под их напором и, когда паровоз в нужный момент наподдал ее сзади, повалилась набок. Путь был свободен! Безопасность и успех уже пьянили голову, но меня ожидало горчайшее разочарование.

Кабина машиниста, будучи примерно на шесть дюймов шире тендера, упиралась теперь в угол только что опрокинутой платформы. Таранить ее с разгону представлялось опасным — не дай бог еще и локомотив сойдет с рельсов. Мы отцепили его от задних платформ и принялись, раз за разом подавая на ярд-полтора назад, долбить в преграду, понемногу ее сдвигая. Но вскоре возникло новое осложнение. Только что сброшенная

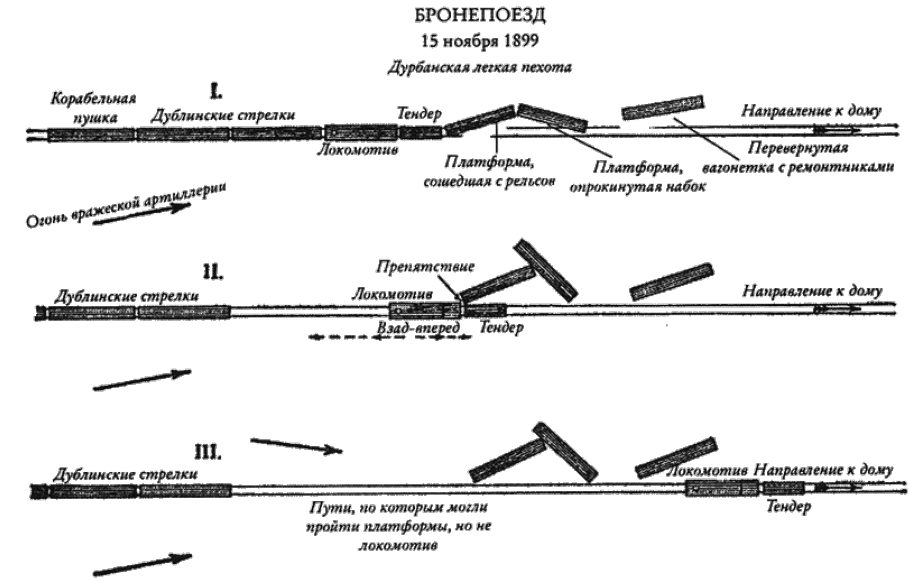
платформа уперлась под прямым углом в ту, что упала раньше сама, и чем больше по ней били, тем крепче она застревала.

Меня осенила догадка, что если своими ударами мы только сильнее вколачиваем одну платформу в другую, то можно поправить дело, опять потянув на себя. Тут, однако, мы столкнулись с новым затруднением. Между сцепками локомотива и перевернутой платформы теперь был зазор дюймов в пять-шесть. Начались поиски запасной стяжки. Повезло хотя бы в этом: она нашлась. Паровоз дернул, и, прежде чем стяжка соскочила, платформа примерно на ярд отползла назад и вбок. Теперь уж нам точно ничто не должно было помешать. Но кабина машиниста опять ткнулась в угол платформы и со скрежетом остановилась. В горячке и нервозности дела я позабыл о себе. Помнится, у меня мелькнула мысль, что все это похоже на беготню перед железной мишенью, по которой лупят и лупят прямой наводкой. Семьдесят минут мы вламывали меж этих лязгающих, корежимых железных ящиков, среди непрестанных взрывов и молотящих по броне пуль, сражаясь с какими-нибудь пятью-шестью дюймами исковерканного металла, которые отделяли опасность, плен и позор от безопасности, свободы и триумфа.

Нашей главной заботой было не пустить под откос и локомотив. Но поскольку артиллерийский огонь все нарастал и еще одно орудие вступило в бой с противоположного фланга, я решился на большой риск. Паровоз был отведен до упора назад и на полном ходу пущен на препятствие. Раздался оглушительный скрежет, локомотив покачнулся на рельсах и проскочил мимо подпрыгнувшей платформы в сторону дома, свободный и, как оказалось, невредимый. Но три наши целые платформы находились в пятидесяти ярдах от паровоза по другую сторону преграды, вновь упавшей туда, где она и лежала. Что было делать? Возвращать паровоз назад немыслимо. Может, вручную подтащить к нему платформы? Они более узкие, чем локомотив, и пройдут без помехи.

Капитан Холдейн, к которому я опять отправился, с этим планом согласился. Он приказал бойцам вылезти из их стального загона и попробовать подтолкнуть его к паровозу. План, выглядевший разумным, рухнул под напором обстоятельств. Платформа была такой тяжелой, что требовались дружные усилия всех, но яростный огонь и нарастающее смятение заставляли людей прятаться за нее. Буры, почувствовав ослабление ответного огня, открыто вылезли теперь на холм и палили что есть мочи. Посовещавшись, мы решили, что паровоз, нагруженный ранеными, которых было теперь изрядное количество, медленно

пойдет по рельсам, а Дублинцы и Дурбанцы станут отступать пешком, хоронясь за машиной, ползущей со скоростью человеческого шага. Более сорока бойцов, истекающих кровью, впихнулись в локомотив и тендер, и мы двинулись вперед. Я находился в кабине машиниста, направляя его. Кабина была так набита ранеными, что трудно было шевельнуться. Кругом рвались снаряды, то режа броню осколками, то взметывая гравий покрытия и обдавая им паровоз с его несчастным человеческим грузом. Скорость возросла, и пехотинцы перестали за ней поспевать, а потом и вовсе отстали. В конце концов я убедил машиниста остановиться, но не прежде, чем мы оторвались ярдов на триста. Впереди уже виднелся мост через реку Блю-Кранц, довольно широкую. Я велел машинисту через него переехать и ждать на том берегу, а сам, протолкавшись к дверце, вылез из кабины и зашагал по шпалам навстречу капитану Холдейну и его Дублинским стрелкам.



Но пока все это происходило, разворачивались и другие события. Не прошел я и двухсот ярдов, как вместо Холдейна и его роты на путях возникли две фигуры в штатском. «Ремонтники», сказал я себе, и тут же, как молния, в мозгу пронеслось: «Буры!» У меня так и стоят перед глазами эти высокие мощные фигуры в черных, треплемых ветром одеждах, в шляпах с обвисшими полями и с ружьями наизготовку — и до них едва ли сто ярдов. Я повернулся и со всех ног бросился вслед за паровозом. Я бежал между рельсами, а буры стреляли мне вслед. Пули вжикали то справа, то слева, чуть ли не касаясь меня. Небольшой отрезок дороги, на котором мы как раз находились, проходил по дну рва

глубиной футов в шесть. Я прижался к откосу. Укрыться было не за чем. Я снова взглянул на тех двоих. Один из них, встав на колено, целился. Единственное, что давало мне шанс, — это движение. И я опять кинулся бежать. Снова послышалось мягкое вжик-вжик, и снова меня даже не зацепило. Дольше так продолжаться не могло. Во что бы то ни стало я должен был выбраться из этого рва, этого чертова коридора! Я метнулся влево и стал карабкаться вверх по откосу. Рядом со мной вскинулся земляной фонтан. Мне удалось невредимым пролезть через проволочное ограждение. Рядом со рвом оказалась маленькая ложбина. Я упал в нее, еле переводя дыхание.

В пятидесяти ярдах от меня стоял маленький каменный домик обходчика — какое-никакое, а укрытие. В двухстах же ярдах начинался крутой скалистый берег реки Блю-Кранц — укрытие куда более надежное. Я решился бежать к реке и поднялся в полный рост. Внезапно на противоположной стороне железнодорожного рва, отделенной от меня рельсами и двумя рядами колючей проволоки, я увидел скачущего во весь опор всадника — высоченного, смуглого, с ружьем в правой руке. Он круто осадил коня и, потрясая винтовкой, что-то мне прокричал. Между нами было всего лишь сорок ярдов. В то утро я, несмотря на свой корреспондентский статус, прихватил с собой маузер. Я подумал, что мне ничего не стоит подстрелить этого человека, и после всего пережитого утром всей душой возжаждал это сделать. Рука моя потянулась к поясному ремню — пистолета там не было. Занимаясь расчисткой пути, когда приходилось то залезать в кабину, то спрыгивать на землю, я снял его. Маузер благополучно вернулся домой. Он и сейчас при мне! А тогда я оказался безоружен. А между тем быстрее, чем я сейчас говорю об этом, бур, не слезая с лошади, взял меня на мушку. Животное словно окаменело, всадник тоже, и я вместе с ними. Я поглядел на реку, поглядел на домик обходчика. Бур продолжал глядеть в прицел. Я понял, что шансов спастись у меня попросту нет: выстрелив, он, несомненно, убьет меня. И я поднял руки вверх, сдаваясь в плен.

«Одинокому и безоружному сдаться в плен не зазорно», — сказал однажды великий Наполеон, и эти слова припомнились мне в последовавшие затем минуты горчайших переживаний. Ведь враг мог и промахнуться, речной обрыв был совсем рядом, а два проволочных ограждения еще стояли нетронутые. Но дело было сделано. Бур опустил ружье и поманил меня к себе. Я повиновался. Продрался сквозь проволоку, перелез через ров и подошел к нему. Он спрыгнул с лошади и принялся палить по удаляющемуся паровозу и нескольким разбегающимся кто куда британцам. Когда из поля зрения исчезла последняя фигурка, бур

вновь сел на лошадь, и я побрел рядом с ним к тому месту, где расстался с капитаном Холдейном и его ротой. Но их я там не увидел. Они уже были в плену. Наконец я заметил, что идет сильный дождь. Пробираясь сквозь высокую траву бок о бок с захватившим меня буром, я вдруг с тревогой, весьма своевременной, вспомнил о двух обоймах патронов для маузера, по десять патронов каждая, находившихся в двух нагрудных карманах моего полевого кителя — правом и левом. Такими патронами я пользовался при Омдурмане, и только они — их еще называют «мягкими» — и подходили для моего маузера. Я и думать забыл об этих патронах, а сейчас вдруг сообразил, насколько опасно иметь их при себе. Правую обойму мне удалось незаметно скинуть на землю. Я уже держал в горсти левую обойму, когда бур, зыркнув вниз, спросил по-английски:

— Что это у тебя там?

— Сам не знаю, — отвечал я, разжимая ладонь, — вот, подобрал только что.

Он взял обойму и, осмотрев, выкинул. Мы продолжали свой путь, пока не нагнали основную массу пленников и не влились в длинную верховую колонну буров, ехавших друг за другом по двое, по трое, не стыдясь прикрываться от ливня зонтиками.

Такова история крушения бронепоезда и моего пленения 15 ноября 1899 года.

Лишь три года спустя, когда бурские генералы прибыли в Англию просить о займе или о какой-либо другой помощи своей совершенно разоренной стране, меня на каком-то неофициальном завтраке представили их первому лицу, генералу Боте. Мы говорили о войне, и я рассказал генералу о том, как был захвачен в плен. Бота выслушал меня молча, а потом спросил:

— Так вы меня не узнаете? Это ж был я. Я взял вас в плен. Самолично! — И в его ярких, выразительных глазах сверкнуло удовлетворение.

В белой сорочке и фраке Боту было не узнать. Помимо роста, стати и смуглости лица — ничего общего с тем яростным воином, представшим передо мной в тот черный день в Натале. Но при всей удивительности этого факта, сомнений он не вызывал. В тогдашнем вторжении в Наталь Бота участвовал как простой ополченец. Войну он не одобрял и в число ее застрельщиков и лидеров не входил. То был его первый бой. Но в качестве рядового он, охваченный азартом преследования, мчался в первых рядах, возглавляя бурские отряды. Так нас свела судьба.

Мало кто из тех, с кем пересекался мой жизненный путь, интересовал меня более, чем генерал Луис Бота. Знакомство,

начатое в самых невероятных обстоятельствах и три года спустя продолженное после нашей удивительной встречи, переросло в дружбу, которой я чрезвычайно дорожил. В этой величественной, мужественной фигуре я видел отца нации, мудрого и предусмотрительного государственного деятеля, истинного воина-землепашца, охотника из дебрей, умного, уверенного в себе одиночку.

Когда в 1906 году он прибыл в Лондон на Имперский конгресс в качестве только что избранного первого премьер-министра Трансвааля, в Вестминстер-Холле был дан грандиозный банкет с приглашением премьер-министров доминионов. Я являлся тогда заместителем министра по делам колоний, и, проходя в зал к своему месту, этот бурский вождь, еще так недавно считавшийся нашим врагом, остановился возле меня и моей матери, стоявшей рядом, и сказал следующее:

— Нас с вашим сыном никогда не страшила непогода. — Что было истинной правдой.

Объем книги не позволяет мне перечислить все случаи, когда на протяжении долгих лет важнейшие общественные дела заставляли меня обращаться к этому исполину и вступать с ним в контакт. Мне первому он открыл романтический свой проект подарить королю знаменитый Куллинанский бриллиант, чистейшей воды и размером превышающий все известные бриллианты по меньшей мере раз в двадцать. Именно мне довелось ратовать за предоставление самоуправления Трансваалю и Оранжевой республике и проводить в палате общин соответствующие законы. Много и часто контактировал я с генералом Ботой и коллегой его Сматсом и потом, в Торговом совете и в адмиралтействе, когда они в течение пятнадцати лет, с 1906-го и до окончания Мировой войны, с таким беспримерным искусством осуществляли руководство своей страной.

Бота всегда чувствовал, что может рассчитывать на мое внимание и расположение. Когда бы он ни посещал Европу, мы многократно с ним виделись — в Совете, на званых ужинах, в домашней обстановке, в различных официальных учреждениях. В 1913 году, возвратившись из Германии, где он лечился на водах, Бота со всей серьезностью предупредил меня об опасных тенденциях, там возобладавших.

— Будьте бдительны и ко всему готовы, — сказал он. — Не доверяйте их руководству. Это опасные люди. Они злоумышляют против вас. Я слышал такое, чего вам не услышать. Приведите в боевую готовность флот. Я нюхом чую, что опасность носится в воздухе! Скажу даже больше, — добавил он, — я тоже заранее подготовлюсь. Когда они нападут на вас, я атакую немецкую юго-

западную Африку и раз и навсегда вышибу оттуда германцев. Мне ничто не помешает в нужный момент исполнить свой долг. А вам с вашим флотом надо быть начеку.

Провидение и совпадение продолжали удивительным образом сплетать наши с ним судьбы. 28 либо 29 июля 1914 года, в разгар недельного кризиса, предшествовавшего всемирному взрыву, я, возвращаясь после времени запросов[40], во Дворцовом дворе встретил одного из южноафриканских министров, мистера Де Граафа, способнейшего голландца и давнего моего знакомого.

— Что же все это значит? — спросил он меня. — Что, по-вашему, назревает?

— Война назревает, — отвечал я. — И думаю, что Британия не окажется в стороне. Понимает ли Бота всю критичность ситуации?

Де Грааф отошел от меня очень озабоченный, я же совершенно выпустил из головы этот разговор, возымевший, однако, последствия.

В тот же вечер Де Грааф телеграфировал Боте: «Черчилль полагает неизбежной войну участием Британии», или что-нибудь в этом роде. Бота находился тогда в северном Трансваале, в Претории же его замещал Сматс, коему на стол и легла телеграмма. Тот взглянул на нее и, отодвинув, продолжал заниматься своими бумагами. Закончив с ними, он опять взглянул на телеграмму. «Может быть, это важно, иначе Де Грааф не телеграфировал бы», — подумал он и передал все буква в букву премьер-министру в северный Трансвааль. Бота получил телеграмму с многочасовым опозданием, но вовремя. Той же ночью он поездом должен был выехать в Делагоа-Бей, откуда утром плыть в Кейптаун на *немецком судне.* Если бы не телеграмма, объявление войны застало бы этого всемогущего южноафриканского национального лидера на судне противника, в чьих руках он бы и оказался в момент, когда огромные районы Южной Африки балансировали на грани открытого мятежа. Трудно измерить то несчастье, которое могло бы постигнуть Южную Африку, произойди это катастрофическое событие. Едва телеграмма была получена, как генерал Бота поспешно переменил свои планы и специальным поездом отбыл в Преторию, успев вернуться вовремя И до начала военных действий.

Его подвиги в ходе этой войны, опасности, которым он подвергался, стойкость и мужество, которые он демонстрировал, популярность и авторитет, которыми он пользовался в народе, тот блеск, с которым он осуществил захват немецкой Южной Африки, его суровые вдохновенные речи на заседаниях

Имперского военного кабинета в 1917 году, его государственная деятельность и благородство поведения на Парижской мирной конференции 1919 года после победы — все это вошло в историю. Я был военным министром, когда он в последний раз покидал Англию. Он зашел в министерство, чтобы повидаться и попрощаться со мной. Мы долго говорили с ним, обсуждая превратности жизни, те ужасные и великие катаклизмы, через которые мы с ним благополучно прошли. В эти победные дни множество высокопоставленных лиц из самых разных стран посещало меня в министерстве, но только его одного я сам проводил по лестнице и посадил в ожидавший его лимузин. Больше я Боту не видел. Он умер вскоре по возвращении на родину, которой служил в дни мира и войны, в горе и радости, в периоды смуты и благостной тишины, являясь истинным спасителем своего народа.

В надежде, что пространное это отступление не вызовет нареканий читателя, я спешу вернуться на верную тропу хронологии. Сидя на земле вместе с другими такими же мокрыми и несчастными пленниками, среди которых были и смертельно раненные, я клял не только судьбу, но и собственное мое решение. Ведь я легко мог уехать на паровозе! И, судя по тому, как расписывали все происшедшее очевидцы, меня бы встретили с распростертыми объятиями. Я же без всякой нужды ввязался в бесполезное дело, чем навлек на себя несчастье. Попытавшись вернуться к отставшим товарищам, я никому не помог, а лишь отрезал себя от войны, сулившей бесчисленные приключения и неограниченные карьерные перспективы. Я вяло размышлял над тем, какие горькие плоды способна приносить добродетель. Однако, умей я предвидеть будущее, я бы понял, что горестному этому происшествию было суждено заложить основу всей моей жизни в будущем. Я не выбыл из строя и не засиделся в плену. Из плена мне удалось бежать, и этим побегом я завоевал себе известность на родине, что обеспечило мне голоса многих избирателей. К тому же пропорционально моей репутации выросли и мои заработки, в течение многих лет позволявшие мне ни от кого не зависеть и баллотироваться в парламент. А вернись я на локомотиве, возможно, меня бы и вознесли до небес и всячески бы обласкали, но месяц спустя я бы мог пасть при Коленсо, как это случилось с несколькими моими коллегами, находившимися при штабе сэра Редверса Буллера.

Но будущее тогда было от меня скрыто, и я стоял в ряду других пленных перед наскоро возведенной палаткой бурского штаба мрачный и удрученный. И уж совсем я приуныл, когда

меня отделили от других пленных офицеров, велев встать поодаль. Я достаточно хорошо усвоил правила и законы войны, чтобы не помнить, что активно участвовавший в боевых действиях штатский, попав в плен в полувоенной форме, даже если сам он не сделал ни единого выстрела, скорее всего, будет немедленно расстрелян по приговору военно-полевого суда. В Мировую войну в любой из армий это решалось в десять минут. Вот почему, стоя тогда в одиночестве под дождем, я терзался смертельной тревогой. Я думал о том, как стану отвечать на короткие резкие вопросы, которые сейчас обратят ко мне, и сумею ли я достойно держаться в случае, если мне объявят, что час мой пробил. Прошло четверть часа, и какое же невероятное облегчение я испытал, когда в результате каких-то совещаний в палатке мне вдруг приказали встать обратно в строй вместе с остальными! А еще через несколько минут вышедший из палатки бурский корнет, к пущей моей радости, объявил:

— Мы не можем отпустить тебя, старина, хоть ты и корреспондент. Не каждый день к нам в плен попадают сыновья лордов!

В общем, паниковать, получается, было нечего. По отношению к представителям белой расы буры оказались гуманнейшими из людей. Другое дело кафры, но, на взгляд бура, убийство белого, даже на войне, — событие ужасное и прискорбнейшее. Буры были самыми добросердечными из всех врагов, с которыми мне довелось соприкасаться на четырех континентах в качестве наблюдателя и участника военных операций.

Короче говоря, было решено, что мы пройдем под конвоем шестьдесят миль до конечно-выгрузочного пункта буров в Эландслаагте, чтобы оттуда проследовать в Преторию в качестве военнопленных.

Глава 20
В заточении

Военнопленный! Это самый привилегированный из арестантов, и все же положение его печально: находиться во власти врага, когда жизнь твоя зависит от его милости, а твой хлеб — от его чувства сострадания, повиноваться его приказам, делать то, что он велит, оставаться где положено, всячески угождать ему и, не теряя выдержки, ждать, ждать долго и терпеливо. А между тем идет война, рядом творится история, открываются широкие просторы для действия, для приключений, но не для тебя. И немыслимо долго тянутся дни. Часы ползут, как парализованные сороконожки. Ничто не радует, не развлекает. Читать трудно, писать невозможно. Жизнь превращается в сплошную томительную скуку — с рассвета до тяжкого, как обухом по голове, сна.

Более того, отвратительна сама атмосфера тюрьмы, даже самой лучшей и прекрасно организованной. Товарищи по заключению ссорятся из-за всякой ерунды и на дух друг друга не переносят. Если ты узник-новичок, то чувствуешь постоянное унижение от необходимости пребывать в замкнутом пространстве, за заборами и колючей проволокой, под охраной вооруженных людей, в тенетах бесконечных правил и ограничений. Каждая минута заточения была мне стократ ненавистнее любого другого периода всей моей жизни. К счастью, плен мой продлился недолго. Меньше месяца прошло с тех пор, как я попал к бурам в Натале, и я опять уже был на воле, среди просторов Южной Африки, свободный, хоть и преследуемый. Возвращаясь памятью к тем дням, я преисполняюсь острейшей жалостью ко всем арестантам и пленникам. То, что должен испытывать любой человек, особенно человек образованный, вынужденный провести годы в современном застенке, непостижимо уму. Каждый день в точности как предыдущий с беспросветным ощущением никчемности прошлой жизни и жутким предчувствием нескончаемой череды дней, которые суждено провести в рабской зависимости. Вот почему впоследствии, будучи министром внутренних дел и имея в своем ведении все тюрьмы Англии, я старался, в рамках общей пенитенциарной стратегии, вносить хотя бы некоторое разнообразие в жизнь заключенных, доставлять им какие-то удовольствия: снабжать образованных книгами, периодически устраивать для остальных всякого рода развлечения, чтобы было

им чего ждать и что вспоминать потом, — словом, облегчать в разумных пределах их тяжелую участь, хоть ими и заслуженную, но очень трудно выносимую. При всем своем отвращении к законному истязанию и даже умерщвлению одного человека другим, я, беря на себя порой ответственность за высшую меру, утешал себя мыслью, что смертная казнь — наказание куда более милосердное, нежели пожизненное заключение.

Узники легко поддаются меланхолии и самым мрачным настроениям. Конечно, когда тебя держат впроголодь, в кандалах, в темнице, ты в этих настроениях сам и варишься. Но если ты молод, сыт, энергичен, не очень тщательно охраняем и имеешь возможность переговариваться и договариваться с другими узниками, настроения твои придают тебе решимости и подталкивают к действию.

Путешествие наше, пешее и поездом, с линии фронта к месту заключения в Претории заняло у нас три дня. Мы обошли осаждаемый бурами Ледисмит, слыша залпы пушек, наших и вражеских, и добрались до станции Эландслаагте. Здесь наша маленькая компания — я, капитан Холдейн и молоденький лейтенант-дублинец по фамилии Франкленд[41] — и примерно пятьдесят солдат были посажены в поезд, который медленно пополз, преодолевая одну сотню миль за другой, в самое сердце вражеской территории. На одной из первых станций к нам подсадили захваченного в тот день патрульного из Имперской легкой кавалерии. Этот солдат, которого звали Броки, был южноафриканским колонистом. Бурам он представился офицером. Поскольку он говорил по-голландски и по-кафрски и хорошо знал местность, мы решили, что это как раз тот человек, который нам нужен, и разоблачать его не стали. В Преторию все мы прибыли 18 ноября 1899 года. Рядовых поместили в загон на ипподроме, нас же, четырех офицеров, — в Государственной образцовой школе. Во время путешествия мы положили любой ценой вырваться на свободу и при каждом удобном случае принимались тихонько обсуждать между собой планы побега. Примечательно, что сбежать из Образцовой школы в разное время и при разных обстоятельствах сумели трое из нас четверых, и, за одним исключением, мы были единственными, кому когда-либо это удалось.

В Образцовой школе вместе с нами оказались и другие офицеры, плененные в первых сражениях, в основном при Николсонс-Нек. Нас, вновь прибывших, поселили в одной спальне, которую мы тут же и начали обследовать со всем возможным тщанием. Одержимые мыслью о побеге, мы с утра до ночи ломали голову над тем, как бы нам его совершить. Очень

скоро мы обнаружили слабые места в системе нашей охраны. Никто не мешал нам перемещаться по территории школы, большую часть дня и ночи за нами почти не следили, и мы были вольны заниматься нашими изысканиями беспрепятственно и непрестанно. Не прошло и недели, как наш изначальный порыв к свободе принял форму дерзкого замысла.

В процессе серьезных совещаний нами был выработан отчаянно и блистательно смелый план. Основывался он на реальных обстоятельствах. В Государственной образцовой школе содержалось примерно шестьдесят военнопленных офицеров с десятью-одиннадцатью британскими денщиками. Охраняли нас около сорока «юарпов» (полицейских из Южноафриканской республиканской полиции). Десятеро из них постоянно ходили вдоль четырех сторон ограды, внутри которой стояло здание школы. Еще с десяток охранников днем уходили в увольниловку в город, остальные же занимались уборкой, чисткой обмундирования, курили, играли в карты или отдыхали в палатке охраны. Палатка эта располагалась в углу прямоугольного двора, и в ночное время в ней спали сном праведников тридцать свободных от дежурства охранников.

Застигнув их врасплох и обезоружив, мы бы сделали первый и очень существенный шаг к освобождению. Прежде всего необходимо было выяснить, как укладываются они на ночь, куда девают ружья и револьверы, многие ли спят прямо в обмундировании — при полном вооружении или хотя бы с револьверами. Днем и ночью мы осторожно вели разведку и в результате выяснили, что практически все охранники, свободные от дежурства, спали, завернувшись в одеяла, на двух рядах коек вдоль боковых стенок палатки. Те из них, которые ночью вообще не должны были заступать на дежурство, разувались и раздевались до белья. Но даже и те, которым через час-другой предстояло сменить товарищей на посту, снимали сапоги, форменные куртки и, что важнее всего, портупеи. Ружья и нагрудные патронташи они сваливали в кучу на импровизированных полках или стойках вокруг палаточных шестов. Получалось, что ночью, в часы между пересменками, когда тридцать охранников безмятежно храпели, отделенные лишь брезентом палатки от шестидесяти решительно настроенных и атлетически сложенных офицеров, они были не в такой уж безопасности, как им мнилось.

У входа в палатку стоял часовой. Кто способен определить заранее, что возможно, а что невозможно? На войне всегда так: не попробуешь — не поймешь. Нам представлялся реальным следующий ход событий: два офицера отвлекут внимание

часового каким-нибудь рассказом или всполошат его вестью о чьей-то внезапной болезни, а в это время двое-трое смельчаков, прорезав брезент, проникнут в палатку сзади и, завладев пистолетами или ружьями, обезвредят едва очнувшихся от сна охранников. Вооруженного часового возьмут на испуг. Однако провернуть эту операцию без единого выстрела и крика было задачей невероятно трудной. Что можно сказать о подобном предприятии? Только то, что военная история, а также, надо добавить, и история криминалистики знала много столь же внезапных и смелых атак. Но, преуспев, мы сделали бы только первый шаг.

Второй целью были десять вооруженных караульных. Сложность этого этапа заключалась в том, что три поста находились за сквозной оградой примерно в ярде от нее. Днем наружные караульные частенько болтали, привалившись к решетке. Однако ночью они к ней не приближались и поэтому были недосягаемой добычей для запертых в клетке львов. Все прочие оставались в пределах ограды. Каждый из этих десяти человек (трех снаружи и семи внутри) требовал особого подхода.

Из этого не следовало, что наша попытка потерпит крах, если один или два караульных, ускользнув, поднимут тревогу. Одолев охрану, завладев оружием и распределив его между собой, мы должны были превратиться в сообщество, превосходящее численностью и, как мы полагали, дисциплиной и смекалкой любой организованный отряд буров, который успел бы собраться против нас хотя бы в течение получаса. А за полчаса можно горы свернуть! Было очевидно, что наиболее благоприятный момент — это два часа ночи, середина смены. Мы имели все основания надеяться, даже допуская возможность мелких просчетов, что, если каждый офицер четко и своевременно выполнит данное ему поручение и если не произойдет никаких сбоев, Образцовая школа будет в наших руках.

Фонари на высоких столбах заливали всю территорию школы ослепительно-ярким электрическим светом. Но ток поступал к ним по проводам, протянутым, как мы обнаружили, через наши спальные помещения. Один из офицеров, разбиравшийся в электричестве, объявил, что в любой миг может, нарушив контакт, погрузить всю школу в кромешную тьму, и однажды ночью ради эксперимента это проделал. Таким образом, если бы мы отключили свет, скажем, через минуту после сигнала о захвате палатки охранников, то нам не так уж и трудно было бы совладать с растерявшимся караулом. И наконец, в гимнастическом зале Образцовой школы имелся порядочный запас гантелей. Неужели трое отчаявшихся и целеустремленных

мужчин, вооруженных гантелями, не справились бы в темноте с одним караульным, пускай и вооруженным, но ничего не видящим и не понимающим, что происходит? Если бы мы захватили палатку охранников, скрутили бы и разоружили большую часть караульных, обеспечили бы тридцать офицеров револьверами и еще тридцать — ружьями (и это в самом сердце Претории, во вражеской столице), первый и самый трудный этап нашего великого и романтического предприятия был бы успешно завершен. Ну, а потом?

В полутора милях от Образцовой школы находился местный ипподром, где за ограждением из колючей проволоки содержались более двух тысяч британских военнопленных — солдат и сержантов. Мы держали с ними связь и могли бы посвятить их в наш план. Способ общения мы нашли чрезвычайно простой. То один, то другой из дюжины британских солдат, исполнявших в школе денщицкие обязанности, совершал какую-нибудь оплошность, и его отсылали назад на ипподром, заменяя другим. Поэтому мы были прекрасно осведомлены и о настроениях двух тысяч наших пленных соотечественников, и об условиях, в которых они жили. Нам стало известно, что среди них растет недовольство. Они страдали от однообразия, от скудости питания, от плохих условий. Их одолевал голод и гнев. Был случай, когда они накинулись на караульного, и, хотя до кровопролития дело не дошло, мы понимали, как трудно бурам удерживать в повиновении такую толпу. По словам наших информаторов, охраняли этот огромный загон с людьми всего сто с небольшим «юарпов» и два пулемета. Конечно, и такие силы, будучи в полной боевой готовности, в состоянии потопить в крови любой мятеж. Но представьте себе, что в момент, когда он вспыхивает, за спинами охранников вырастают шестьдесят вооруженных офицеров! Что на пулеметчиков нападают с тыла! Что две тысячи мятежников, действующих по намеченному плану, атакуют с фронта! Кто поручится, что в ночной темноте и общей сумятице численность и организованность не одержат верх? Значит, и на втором этапе нас ждал бы успех. А дальше?

Во всей Претории не набиралось и пятисот человек, способных держать в руках оружие; в основном это были откупившиеся от фронта богатеи, не пригодные для службы калеки, правительственные чиновники, клерки правительственных контор и т. д. Официально они назывались городской милицией, и им были розданы винтовки. Но этим организация их и ограничивалась. Если бы мы осилили первый шаг, второй стоил бы нам гораздо меньшего труда, а третий — и того меньшего. В воображении мы уже видели себя хозяевами

вражеской столицы. В фортах оставались только смотрители, все прочие воевали. Защищенные пушками от нападения извне, изнутри форты почти не были укреплены. Если бы мы овладели городом, то и их заняли бы в два счета. Ближайшие британские части находились от нас в трех сотнях миль. Но в случае удачи мы, как по волшебству, сделались бы владыками укрепленной столицы противника, имеющими достаточно сил, продовольствия и боеприпасов, чтобы продержаться так же долго, как Мафекинг, если не дольше.

Вся операция должна была уложиться в ночь. А когда нам следовало ждать первой вражеской атаки? Вряд ли ранее, чем через несколько дней. Мы успеем захватить главный железнодорожный узел Южно-Африканской Республики, откуда отходят линии на север, восток и запад. Вышлем в этих направлениях поезда, чтобы, отъехав на разумное расстояние — миль этак на сорок-пятьдесят, — они на обратном пути взорвали за собой все мосты и водопропускные трубы. Выиграв таким образом время, мы организуем оборону города. Потрясающая перспектива! Проснувшись утром, буры вдруг обнаруживают, что столица их захвачена военнопленными, которых они так опрометчиво собрали в одном месте, не обеспечив должную охрану! Скольких бойцов потребуется им отозвать с фронта, чтобы осадить город? Конек буров — сражения на открытой местности. За всю войну им ни разу не удалось штурмовать укрепленные позиции. Вспомним Кимберли, Мафекинг, Ледисмит. Перед окопами и брустверами они пасуют. Бескрайние просторы вельда — вот их стихия. Так что, завладев Преторией, мы засядем в ней надолго. И какая это будет громкая победа! Президент Крюгер и его правительство станут нашими пленниками! Крюгер заявлял о своем желании «ошеломить человечество». Вот тут-то мы и ошеломим его самого.

А имея на руках такие козыри, мы добьемся заключения почетного мира и закончим распрю дружеским и справедливым соглашением, которое положит конец кровопролитию! То была великая мечта. Много дней мы жили только ею. Самые ретивые принялись даже шить «Юнион Джек», чтобы в час «ч» выступить под стягом. Но мечта осталась мечтой. Два или три старших офицера, находившихся среди нас, ознакомившись с нашим планом, решительно его осудили, и я, конечно, не возьмусь оспаривать их правоту. Помнится, в одной комической опере злодей торжественно возглашает: «Погонщики мулов, числом двадцать тысяч, идут на город с ножами». — «Так где ж они, что ж их не видно?» — спрашивают его. «Полиция путь им закрыла». Вот то-то и оно. Десять караульных, при оружии и при

исполнении, — это, может быть, и маленькая помеха грандиозному свершению, но в нее все уперлось. Оставив наши коллективные замыслы, мы задумались над тем, как нам улизнуть поодиночке.

Глава 21
Я бегу от буров — I

Впервые три недели плена, замышляя вместе со всеми то мятеж, то побег, я одновременно одолевал бурское начальство требованиями отпустить меня, простого корреспондента, на волю. Мне отвечали, что я лишился нестроевого статуса, приняв участие в стычке у бронепоезда. Я утверждал, что ни разу не выстрелил и был взят безоружным. Что соответствовало истине. Но во всех натальских газетах засели буры. Они красочно расписывали мои подвиги и винили лично меня в угоне локомотива с ранеными. Поэтому генерал Жубер заявил, что, освободив локомотив, пусть и без единого выстрела, я сорвал боевую операцию буров и, следовательно, должен разделить участь военнопленных. Узнав об этом приговоре в первую неделю декабря, я решил бежать.

Далее я дословно привожу тогдашние мои записи, править которые не берусь.

«Государственная образцовая школа помещалась посреди прямоугольного двора, обнесенного с двух сторон железной решеткой и с двух — забором из рифленого железа футов десяти высотой. Энергичному молодцу ничего не стоило бы перемахнуть через такую ограду, но вооруженные ружьями и револьверами караульные, стоявшие в дозоре по периметру территории с интервалами в пятьдесят ярдов, делали это препятствие почти неодолимым. Живая стена — самая непроницаемая из всех.

Пораскинув мозгами и понаблюдав, кто-то из нас подметил, что, когда караульные на восточной стороне прохаживаются взад-вперед, из поля их зрения временами выпадают несколько футов ограды над будкой-уборной. Возвышавшиеся в центре двора электрические фонари заливали ослепительным светом всю территорию школы, но восточный забор был затенен. Таким образом, задача состояла в том, чтобы перебраться через него незаметно для двух караульных, дежуривших у подсобок. Следовало подловить момент, когда оба они повернутся к уборной спиной. За оградой начинался сад соседней виллы. Далее наш план не простирался. Все, что ждало беглеца после, тонуло во мраке неизвестности. Как выскользнуть из сада, как

пройти по улицам, как миновать патрули на окраинах города и, самое главное, как одолеть двести восемьдесят миль до португальской границы? — эти вопросы предстояло решать по ситуации.

Одиннадцатого декабря я, в сговоре с капитаном Холдейном и лейтенантом Броки, предпринял куцую попытку: довести дело до конца мне не хватило духу. Зайти-то в уборную было просто. А вот вскарабкаться оттуда на забор в пятнадцати ярдах от караульных значило подвергнуть себя смертельной опасности. Охранники сразу приметили бы оседлавшего ограду смельчака, вздумай они только обернуться и посмотреть! И откуда знать, что взбредет им в голову: просто окликнуть или начать палить. Тем не менее я решил, что на следующий день непременно пойду ва-банк, и будь что будет. По мере того как двенадцатое декабря клонилось к закату, мой страх все более перерастал в безрассудство отчаяния. Вечером, после того как двое моих друзей возвратились, не дождавшись подходящего случая, я пересек двор и уединился в будке. Сквозь щель в металлической стенке я наблюдал за караульными. Какое-то время они торчали на месте, как запрещающие столбы. Но вот один повернулся и направился к товарищу, они разговорились. Оба стояли спиной ко мне.

Сейчас или никогда! Я вскочил на стульчак, ухватился за верх ограды и подтянулся. Дважды я малодушно сползал вниз, но на третий раз сделал рывок и закинул ногу на забор. Переваливаясь через него, я зацепился жилетом за какую-то декоративную завитушку и томительное мгновение выпутывался. Напоследок мой взгляд ухватил спины караульных, которые по-прежнему беседовали в пятнадцати ярдах от уборной. Один раскуривал сигарету, и мне до сих пор отчетливо видятся его осветившиеся ладони ковшиком. Я бесшумно спустился в сад и присел в кустах. Свободен! Первый шаг был сделан, назад дороги нет. Оставалось ждать, когда подоспеют мои товарищи. Кусты в саду служили хорошим укрытием, в лунном свете их тень чернотой заливала землю. В нетерпении и тревоге я провел там час. По саду ходили туда-сюда люди, а раз какой-то мужчина приблизился чуть ли не вплотную и посмотрел прямо на меня. Где же другие? Почему не пробуют перелезть?

Вдруг я услышал голос из-за стены:

— Осечка.

Я подполз ближе. За стеной прогуливались два офицера. Они сыпали латинскими словами, хохотали, несли какую-то

тарабарщину, в потоке которой я разобрал свое имя. Я осторожно кашлянул. Один продолжал громко тараторить, а другой медленно и четко проговорил:

— Им не выбраться. Караул начеку. Вышла осечка. Ты можешь вернуться?

И тут все страхи разом оставили меня. Вернуться я не мог. Шансы незаметно перелезть через забор равнялись нулю. Да и спасительного стульчака с этой стороны не было. Сама судьба указывала мне путь. А кроме того, я подумал: „Меня, конечно, схватят, но я хоть немного, да развлекусь“ и сказал офицерам:

— Я пойду один.

Теперь у меня был именно тот настрой, с каким и нужно пускаться в авантюры, — почти уверенный в неудаче, я не боялся рисковать. Любой риск казался менее страшным, чем неизбежность. Ворота, выводившие из сада на дорогу, отделялись всего несколькими ярдами от еще одного караульного поста. „Toujours de l’audace!“[42] — сказал я себе, надвинул на глаза шляпу, вышел на середину сада, прошествовал мимо дома, даже не пригибаясь под окнами, шагнул за ворота и свернул налево. От караульного я был менее чем в пяти ярдах. Многие охранники знали меня в лицо. Понятия не имею, посмотрел он мне вслед или нет, — я не оглянулся. С огромным трудом я удерживался от того, чтобы побежать. Пройдя сотню ярдов и не услышав окрика, я понял, что одолел второе препятствие. Я был сам по себе в Претории.

Держась середины дороги и что-то напевая, я словно совершал ночную прогулку. Улицы кишели горожанами, но никто не обращал на меня внимания. Скоро я оказался в предместье и на каком-то мостике присел пораскинуть мозгами. Я находился в центре вражеской страны. Мне не к кому было обратиться за помощью. Почти три сотни миль пролегли между мной и Делагоа-Бей. О моем побеге станет известно на рассвете. Сразу начнутся розыски. При этом все выходы блокированы. В городе выставлены пикеты, провинция патрулируется, поезда обыскиваются, железная дорога охраняется. На мне был гражданский, кофейного цвета фланелевый костюм. В кармане его лежали семьдесят пять фунтов и четыре плитки шоколада, а компас и такая нужная в пути карта, опиумные таблетки и мясные кубики для поддержания сил остались в карманах моих друзей, в Образцовой школе. И что совсем скверно: я ни слова не знал ни по-голландски, ни по-кафрски — как же мне покупать еду и спрашивать дорогу?

ПЛАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗЦОВОЙ ШКОЛЫ

Но страха не было и в помине — он улетучился вместе с надеждой. Составился план. Я найду железную дорогу на Делагоа-Бей. Без карты и компаса придется, невзирая на пикеты, идти вдоль нее. Я взглянул на звезды. Ярко светил Орион. Всего год назад он вывел меня, заблудившегося в пустыне, на берега Нила, к воде. Теперь он поведет меня к свободе. Ни без того, ни без другого я жить не мог.

Пройдя с полмили на юг, я наткнулся на железнодорожные пути — то ли линию на Делагоа-Бей, то ли ветку на Питерсбург. Первая должна была вести на восток. Эта же, насколько я мог судить, уходила на север. А может, она просто вилась между холмами? Я решил идти вдоль путей. Прекрасная была ночь. Прохладный ветерок овевал лицо, восторг распирал грудь. В конце концов я свободен — пусть даже на час, это уже кое-что. Приключение все больше захватывало меня. Без небесного заступничества я спастись не мог. К чему тогда предосторожности? Я бодро шагал по шпалам. Там и сям помигивали патрульные огоньки. На мостах стояли дозорные. Я миновал их всех, делая маленькие détours[43] в самых опасных местах и ничего не остерегаясь. Может, именно поэтому побег мой удался.

Идя, я совершенствовал свой план. Пешком мне не одолеть три сотни миль до границы. Надо вспрыгнуть на проходящий поезд и укрыться под лавкой, на крыше, на буферах — где угодно. Мне вспомнился побег из школы Пола Балтитьюда в „Vice Versa“[44]. Я представил себе, как выныриваю из-под лавки перед каким-нибудь толстяком пассажиром первого класса и подкупом или силой склоняю его к сообщничеству. Какой же поезд выбрать? Ясное дело, ближайший. После двух часов ходьбы

впереди замаячили сигнальные фонари станции. Спустившись с полотна, я обогнул платформу и залег под откосом ярдах в двухстах от нее. Я рассудил так: после остановки поезд не сразу возьмет разгон и проедет мимо меня на небольшой скорости. Прошел целый час. Терпение мое стало иссякать. Вдруг я услышал свисток и нарастающий рокот. Вспыхнули желтые головные фонари локомотива. Пять минут поезд стоял на станции, потом шумно запыхтел, выбрасывая пары. Я скрючился под насыпью, мысленно проигрывая свои будущие действия. Надо пропустить локомотив, иначе меня увидят. И мчаться к вагонам.

Поезд тронулся медленно, но скорость набрал быстрее, чем я ожидал. Слепящие огни неслись на меня. Рокот перерос в грохот. Надо мной нависла громадная масса. Силуэт машиниста на фоне пышущей топки, черный профиль машины, клубы пара мелькнули и скрылись. Я выскочил на насыпь, за что-то схватился, сорвался, опять схватился, снова сорвался, вцепился в какую-то ручку, повис, пересчитывая носками ботинок рельсы, и с трудом вытянул себя на буфер пятой от головы поезда платформы. Это оказался товарняк, и платформа была забита кулями, мягкими кулями, покрытыми угольной пылью, — в них ехали обратно на шахту пустые мешки из-под угля. Я вполз повыше и зарылся в эти кули. Через пять минут я исчез под ними. Мне было тепло и удобно. Может, машинист видел, как я бежал к поезду, и на следующей станции поднимет тревогу — а может, и нет. Куда идет поезд? Где его будут разгружать? Действительно ли это направление на Делагоа-Бей? Что делать утром? А-а, пустое. Повезло сегодня — и хорошо. Дальше — по обстоятельствам. Я расположился поспать, и, поверьте, нет колыбельной лучше перестука колес поезда, уносящего беглеца от вражеской столицы со скоростью двадцать миль в час.

Не знаю, сколько времени я спал, но проснулся внезапно и без следа недавней веселости, с гнетущим сознанием наваливающихся забот. Сойти с поезда нужно было до рассвета, чтобы успеть напиться где-нибудь в прудике и еще затемно найти укрытие. И дожидаться, когда меня выгрузят вместе с мешками, не стоило. Я выбрался из своего уютного гнездышка и опять сел на буферный штырь. Поезд шел с приличной скоростью, но я понимал, что пора слезать. Я ухватился за скобу сзади платформы, сильно оттолкнулся левой рукой и прыгнул. Мои ноги, влепившись в землю, сделали два гигантских шага, и в следующую секунду я распластался во рву, здорово оглоушенный, но невредимый. Поезд, мой верный ночной товарищ, продолжал свой путь.

Было еще темно. Вокруг широко раскинулась выстланная

высокой росистой травой долина в окружении низких холмов. Я поискал воду в ближайшей балке и скоро обнаружил чистую лужицу. Я умирал от жажды, но, даже напившись, продолжал пить, запасаясь на целый день.

Скоро начало светать, небо на востоке позолотилось и заалело, расчерченное поперек грузными темными облаками. Я с облегчением увидел, что рельсовый путь идет прямо к солнцу. Выходит, я выбрал правильную дорогу.

Вволю напившись, я направился к холмам, рассчитывая спрятаться там, и, поскольку совсем рассвело, углубился в рощицу на склоне глубокой лощины. Здесь я хотел отсидеться до сумерек. Одно утешало: никто в целом мире не знал, где я нахожусь, — как не знал этого и я сам. Было четыре часа. От вечера меня отделяли четырнадцать часов. Мое страстное желание действовать, пока не иссякли силы, растянуло их вдвое. Поначалу я сильно зяб, но постепенно солнце набрало мощь, и к десяти часам уже припекало нещадно. Мне составлял компанию огромный стервятник, проявлявший нездоровый интерес к моей особе и время от времени разражавшийся диким зловещим клекотом. С моего бугра мне открывалась вся лощина. В трех милях к западу лежал городок под жестяными крышами. Однообразие холмистой местности скрашивали разбросанные там и сям фермы, утопающие в зелени. У подножия холма расположился кафрский крааль, фигурки его обитателей сновали по пашням и вокруг пасущихся на лугах коз и коров… За весь день я съел только плитку шоколада, которая, вкупе с жарой, вызвала нестерпимую жажду. Прудик был всего в полумиле, но я не решился оставить мое лесное убежище: по долине то и дело проходили и проезжали белые люди, а один бур завернул в рощу и дважды пальнул по птицам совсем рядом со мной. Однако меня никто не заметил.

Запал минувшей ночи выгорел, наступил чудовищный спад. Я был очень голоден, перед побегом я не обедал, а шоколад, хоть и подкрепляет, сытости не дает. Мне бы хорошенько выспаться, но сердце так колотилось, нервозность и растерянность были такими, что об отдыхе я и не думал. Я перебирал в уме все возможные исходы своей эскапады. Словами не передать, каким страхом и омерзением я преисполнялся при мысли о том, что меня поймают и вновь водворят в Претории. Я не находил утешения ни в одном из философских наставлений, которыми иные щеголяют в часы душевной и физической крепости и покоя. В беде, как оказалось, от них толку мало. С ужасающей ясностью я осознал, что никакими потугами своего слабого ума и тела я ничего не добьюсь и что мне не уйти от врагов без помощи

Высшей Силы, которая вмешивается в вечный ход причин и следствий чаще, чем мы это признаем. Я долго и истово молил поддержать и наставить меня. И моя мольба, как мне кажется, была услышана и вскоре чудесным образом исполнена».

Эти строки я написал много лет назад, еще под впечатлением от пережитых событий. Больше я не мог тогда сказать, иначе помогшие мне люди поплатились бы свободой, а то и самой жизнью. Уже много лет как эти опасения отпали. Пришло время рассказать, что было дальше и как мое почти безнадежное положение обернулось огромной удачей.

Весь день я внимательно следил за железной дорогой. В обе стороны прошли два-три поезда. Я рассудил, что ночью пройдет столько же. На один из них я и собрался сесть, несколько скорректировав свои вчерашние действия. Я заметил, как медленно поезда, особенно длинные товарные составы, берут крутые подъемы. Иногда они двигались чуть ли не со скоростью пешехода. Нетрудно было выбрать такое место, где путь не только идет вверх, но и изгибается, и вспрыгнуть на платформу с внешней стороны дуги, когда локомотив и вагон с конвоирами скроются за поворотом и ни машинист, ни охрана меня не увидят. План представлялся во всех отношениях разумным. Я так же сойду с поезда до рассвета, отмахав за ночь шестьдесят-семьдесят миль. До границы останутся полторы сотни миль. И почему не проделать то же самое опять? Что мешает? Ничто не мешает. Три долгих ночных броска — и я на португальской территории. Две-три плитки шоколада и полный карман галетных крошек — достаточный запас, чтобы худо-бедно продержаться, не подвергая себя страшному риску быть схваченным при первом же обращении за помощью. В этом настроении я торопил наступление темноты.

Долгий день кончался. Западные облака вспыхнули огнем; тени холмов протянулись через равнину; по дороге к поселку медленно полз бурский фургон, влекомый длинной упряжкой; кафры собрали скот в загоны вокруг крааля; свет мерк, и скоро совсем стемнело. Тогда — и ни минутой раньше — я покинул свое убежище. Я устремился к полотну через бурьян и буераки, по пути напившись из ручья вкусной холодной воды. Я направлялся к тому месту, где поезда, как я видел, еле-еле тащились в гору, и скоро нашел заворот, подходивший мне по всем параметрам. Укрывшись за кустиком, я ждал и надеялся. Минул час, минули

два часа, три — поезд не появлялся. Последний прошел шесть часов назад — я специально заметил время. Пора уже быть следующему. Истек еще час — нет поезда! Мой план трещал по швам, надежды улетучивались. В конце концов, не исключено, что на этом участке поезда вообще в ночные часы не ходят. Так оно и было, и я бы напрасно ждал до рассвета. Однако где-то после полуночи терпение мое лопнуло и я двинулся вдоль путей, решив пройти хотя бы десять-пятнадцать миль. Я не далеко ушел. Каждый мост охраняли вооруженные люди, и через каждые несколько миль стояли бараки. Часто попадались станции, вокруг которых теснились поселки под жестяными крышами. Весь вельд был залит ярким светом полной луны, и мне приходилось огибать опасные места, иногда даже ползком. Удаляясь от полотна, я вяз в трясинах и болотах, продирался сквозь обсыпанную росой высокую траву, переходил вброд речушки, через которые были перекинуты железнодорожные мосты. Скоро я вымок по пояс. Месяц в заключении, без физических упражнений, сделал свое дело — ходьба, голод и недостаток сна быстро истощили меня. Впереди показалась станция. Это была обыкновенная платформа посреди вельда в окружении нескольких домов и бараков. Но рядом, на запасных путях, чернели три длинных товарняка — ясно, их поставили туда на ночь. И ясно, что движение по дороге не было регулярным. Эти три замерших в лунном свете состава подтвердили мои опасения: на этом участке поезда ночью не шли. На что же годился тогда мой план, еще днем представлявшийся мне столь чудесным и верным?

Я испытал искушение забраться прямо сейчас на один из товарняков, зарыться в кладь и катить вперед весь следующий день — а может, и следующую ночь, если получится. Однако — куда они направляются? Где они встанут? Где их будут разгружать? Влезь я в вагон — и жребий брошен. Меня могут с позором выгрузить и арестовать в Уитбэнке или Мидделбурге — да на любой станции на двухсотмильном пути до границы. Прежде чем решиться на такой шаг, необходимо выяснить, куда идут эти поезда. А значит, нужно попасть на станцию, изучить бирки на вагонах и грузах: может, они что-нибудь подскажут. Я по-пластунски добрался до платформы и пополз между двумя длинными составами на боковых путях. Едва я поднялся, чтобы рассмотреть маркировку вагона, как меня спугнули донесшиеся из-за поезда громкие голоса, которые быстро приближались. Несколько кафров смеялись и шумно галдели на своем лишенном модуляций языке, и еще мне послышалась речь европейца, который вроде бы им возражал или что-то приказывал. Этого мне хватило с лихвой. Я ретировался к концу запасных путей и

нырнул в траву бескрайней равнины.

Ничего не оставалось как брести дальше — все более бесцельно и безнадежно. На меня нагоняли черную тоску мерцавшие там и сям окна; за ними в тепле и уюте обитали люди, но мне туда ход был заказан. Вдали на озаренном луной горизонте вскоре ярко засверкали шесть-восемь больших огней, явно принадлежавших вокзалу — либо Уитбэнка, либо Мидделбурга. В темноте слева забрезжили два-три световых пятнышка. Это точно светились не дома, но что именно и как далеко, я определить не мог. В конце концов я склонился к мысли, что это костры кафрского крааля, и счел самым разумным поспешить туда, пока еще несут ноги. Я слышал, что кафры ненавидят буров и дружески расположены к британцам. Во всяком случае, они, может быть, не арестуют меня. Может, накормят и дадут переспать в сухом месте. Хотя я не знал ни слова по-кафрски, однако надеялся объясниться с ними посредством британских банкнот. И даже добиться от них помощи. Проводник, лошадь, но прежде всего отдых, тепло и еда — таковы были главные мои побудительные мотивы. Я пошел на костры.

Должно быть, я промахал с милю, держась этого решения, как вдруг осознал его зыбкость и опрометчивость. Я развернулся и направился назад к полотну. На полпути я резко остановился и сел на землю в совершенном замешательстве, не понимая, что делать, куда идти. Внезапно все мои сомнения сами собой исчезли. И развеяли их отнюдь не доводы рассудка. Просто я явственно ощутил, что меня влечет в кафрский крааль. Мне, бывало, случалось водить спиритической планшеткой с карандашом, в то время как пальцы других участников сеанса лежали на моем запястье. Вот так же бессознательно либо подсознательно я действовал и теперь.

Я быстро зашагал к огням, прикинув поначалу, что от железнодорожной дороги до них не более двух миль. Не тут-то было. Через час-полтора они казались такими же далекими, как прежде. Но я упорно продолжал идти и где-то между двумя и тремя часами ночи сообразил, что это вовсе не костры кафрского крааля. Нарисовались ломаные контуры строений, и вскоре мне стало ясно, что я подхожу к группе домов, обступающих горловину угольной шахты. Был отчетливо виден шкив подъемника, полыхали машинные топки, которые и приманили меня издалека своим заревом. Совсем рядом с шахтой, в окружении более хлипких построек, стоял небольшой, но основательный двухэтажный каменный дом.

Я присел в траве, чтобы внимательно рассмотреть эту

картину и решить, что предпринять. Еще не поздно было поворотить назад. Но там меня не ждало ничего, кроме бессмысленных блужданий, которые окончатся голодом, лихорадкой, поимкой либо добровольной сдачей. Здесь же мне представлялся шанс. Еще до побега я слышал, что в угольном бассейне Уитбэнка и Мидделбурга довольно много англичан-резидентов, которым позволили остаться в стране, чтобы не замирала работа на шахтах. Может, на одного я и набрел? Кто обитает в этом окутанном тьмой и тайной доме? Британец или бур, друг или враг? Вариантов было множество. В кармане у меня лежали семьдесят пять фунтов в английских банкнотах.

Назвавшись, я мог бы смело посулить и тысячу. Вдруг повезет встретить какого-нибудь нейтрала, который по доброте душевной либо за большие деньги поможет мне в моем мучительном и отчаянном положении. Если предпринимать попытку сторговаться, то конечно же только сейчас — сейчас, пока я еще в силах за себя постоять и даже вырваться в случае неблагоприятного поворота дела. Однако опасность была очень велика, и колени подо мной едва не подламывались, когда я ступил из мерцающего полумрака вельда на освещенный топками круг, приблизился к молчаливому дому и кулаком постучал в дверь.

Ни звука в ответ. Я снова постучал, и почти сразу наверху зажглось и открылось окно.

— Wer ist da?[45] — прокричал мужской голос.

От разочарования и испуга у меня кровь застыла в жилах.

— Мне нужна помощь. Несчастный случай.

Наверху что-то буркнули. Потом я услышал спускающиеся шаги, звякнул засов, в замке повернулся ключ. Рывком распахнулась дверь, и в темноте коридора передо мной возник наспех одетый высокий мужчина с темными усами на бледном лице.

— Что вам нужно? — теперь уже по-английски спросил он.

Надо было срочно придумать какую-нибудь байку. Я хотел любой ценой завязать с этим человеком разговор, представить дело в таком свете, чтобы он не забил тревогу и не позвал других, а спокойно во всем разобрался.

— Я ополченец, — начал я. — Произошел несчастный случай. Я ехал к моему отряду в Коматипорт. Мы дурачились, и я свалился с поезда. Был без сознания несколько часов. Похоже, вывихнул плечо.

Поразительно, как такое приходит в голову. Я выпалил это без запинки, словно заученный урок, а ведь я понятия не имел, что наплету и даже какой будет следующая фраза.

Незнакомец пристально вгляделся в меня и, поколебавшись, сказал:

— Ладно, входите.

Он попятился, отворил дверь боковой комнаты и ткнул левой рукой в ее темноту. Я прошел мимо него и шагнул внутрь, гадая, не в тюрьму ли я попал. Он вошел следом, чиркнул спичкой, зажег лампу и поставил ее на стол с противоположного от меня конца. — Я находился в небольшом помещении, явно служившем одновременно гостиной и кабинетом. Помимо большого стола я увидел конторку, два-три стула и устройство для приготовления содовой воды — два помещенных один на другой стеклянных шара в проволочной оплетке. Хозяин положил перед собой на стол револьвер, который до этого, вероятно, держал в правой руке.

— Думаю, было бы хорошо, если бы вы рассказали побольше об этом вашем дорожном происшествии, — после долгой паузы произнес он.

— Думаю, самое лучшее, — ответил я, — сказать вам правду.

— Думаю, что так, — проговорил он с расстановкой.

«Была не была!» — пронеслось в голове, и я выложил сразу все.

— Я Уинстон Черчилль, военный корреспондент «Морнинг пост». Прошлой ночью я бежал из Претории. Направляюсь (направляюсь!) к границе. У меня много денег. Вы поможете мне?

Снова воцарилось молчание. Мой собеседник медленно поднялся из-за стола и запер дверь, что очень меня насторожило и, действительно, могло расцениваться как угодно. Однако, повернув ключ в замке, он ринулся ко мне и протянул руку:

— Слава Господу, что пришли сюда! Это единственный дом на двадцать миль, где вас не выдадут. Мы все тут британцы, и мы вас выручим.

Вечность прошла с тех пор, но легче оживить в памяти, чем выразить словами нахлынувшее чувство облегчения. Минуту назад я думал, что попал в ловушку, — и вдруг судьба дает мне друзей, еду, кров, помощь. У меня были ощущения человека, которого спасли от утопления и тут же порадовали известием, что он выиграл дерби!

Хозяин представился: мистер Джон Хауард, управляющий Трансваальскими угольными копями. За несколько лет до войны он натурализовался в Трансваале. Сыграв на своем британском происхождении и подмаслив коменданта округа, мистер Хауард избавил себя от обязанности сражаться с британцами. Его оставили с несколькими помощниками откачивать воду и вообще поддерживать шахту в исправном состоянии, пока не

возобновится добыча угля. Помимо секретаря, тоже британца, при нем были механик из Ланкашира и два забойщика, шотландцы. Все четверо имели британское подданство и, дабы избежать высылки, обязались соблюдать строжайший нейтралитет. Сам мистер Хауард, как гражданин Республики Трансвааль, укрывая меня, рисковал быть обвиненным в государственной измене и расстрелянным, если бы его поймали с поличным или разоблачили потом.

— Ничего, — сказал он, — как-нибудь все устроим. — И добавил: — Комендант вертелся здесь вчера, выспрашивал про вас. Они рыщут вдоль всей дороги и по окрестностям.

Я сказал, что не хочу подводить его.

Пусть только снабдит меня едой, пистолетом, проводником и, если получится, лошадью, и я сам буду пробираться к морю, делая ночные переходы, не приближаясь к железной дороге и сторонясь населенных мест.

Мистер Хауард и слышать об этом не захотел. Обязательно все устроится. Только нужно соблюдать крайнюю осторожность. Везде шпионы. В доме две горничные-голландки, они и спят тут. В служебных помещениях и у насосов работает много кафров. Перебирая в уме все угрозы, он глубоко задумался.

И вдруг:

— Вы же голодный!

Я не стал возражать. Хозяин заторопился на кухню, велев мне пока что заняться бутылкой виски и уже упомянутой мной машиной с содовой водой. Немного спустя он появился с доброй половиной холодной бараньей ноги и прочими вкусными разностями и, предоставив мне воздать им должное, покинул комнату и вышел из дома через заднюю дверь.

Мистер Хауард вернулся не ранее чем через час. За это время мое физическое благополучие пришло в гармонию с просветлевшей будущностью. Я был уверен в успехе и готов ко всему.

— Порядок, — сказал мистер Хауард. — Я поговорил с ребятами, они все за. Нужно будет спустить вас в забой, вы там побудете, пока мы не придумаем, как вывезти вас из страны. С одним будет трудно, — прибавил он, — с едой. Голландка считает каждый кусок, который я отправляю в рот. Кухарка заинтересуется, куда девалась баранья нога. Ночью я все это обмозгую. А в забой надо спускаться прямо сейчас. Мы вас там хорошо устроим.

Уже занимался рассвет, когда хозяин провел меня через дворик внутрь ограждения, где стояла подъемная машина. Плотный мужчина, назвавшийся мистером Дьюснэпом из

Олдхема, со зверской силой сдавил мою ладонь.

— В следующий раз они все за вас проголосуют, — шепнул он.

Открылась дверца, я шагнул в клеть, и мы низверглись в недра земные. Внизу нас уже ждали два шотландца-забойщика с фонарями и большим узлом — как позже выяснилось, с матрасом и одеялами. Некоторое время мы шли непроглядно-темным лабиринтом, часто сворачивали, кружили, поднимались, спускались и наконец остановились в своего рода комнате с прохладным и чистым воздухом. Шотландец скинул на землю узел, а мистер Хауард передал мне пару свечей, бутылку виски и коробку с сигарами.

— С этим просто, — сказал он. — Я держу их под замком. Теперь надо сообразить, как накормить вас завтра.

— Отсюда ни на шаг, что бы ни случилось, — наставлял он меня на прощание. — Днем в шахте будут кафры, но мы проследим, чтобы никто из них сюда не забрел. Пока они ничего не видели.

Четверка моих друзей удалилась, унеся фонари, и я остался один. Из бархатной темени забоя жизнь виделась в розовом сиянии. Пережив растерянность и даже отчаяние, я уже считал свободу решенным делом. Вместо унизительной поимки и многомесячного тупого заключения, может даже в общей тюрьме, меня опять ждала армия, где я, новоиспеченный герой, буду упиваться свободой и искать приключений, дорогих молодому сердцу. В этом приятном настроении, придавленный смертельной усталостью, я провалился в сон — сон хоть измученного, но победителя.

Глава 22
Я бегу от буров — II

Не знаю, сколько я проспал, но, должно быть, давно был день, когда я окончательно очнулся. Я поискал рукой свечу и ничего не нащупал. Не представляя, какие ловушки таят в себе эти штольни, я счел за лучшее ожидать дальнейшего развития событий, лежа на матрасе. Прошло несколько часов, прежде чем слабый свет фонаря известил о чьем-то приближении. Оказалось, это мистер Хауард с цыпленком и всякими яствами. Еще он прихватил несколько книг. Он спросил, отчего я не зажег свечу. Я сказал, что не нашел ее.

— Вы не клали ее под матрас? — спросил он.

— Нет.

— Значит, съели крысы.

В шахте, сообщил мистер Хауард, пропасть белых крыс: несколько лет назад он сам запустил сюда этих грызунов, являющихся отличными чистильщиками, и они размножились и процветают. Он рассказал, что за цыпленком ездил за двадцать миль к доктору-англичанину. Его настораживало поведение прислуги: обе голландки искали виновного в уничтожении бараньей ноги. Если он не раздобудет назавтра еще одного сваренного цыпленка, ему придется класть на тарелку двойную порцию и лишнее сбрасывать в пакет, когда горничная выйдет из комнаты. Он сказал, что буры расспрашивают обо мне по всей округе и что правительство в Претории подняло невероятный шум из-за моего побега. Поскольку в районе мидделбургских копей оставалось довольно много англичан, это место рассматривалось как наиболее вероятное мое прибежище, и все лица английского происхождения были более или менее под подозрением.

Я снова заикнулся о том, что готов пробираться дальше самостоятельно с кафрским проводником и лошадью, но мистер Хауард категорически отказался это обсуждать. Без хорошо продуманного плана, объяснил он, меня из страны не вывести, и возможно, мне придется долго пробыть в шахте.

— Здесь, — сказал он, — вы совершенно в безопасности. Мак (он имел в виду шотландца-забойщика) знает все выработанные штольни, о существовании которых никто и не догадывается. Есть один проход всего в пару футов длиной, доверху залитый водой, а за ним полость. Если начнут обыскивать шахту, вы с Маком поднырнете туда. Никому и в голову не придет искать вас за

водной толщей. Кафров мы запугали сказками о привидениях, и потом, мы не спускаем с них глаз.

Побыв со мной, пока я закусывал, мистер Хауард ушел, оставив среди прочего полдюжины свечей, которые я, умудренный опытом, засунул под подушку и матрас.

Снова я надолго заснул — и разом проснулся, почувствовав рядом движение. Словно теребили мою подушку. Я выпростал руку — куча-мала. Это крысы лезли к свечам. Я успел спасти свечи и сразу зажег одну. К счастью, я вообще не боюсь крыс, а убедившись в их пугливости, перестал даже испытывать дискомфорт. И все-таки воспоминания о трех днях, проведенных мною в шахте, к числу приятнейших не относятся. Топот крохотных лапок, копошение и суетня ощущались остро и постоянно. Однажды меня разбудила пробежавшая по мне крыса. А зажжешь свечу — и их как не бывало.

В свой черед пришел следующий день — если это можно назвать днем. Было четырнадцатое декабря, третий день с моего побега из Государственной образцовой школы. Развлечь меня пришли два забойщика-шотландца, мы долго дружески беседовали. К своему удивлению, я узнал, что глубина шахты всего двести футов.

Есть в ней места, сказал Мак, откуда через давно не используемый ствол можно видеть дневной свет. Не хочу ли я прогуляться по старым выработкам и глянуть? И час-другой мы петляли по подземным галереям, а потом с четверть часа простояли на дне колодца, всматриваясь в струящуюся сверху серость — слабое напоминание о солнце и наземном мире. Во время этой прогулки нам то и дело встречались крысы. Вроде бы вполне милые зверушки, совершенно белые, с черными глазками, которые, как меня уверили, на ярком свету делались красными. Три года спустя служивший в этом округе британский офицер написал мне, что, слушая мою лекцию, где я упоминал белых крыс и их красные глаза, он подумал: «Ну и заливает!» Он не поленился съездить на шахту и самолично проверить, и вот, приносит извинения, что усомнился в моей правдивости.

Пятнадцатого числа мистер Хауард объявил, что напряжение будто бы спало. В районе копей следов беглеца не обнаружили. Бурское руководство полагало теперь, что я, должно быть, укрылся в Претории, у какого-нибудь друга Британии. Никто не верил, что мне удалось выбраться из города. Поэтому мистер Хауард решил, что вечером я могу подняться и погулять по вельду, а если наутро все будет спокойно, то и вовсе перебраться в заднюю комнату конторы. С одной стороны, он очень приободрился, с другой — возбудился до крайности. Я совершил

прекрасную прогулку при луне, вдыхая упоительный свежий воздух, а потом, чуть раньше, чем предполагалось, обосновался за упаковочными ящиками во внутренних помещениях конторы. Здесь я пробыл еще три дня, ночами выходя на бескрайнюю равнину с мистером Хауардом или его помощником.

Шестнадцатого, на пятый после побега день, мистер Хауард сообщил, что у него созрел план, как вывезти меня из страны. С железной дорогой шахту соединяла ветка. По соседству жил голландец, Бургенер, и девятнадцатого он отправлял в Делагоа-Бей партию шерсти. Этот джентльмен питал расположение к британцам. Мистер Хауард с ним переговорил, посвятил в наш секрет, и тот выразил желание помочь. Шерсть, упакованная в огромные тюки, должна была занять две-три товарные платформы. Грузились платформы в тупике у шахты. Уложить тюки можно было так, чтобы в центре осталось местечко для меня. Когда погрузка закончится, платформу затянут брезентом, и вряд ли кто на границе сунется под брезент, если пломбы будут целы. Согласен ли я рискнуть?

Я разволновался так, как не волновался с самого момента побега. Если ты по страшному везению получил великое преимущество или вознаграждение и несколько дней пользовался и наслаждался им, думать о том, что его у тебя отнимут, — невыносимо. Я уже рассматривал свою свободу как данность, и все мое нутро восставало против перспективы быть превращенным в куль, совершенно беззащитный, неподвижный, целиком зависящий от того, что взбредет в голову пограничникам. Вместо того чтобы так мучиться, я бы лучше двинул через пустынный вельд с лошадью и проводником и ночными перебежками пересек широкие просторы Бурской республики. Однако в конце концов я принял предложение моего великодушного спасителя, и соответствующие меры были приняты.

Я бы еще больше встревожился, прочитай я некоторые телеграммы, попавшие в английские газеты. Например:

> **Претория, 13 декабря.** Хотя побег мистера Черчилля был толково организован, у него мало шансов пересечь границу.
>
> **Претория, 14 декабря.** Сообщают, что мистер Черчилль был задержан на пограничной станции Коматипорт.
>
> **Лоренсу-Маркеш, 16 декабря.** Сообщают, что мистер Черчилль схвачен в Ватерваль-Бовене.
>
> **Лондон, 16 декабря.** Относительно бежавшего из

Претории мистера Черчилля высказываются опасения, что он вскоре будет схвачен и, возможно, расстрелян.

Или прочти я описание моей внешности и объявление о вознаграждении за мою поимку, разосланные и расклеенные по всей линии. Хорошо, что ничего обо всем этом я не знал.

День восемнадцатого декабря тянулся медленно. Помню, большую часть времени я читал «Похищенного» Стивенсона. Волнующие страницы о бегстве Дэвида Бальфура и Алана Брека в горы пробуждали слишком хорошо знакомые мне ощущения. Быть беглым, быть изгоем, быть «в розыске» — это само по себе душевная травма. Одно дело рисковать собой на поле боя: мало ли как там распорядятся пуля или снаряд. И другое дело, когда за вами идет по пятам полиция. Необходимость прятаться, хитрить рождает самое настоящее чувство вины, пагубное для душевного состояния. То, что в любой момент может появиться блюститель порядка или любой прохожий может огорошить тебя вопросом: «Кто вы такой? Откуда идете? Куда направляетесь?» — порождало глубокую неуверенность в себе. Я трепетал перед испытанием, которое ожидало меня в Коматипорте и которое я должен был покорно снести, чтобы окончательно сбежать от врага.

£ 25.—.—

(vijf en twintig pond stg.)
beloning wordt beloofd door
de Sub-Commissie van Wijk V
voor den Specialen Constabel
dezes wijk, die den ontvluchten
Krijgsgevangene
Churchill
levend of dood te dezen kantore
aflevert. —

Namens de Sub-Comm.
Wijk V
L. de Haas
Sec.

Translation.

£25

(Twenty-five Pounds stg.) REWARD is offered by the Sub-Commission of the fifth division, on behalf of the Special Constable of the said division, to anyone who brings the escaped prisioner of war

CHURCHILL,

dead or alive to this office.

For the Sub-Commission of the fifth division,
(Signed) LODK. de HAAS, Sec.

NOTE.-The Original Reward for the arrest of Winston Churchill on his escape from Pretoria, posted on the Government Buildings of Pretoria, brought to England by the Hon. Henry Manton, and is now the property of W. H. Davies.

Перевод:

£ 25 (двадцать пять фунтов стерлингов)

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ предлагается

подкомиссией Пятого
округа, от имени специального констебля вышеназванного
округа, любому, кто доставит сбежавшего военнопленного

ЧЕРЧИЛЛЯ,

мертвого или живого, в сие учреждение.
От подкомиссии Пятого округа.
(Подпись) Лодк. де Хаас, сек.

Примечание. *Оригинальное объявление о вознаграждении за арест Уинстона Черчилля, висевшее на здании правительства в Претории, привезенное в Англию достопочтенным Генри Мэшемом и теперь являющееся собственностью У. Р. Бертона.*

В мои мысли вдруг вторглась беспорядочная ружейная пальба. Мелькнуло ужасное подозрение. Пришли буры! Хауард и его англичане подняли бунт в самом центре вражеской страны! Мне было строго наказано ни при каких обстоятельствах не покидать убежища, и я сидел за упаковочными ящиками ни жив ни мертв. Скоро стало ясно, что ничего непоправимого не случилось. Из конторы послышались голоса, взрывы смеха. Там явно шел дружеский, свойский разговор, и я вернулся в общество Алана Брека. Наконец голоса стихли, и еще немного спустя отворилась дверь и показалось бледное лицо мистера Хауарда, расплывшееся в широкой улыбке. Он запер за собой дверь и, мягко ступая, направился ко мне. Он ликовал.

— Здесь был комендант, — сказал он. — Нет-нет, он не по вашу душу. Он говорит, вас поймали вчера в Ватерваль-Бовене. Я не хотел, чтобы он путался под ногами, и предложил ему на спор пострелять по бутылкам. Он выиграл у меня два фунта и уехал веселый.

— Сегодня ночью, — добавил он.

— Что я должен делать? — спросил я.

— Ничего. Я за вами приду и вас отведу.

В два часа ночи девятнадцатого числа, одетый в дорогу, я ждал сигнала. Открылась дверь. Вошел мой хозяин. Кивнул. Мы не обменялись ни словом. Через контору он провел меня к железнодорожному тупику. Там стояли три большие платформы. В лунном свете сновали три фигуры — очевидно, Дьюснэп и двое шотландцев-забойщиков. Группа кафров грузила на заднюю

платформу огромный тюк. Хауард прошел к первой платформе и перешагнул через рельсы позади нее. Обернувшись, он сделал мне знак левой рукой. Я рванул к буферу и увидел между тюками с шерстью и бортом платформы зазор, достаточный для того, чтобы в него протиснуться. Оттуда вел лаз к центру платформы, где было пустое пространство, устроенное с таким расчетом, чтобы в нем лежать и сидеть. Там я и обосновался.

Три-четыре часа спустя, когда сквозь продухи в моем укрытии и щели нижнего настила начал сочиться свет, послышался шум подходившего локомотива. Толчок, лязг сцепления, и мы с грохотом тронулись в неизвестность.

Я обследовал свое обиталище и устроил ревизию тому, чем снабдили меня в дорогу. Во-первых, я обнаружил револьвер. Его наличие успокаивало, хотя было не очень понятно, как он мог поспособствовать решению проблем, с которыми мне предстояло столкнуться. Во-вторых, двух жареных цыплят, несколько ломтей мяса, краюху хлеба, дыню и три бутылки холодного чая. Путь до моря не должен был занять более шестнадцати часов, но никто не знал, какие задержки ожидают торговый груз в военное время.

Света в моем тайнике хватало. Дощатые борта и пол были щелястыми, и лучи пробивались через зазоры между тюками. Проползя по лазу в конец платформы, я нашел щель почти в палец шириной, позволявшую видеть кусочек внешнего мира. Чтобы следить за движением поезда, я заранее выучил названия всех станций маршрута. Многие помню и сегодня: Уитбэнк, Мидделбург, Бергендаль, Белфаст, Далманутха, Махадодорп, Ватерваль-Бовен, Ватерваль-Ондер, Эландс, Нойтгедахт и так далее до Коматипорта. Вот мы добрались до первой станции. Здесь ветка соединялась с магистралью. После двух-трех часов ожидания и маневрирования нас, очевидно, прицепили к поезду регулярного сообщения, и скоро мы двинулись с превосходной, лучше не бывает, скоростью.

Весь день мы катили на восток через Трансвааль, а в сумерках нас остановили на ночевку, по моим расчетам, в Ватерваль-Бовене. Мы покрыли почти половину расстояния. Но сколько нас продержат на запасных путях? Может, несколько дней, и уж точно до завтрашнего утра. Все томительные дневные часы, что я лежал на полу платформы, я давал волю воображению, рисуя яркие картины сладостной свободной жизни, волнующего возвращения в армию, восторгов по поводу удавшегося побега, и тут же меня осаждали страхи перед пограничным досмотром — это неизбежное испытание неуклонно близилось. И новая напасть. Я мучительно хотел спать. Попросту говоря, я не в силах был дальше бодрствовать. Но во сне я,

случалось, храпел! И захрапи я, пока поезд стоит на тихой обочине, меня могли услышать! А если бы услышали!.. Я решил, что надо любой ценой воздержаться от сна, и очень скоро погрузился в блаженное забытье, из коего на следующее утро меня вывели громыхание и рывки состава, сцеплявшегося с новым локомотивом.

Между Ватерваль-Бовеном и Ватерваль-Ондером есть очень крутой спуск, который локомотив проходит на зубчатой передаче. Мы, скрежеща, сползли вниз со скоростью три-четыре мили в час, и это подтвердило правильность моего предположения, что следующая станция — Ватерваль-Ондер. Весь этот день, как и предыдущий, мы катили через вражескую территорию и ближе к вечеру прибыли в зловещий Коматипорт. В мою смотровую щель я увидел порядочный поселок, множество путей и несколько составов на них. Вокруг суетился народ. Голоса, крики, свистки. Проведя рекогносцировку (поезд к тому времени остановился), я отполз в мою цитадель, улегся на пол, укрылся дерюжкой и с колотившимся сердцем ждал, что будет дальше.

Прошло три-четыре часа, а я так и не знал, досмотрели нас или нет. Вдоль поезда взад-вперед ходили люди, говорившие по-голландски. Но брезент не снимали, и платформу вроде бы особо не обследовали. Между тем стемнело, и мне пришлось смириться с затянувшейся неизвестностью. Мучительно было так долго висеть на волоске после сотен миль пути, в нескольких сотнях ярдов от границы. Я снова забеспокоился насчет храпа, но в конечном счете благополучно заснул.

Мы еще стояли, когда я проснулся. А вдруг оттого такая задержка, что они перетряхивают весь поезд?! С другой стороны, нас могли просто забыть на нашем запасном пути и оставить там на дни и недели. Меня подмывало выглянуть наружу, но я сдержался. Наконец в одиннадцать часов нас подцепили к локомотиву, и мы почти сразу тронулись. Если я не ошибался в том, что ночная станция — это Коматипорт, то мы уже ехали по португальской территории. Но мог и ошибаться. Мог сбиться в счете. Вдруг перед границей будет еще одна остановка и угроза досмотра не миновала? Но все сомнения развеялись, едва состав подошел к следующей станции. В щель я разглядел на перроне форменные фуражки португальских чиновников, а на доске надпись «Resana Garcia». Пока мы не отъехали, я сдерживал распиравшую меня радость. Потом под оглушительный перестук колес, высунув из-под брезента голову, я пел, кричал, ревел во всю мочь. Я так опьянел от счастья и благодарности, что произвел feu de joie[46], два-три раза пальнув из револьвера в воздух. Дурных последствий мои выходки не имели.

К вечеру мы прибыли в Лоренсу-Маркеш. Мой поезд загнали в товарный отсек, и толпа кафров ринулась разгружать его. Я счел, что мне наконец пора покинуть мое убежище, где в беспокойстве и стесненности я просуществовал почти три дня. Я уже повыбрасывал объедки и уничтожил все следы моего пребывания. Соскользнув с конца платформы между сцепками и незаметно смешавшись с кафрами и бродяжками — благо это было нетрудно с моим затрапезным видом, — я прошел к выходу из отсека и оказался на улицах Лоренсу-Маркеша.

За воротами меня ждал Бургенер. Мы обменялись взглядами. Он повернулся и направился в город, я последовал за ним, держа дистанцию ярдов в двадцать. Мы миновали несколько улиц, обогнули ряд углов. Вскоре он остановился и взглянул на крышу противоположного дома. Посмотрел туда же и я и — о блаженство! — увидел трепещущие веселые цвета «Юнион Джека». Это было британское консульство.

Секретарь британского консульства явно меня не ожидал.

— Уходите, — сказал он, — консул не примет вас сегодня. Если вам что-то нужно, приходите завтра в девять утра.

Тут я рассвирепел не на шутку и на таких повышенных тонах потребовал сейчас же свести меня лично с консулом, что сам этот джентльмен выглянул в окно, а потом спустился к дверям и спросил мое имя. С этой минуты я не испытывал недостатка в проявлениях гостеприимства и радушия. Мне было предоставлено все, чего я только мог пожелать, — горячая ванна, чистое белье, отличный обед, телеграфная связь.

Я набросился на газеты, которые передо мной выложили. С тех пор как я влез на забор Государственной образцовой школы, произошли события огромной важности. В бурской войне британская армия пережила Черную неделю. Генерал Гатакр в Стормберге, лорд Мэтьен в Магерсфонтейне и сэр Редверс Буллер в Коленсо — все были наголову разбиты; таких потерь Англия не знала со времен Крымской войны. Тем горячее стремился я вернуться в армию, и консул не меньше жаждал выпроводить меня из Лоренсу-Маркеша, кишмя кишевшего бурами и их сторонниками. К счастью, еженедельный пароход в Дурбан отходил в тот же вечер; можно даже сказать, он принимал эстафету у моего поезда. На этом пароходе я и решил отплыть.

С быстротой молнии по городу распространилась весть о моем прибытии, и когда мы обедали, в саду появилась группа незнакомцев, что поначалу встревожило консула. Оказалось, это англичане, которые, вооружившись, поспешили в консульство, чтобы пресечь любую попытку моего захвата. Под эскортом этих патриотов я благополучно прошествовал по улицам к причалу и

около десяти часов вечера уже покачивался на соленых волнах вместе с паровым судном «Индуна».

В Дурбане я почувствовал себя народным героем. Меня приняли так, словно я выиграл великое сражение. Порт был украшен флагами. Оркестры и просто встречающие запрудили пристань. Адмирал, генерал, мэр лезли, оттесняя друг друга, на борт, чтобы пожать мне руку. В приливе любви меня только что не разорвали на части. На плечах толпы я был доставлен к ратуше, откуда меня не желали отпустить без речи, и, из приличия поломавшись, я ее произнес. Меня забросали телеграммами со всех концов света, и вечером я триумфатором отправился в армию.

Там меня тоже приняли лучше некуда. Я обосновался в том самом домике обходчика, в сотне ярдов от которого чуть более месяца назад меня взяли в плен, и там с грубым походным размахом, собрав за столом множество друзей, отпраздновал свою удачу и Рождество.

Глава 23
Возвращение в армию

Выяснилось, что в течение нескольких недель, проведенных мною в плену, мое имя на родине не сходило с уст. Моя роль в вызволении локомотива бронепоезда была сильно преувеличена железнодорожниками и ранеными, которые благополучно вернулись домой. Слетевшиеся в Эсткурт корреспонденты переправили историю в Англию, очень ее раздув и расцветив. Поэтому газеты взахлеб славили мой подвиг. Пришедшая на пике всей этой шумихи новость о моем спасении, после девятидневного тревожного ожидания и слухов о поимке, вызвала новую волну панегириков. Юности надобна Авантюра. Прессе надобен Ажиотаж. Я изведал и то, и другое. На время я стал знаменитостью. После ряда военных поражений, часто необходимых для хорошей встряски, Англия пребывала в унынии, и известия о том, что я перехитрил буров, вызвали ни с чем не сообразный восторг. Неизбежно последовала реакция, и к потоку славословий примешалась струя столь же незаслуженных поношений.

Вот, к примеру, газета «Трут» от 23 ноября:

> …Состав опрокинулся, и мистер Черчилль якобы воодушевлял бойцов призывом: «Будьте мужчинами!» А что же делали офицеры, командовавшие этим отрядом? И разве мужчины вели себя не по-мужски? Могли ли боевые офицеры допустить, чтобы журналист «воодушевлял» их подчиненных?

«Феникс» (ныне не существует) от 23 ноября:

> Весьма возможно, что в сражении у бронепоезда мистер Уинстон Черчилль спас какого-то раненого. Также возможно, что он подхватил ружье и выстрелил в бура. Но встает вопрос: как он оказался в бронепоезде? Он никакого права не имел находиться там. Хоть он некогда и служил в Четвертом гусарском, сейчас он не военный и, я слышал, больше не сотрудничает с «Морнинг пост». Значит, одно из двух: либо тот, под чьим началом был этот злосчастный бронепоезд, преступил долг, пустив мистера Черчилля пассажиром, либо сам мистер Черчилль взял на себя смелость

проникнуть туда без разрешения, став обременительным довеском к тяжелому грузу забот, который лежал на командующем операцией…

С поразительным хладнокровием, учитывая, что речь шла о плененном соотечественнике, чья судьба еще не была определена, «Феникс» продолжал:

> Мы искренне надеемся, что мистера Черчилля не расстреляют. В то же время трудно будет осудить бурского генерала, отдай он такой приказ. Гражданские лица не имеют права находиться на поле боя с оружием. В франко-прусскую войну всех гражданских, захваченных с оружием, немедленно расстреливали, и едва ли можно ожидать, что буры окажутся гуманнее цивилизованных французов и германцев…

«Дейли нейшн» (тоже уже не существует) от 16 декабря:

> В военных кругах побег мистера Черчилля не считают ни блистательным, ни достойным деянием. Его захватили в бою, и он наверняка, как и офицеры, пользовался правами и послаблениями, предоставляемыми военнопленным на определенных условиях — с обязательством вести себя смирно. Он, однако, предпочел пренебречь словом чести, и не следует удивляться, если власти Претории будут принимать более жесткие меры для предотвращения подобных инцидентов…

И наконец «Вестминстер газетт» от 26 декабря:

> Мистер Уинстон Черчилль снова на воле. Он ухитрился сбежать из Претории, и тамошнее правительство ломает голову, выясняя, как ему удалось улизнуть. Вроде бы все отлично. Разумеется, вырваться на свободу — дело святое, но нам, признаться, трудно понять процитированное недавно в прессе обращение мистера Черчилля к генералу Жуберу с просьбой отпустить его на том основании, что он-де корреспондент и «не принимал участия в схватке». Нас это заявление озадачило — не мы ли читали яркие (и очевидно, достоверные) отчеты о подвигах мистера Черчилля в сражении у бронепоезда? Генерал Жубер, видимо, тоже был озадачен. Он ответил, что лично не

знакомый ему мистер Черчилль удерживается в заключении, поскольку все натальские газеты кричат о том, что локомотив ушел от буров только благодаря его храбрым и умелым действиям. Похоже, произошло недоразумение, но генерал Жубер верит корреспонденту на слово и посылает приказ о его освобождении — каковой и прибыл через несколько часов после побега мистера Черчилля. Непричастность мистера Черчилля к делу — и впрямь загадка, и ясно одно: ему не усидеть между двух стульев. Письмо генералу Жуберу бесповоротно лишает его сомнительного права на Крест Виктории, коим его отличили многие газетчики.

Когда эти заметки переслали мне, я не мог не возмутиться их несправедливостью. Разве я отвечаю за россказни железнодорожников и раненых? Или за то, в каком виде они были переправлены в Англию? И меньше всего я виноват в данной им там огласке. Меня удерживали взаперти, и слова мне не предоставляли. Мой читатель поймет, почему я отправился с капитаном Холдейном в ту злополучную разведку и какую роль сыграл в стычке, и сам рассудит, насколько обоснованно я отстаивал свой мирный корреспондентский статус. Не знаю, действительно ли генерал Жубер пересмотрел свое решение, но, право же, странно, что его распоряжение было обнародовано *после* того, как я бежал из Государственной образцовой школы. Неправда, что, совершив побег, я нарушил какое-то обязательство или пренебрег долгом чести. Никаких послаблений военнопленным не делали: нас, как я уже говорил, содержали в самом строгом заключении, под вооруженной охраной. Но однажды сказанная ложь застряла в проулках политического разномыслия, и по меньшей мере четыре раза я возбуждал дело о клевете, требуя возмещения морального урона и публичных извинений. Всю пробурскую партию я называл тогда не иначе как злобной сворой.

Еще военные круги и общественность взъелись на меня за телеграмму, которую я послал в «Морнинг пост» из Дурбана.

> Анализируя обстановку в целом, — писал я, — глупо не признавать, что нам противостоит мощный и грозный противник. Боеспособность ополченцев приумножается их высочайшим боевым духом и выучкой. Правительство, хотя и погрязшее в коррупции, отдает все силы войне.
>
> Надо смотреть правде в глаза. В привычных для него условиях один конный бур стоит трех-пятерых кадровых солдат. Мощь современного стрелкового оружия такова,

что лобовая атака часто захлебывается. Невероятная подвижность врага делает неуязвимыми его фланги. Иного пути нет, как найти стрелков, равных бурским по духу и по закалке, либо, за неимением оных, давить массой. Наступлению восьмидесятитысячной армии под прикрытием огня ста пятидесяти орудий прямой наводки буры противостоять не смогут, а вот пятнадцатитысячные колонны годятся только на то, чтобы нести потери. Подбрасывать небольшие подкрепления и понемногу обескровливать армию — политика губительная.

Подобно Конфедеративным Штатам Америки, бурские республики нужно брать измором. Не выказывая спешки, мы должны собрать огромное войско. Пусть оно даже будет чрезмерным — потери в итоге окупятся. Здесь хватит работы для четверти миллиона человек. Южная Африка стоит того, чтобы не жалеть ради нее ни крови, ни денег. Без добровольцев не обойтись. Что, все джентльмены Англии на лис охотятся? Чем это не Английская легкая кавалерия? Ради права называться мужчинами, ради верных нам колонистов и павших солдат мы должны выстоять в войне.

Эти неприятные истины многих задели. Заявление, что «один конный бур стоит трех-пятерых кадровых солдат», было признано оскорбительным для Армии. Потребность в четверти миллиона человек была отметена как полнейший абсурд. Цитирую «Морнинг лидер»:

> Мы не получили подтверждения слухам, что будто бы до приезда лорда Робертса лорд Лансдаун назначил мистера Уинстона Черчилля командующим войсками в Южной Африке, приставив к нему в качестве начальника штаба генерала сэра Редверса Буллера, кавалера Креста Виктории.

Увы, это был сарказм. Старики полковники и генералы из «Клуба ветхих развалин» впали в ярость. Кто-то из них дал мне телеграмму: «Ваши лучшие друзья надеются, что Вы перестанете выставлять себя ослом». Однако мои «ребяческие» предложения очень скоро претворились в жизнь. На подмогу профессиональной армии пришли десять тысяч дворян-добровольцев в составе Имперской территориальной конницы и прочих соединений. И победа была одержана тогда, когда на земле Южной Африки стояло уже более четверти миллиона британских солдат (то есть

сила, впятеро превышающая бурскую). Посему я могу утешить себя ссылкой на Библию: «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь…»[47]

Между тем злосчастная Черная неделя взбудоражила британцев, и руководство не замедлило отозваться. Мистер Бальфур (по мнению злопыхателей — лощеный демагог) перед лицом кризиса выказал себя лидером имперского правительства. Подавленный поражением у Коленсо 15 декабря и тысячными потерями — по тем временам чудовищными, — сэр Редверс Буллер отправил паническую депешу в Военное министерство и пораженческие распоряжения сэру Джорджу Уайту, о чем мы узнали много позже. Он советовал защитнику Ледисмита расстрелять все патроны и оговорить выгодные условия капитуляции, а в телеграмме в Военное министерство от 15 декабря писал: «Не думаю, что у меня теперь достанет сил вызволить Уайта». Телеграмма пришла в конце недели, и из всех министров в Лондоне был только мистер Бальфур. Ответил он резко: «Если Вы не в состоянии оказать помощь Ледисмиту, передайте командование сэру Фрэнсису Клери и возвращайтесь домой». Ответ Уайта тоже был пугающим: он не собирался сдаваться. Несколькими днями раньше в необъяснимом припадке дружеских чувств германский император отправил британского военного атташе в Англию с личным посланием королеве Виктории: «Я не могу вечно сидеть на предохранительном клапане. Мой народ настаивает на интервенции. Вы должны добиться победы. Советую послать туда лорда Робертса и лорда Китченера». Это ли предложение сыграло свою роль или что-то еще, но 16 декабря лорд Робертс был назначен главнокомандующим, а лорд Китченер начальником штаба. К Южной Африке заспешили подкрепления — практически вся британская армия, исключая индийский контингент, и множество добровольцев из метрополии и колоний. Принявший пополнение Буллер получил приказ осуществлять командование в Натале, добиваясь снятия осады с Ледисмита, между тем как главные силы, развернувшиеся шире, чем изначально задумывалось, должны были двинуться на север из Капской колонии, освободить Кимберли и захватить Блумфонтейн.

Поставленная перед Буллером задача его не обрадовала. Он знал, как хорошо укреплены вражеские позиции на высотках за Тугелой, а после Коленсо вообще преувеличивал боевое мастерство буров. После одной из целого ряда неудачных попыток штурмовать Тугелу он пожаловался мне:

— Внутренний голос мне говорил: избегай сражений в Натале, и вот я воюю здесь, да еще вынужден вести наступление

вдоль железной дороги, что для наших войск смерти подобно.

Редверс Буллер покорно нес свой крест. Не сомневаюсь, что в его годы он уже не обладал ни стратегическими навыками, ни умственной и физической энергией, ни дерзостью и жестокостью, которых требовал от него долг. Тем не менее он не терял доверия солдат и оставался кумиром британцев.

Я сомневаюсь, что Крест Виктории, заслуженный молодым офицером за храбрость, — верный залог того, что через двадцать-тридцать лет он будет отлично командовать армией. Я не однажды видел плачевные результаты подобных назначений. Возраст, безбедное существование, тучность, успешное продвижение по службе в мирное время подтачивают жизненные силы, столь необходимые для активных действий. В продолжительные периоды мира государство всегда должно иметь на примете нескольких морских и сухопутных офицеров среднего звена и среднего (до сорока лет) возраста. Их нужно специально готовить и экзаменовать. Их нужно перемещать с одной командной должности на другую, давая им возможность принимать ответственные решения. Их нужно вводить в Оборонный совет, чтобы они высказывали там свои мнения. А тех, кому перевалит за сорок, надо заменять более молодыми. Старые слепые Дандоло[48] — редкость. Лорд Робертс был исключением.

После того как сэр Редверс Буллер дотошливо расспросил меня о положении в Трансваале, а я описал ему все, что сумел рассмотреть через щелястый борт товарного вагона, он произнес:

— Вы хорошо поработали. Что мы можем для вас сделать?

Я сразу ответил, что хотел бы назначения в какую-нибудь нерегулярную часть, благо в них теперь не было недостатка. Генерал, с которым я не виделся с окончания нашего совместного плавания, но которого за четыре года службы в армии, конечно же, хорошо узнал, несколько растерялся и после весомой паузы спросил:

— А как же старина Бортвик? — Он имел в виду сэра Алджернона Бортвика, впоследствии лорда Гленеска, владельца «Морнинг пост».

Я ответил, что нанят в «Морнинг пост» военным корреспондентом, что это соглашение в силе и вряд ли может быть расторгнуто. Отсюда вытекал ряд проблем. В малых войнах предшествующих лет офицеры во время отпуска частенько работали военными корреспондентами, а то и вообще выступали в обеих ипостасях одновременно. В этом виделось вопиющее злоупотребление положением, бесспорно осуждаемое. Меня в первую голову крыли на все корки за мою двойную деятельность

на индийской границе и на Ниле. После Нильской экспедиции Военное министерство решительно и окончательно запретило солдату выступать в роли корреспондента, а корреспонденту — в роли солдата. Отныне таково было незыблемое правило, и сэру Редверсу Буллеру, генерал-адъютанту с огромным стажем службы в Военном министерстве, человеку общественному, но вместе с тем вымуштрованному вояке, решение нарушить это правило ради меня — для кого оно, главным образом, и писалось — далось с величайшим трудом. Он дважды или трижды прошелся взад-вперед по комнате, сверля меня взглядом, и наконец сказал:

— Хорошо. Определим вас в полк Банго[49]. Подвизайтесь на двух фронтах. Но, — добавил он, — на нашем — бесплатно.

Я немедленно согласился на это *нерегулярное* предложение. И вот полюбуйтесь: я уже лейтенант Южноафриканской легкой кавалерии. Этот полк из шести эскадронов и семисот с лишним конников с подвижной пулеметной батареей был сформирован в Капской колонии полковником Джулианом Бингом, капитаном 10-го гусарского полка, от которого по праву ожидали многого. Он назначил меня младшим адъютантом и позволил делать все, что мне заблагорассудится, когда полк не участвует в сражении. Что может быть лучше? Я нашил на китель петлицы, увенчал шляпу пучком длинных перьев из хвоста сакабулы и зажил счастливейшей жизнью.

ЮАЛК входила в кавалерийскую бригаду лорда Дандональда, и из небольшой группы друзей-офицеров — создателей и командиров этой части — многие приобрели известность в Мировую войну. Бинг, Бердвуд и Хьюберт Гаф стали командующими армиями; Барнс, Солли Флад, Том Бриджис возглавляли дивизии. Бее время, пока в Натале шли бои, мы толклись у одних бивачных костров, спали под одними повозками и крепко сдружились. Солдатня была очень разношерстная, но в сражении лютая. ЮАЛК в основном состояла из южноафриканцев. Их дополняли сорвиголовы со всех концов света, в число коих затесался даже конфедерат из эпохи Гражданской войны в Америке. В Барнсовом эскадроне Имперской легкой кавалерии были «чужаки» с Рандских золотых приисков. Два эскадрона Натальских карабинеров и Торникрофтская конная пехота образовались из сноровистых фермеров и колонистов занятой провинции, а двумя ротами Британской конной пехоты могла бы гордиться и регулярная армия. Колонисты, особенно «чужаки» и жители Наталя, питали к врагам неприязнь, что у бывалых солдат считалось в те дни верхом непрофессионализма. А вообще все существовали душа в душу.

Глава 24
Спайон-Коп

Здесь неуместно сколько-нибудь подробно пересказывать историю снятия осады Ледисмита, но короткий отчет об этом событии все же необходим. Сэр Редверс Буллер оставил свой первоначальный план форсирования Тугелы в Коленсо и продвижения вдоль железнодорожной линии. Когда благодаря подкреплениям в его распоряжении оказалось девятнадцать тысяч единиц пехоты, три тысячи кавалеристов и шестьдесят пушек, он предпринял попытку обойти буров с правого фланга, переправившись через Тугелу в двадцати пяти милях от Коленсо выше по течению. Одиннадцатого января кавалерийская бригада Дандональда молниеносным броском Заняла высоты над Потджитерским и Тричардским бродами. После этого вся пехота, оставив на месте биваки, неспешными ночными переходами под прикрытием наших кавалерийских аванпостов, выставленных вдоль реки, подтянулась к Тричардскому броду. Там на рассвете 17-го вся кавалерия почти беспрепятственно переправилась через реку и, постоянно забирая влево, подошла под вечер, после яростной и победоносной схватки с двумя сотнями буров, к Эктон-Хоумс. Тем временем передовая пехотная бригада, не без труда одолев глубокий брод, закрепилась среди горных складок Спайон-Копа, и под ее огневым прикрытием началось наведение двух понтонных мостов. К полудню мосты были готовы, и в течение следующей ночи по ним благополучно прошла 2-я дивизия под командованием сэра Чарльза Уоррена вместе с Особой бригадой и почти всей армейской артиллерией. Таким образом, рассвет 18-го шестнадцатитысячная армия встретила на другом берегу Тугелы, а ее кавалерия — недалеко от Эктон-Хоумс, откуда до самого Ледисмита простиралась равнина, легко покрываемая в два перехода. Все бойцы, включая опытных колонистов, верили, что, продолжая свое дуговое движение, кавалерия непременно обогнет всю гряду холмов к западу от горы Спайон-Коп и что достаточно лишь упорно следовать этим курсом — и Ледисмит будет освобожден.

Однако Буллер, равно как и его штаб, не без основания опасались за свои коммуникации. Они фактически пускались в долгий обходной марш вокруг правого фланга очень мобильного противника. Одна наша бригада держала переправу возле Коленсо, другая — бригада Литлтона — расположилась против Потджитерского брода. Сама армия была построена так: ее правое

крыло достигало подножия Спайон-Копа, а кавалерия умахала далеко влево. И этот фронт длиной в тридцать миль не представлял собой сплошной и непрерывной линии. В любой момент две-три тысячи конных буров могли переплыть реку между нашими сторожевыми постами и, устремившись на юг, перекрыть нам снабжение. Главнокомандующий панически боялся быть отрезанным от железной дороги и окруженным, как сэр Джордж Уайт в Ледисмите, но вдобавок без укрепленного лагеря и провианта. Свойственная Буллеру медлительность делала эту опасность вполне реальной. Поэтому мы в кавалерии рвались поскорее осуществить наш широкий круговой маневр, Буллер же полагал жизненно важным сократить путь, то есть пройти по наименьшему радиусу вплотную к горе Спайон-Коп. Вот почему в ночь с 23-го на 24-е пехотная бригада совместно с полком Торникрофта (спешенным) была послана штурмовать Спайон-Коп. Атака увенчалась успехом. Горстка засевших в утесах буров бежала, и к утру бригада генерала Вудгейта утвердилась на вершине, в то время как основной массив армии расположился в западных предгорьях и отрогах.

Между тем противник вот уже шесть дней наблюдал за невероятно медленными и вялыми перемещениями британцев. Буллер еле тащился, а Уоррен едва полз. Буры успевали и передислоцироваться, и укрепиться на новых рубежах. Они сняли с осады Ледисмита около семи тысяч конников и примерно дюжину пушек и малокалиберных зениток. Однако, обнаружив нашу напористую кавалерию на подступах к Эктон-Хоумс, враг затрепетал, и многие ополченцы-горожане, как в одиночку, так и целыми отрядами, стали отходить к северу. Увидев Спайон-Коп во власти британцев, буры были не столько испуганы, сколько ошеломлены. Генерал Шалк-Бургер, собрав личными своими усилиями полторы тысячи человек, по большей части из ополчения Эрмело и Претории, начал в предутренней мгле яростную ружейную контратаку на Спайон-Коп, одновременно бомбардируя ее с разных сторон из своих немногочисленных, но отменно пристрелянных и умело рассредоточенных орудий.

Спайон-Коп — это скалистая возвышенность, практически гора, вознесенная над рекой на тысячу четыреста метров, с плоской и широкой, как Трафальгарская площадь, вершиной. На этом ограниченном участке сгрудились две тысячи британских пехотинцев. Укрыться там было почти негде, а обстрел начался прежде, чем им удалось по-настоящему окопаться. В ружейной дуэли буры очень быстро взяли главенство. Полукружие вражеских зениток стегало шрапнелью по скоплению людей. Британцам было бы легче атаковать, чем обороняться. Рывок вниз

по склону Спайон-Копа с одновременным ударом корпусом всей армии прямо в Лоб неприятелю, несомненно, принес бы успех. Вместо этого бригада была оставлена на вершине, где подвергалась истреблению в течение долгого летнего африканского дня. Генерала убило в самом начале сражения, и потери, в соотношении с общим числом задействованных бойцов, оказались чудовищными. Высота с огромным трудом и не меньшим упорством удерживалась до наступления темноты; при этом, по крайней мере, тысяча офицеров и солдат, то есть половина тех, кто скучился на пятачке под огнем, была убита или покалечена. В отчаянной попытке спасти положение Литлтон выслал через Потджитерский брод два батальона подкрепления. Великолепные 60-й стрелковый и Камеронцы взобрались на гору с тыла и овладели двумя буграми, так называемыми Близнецами, захват которых мог переломить ситуацию, прояви главнокомандующий больше решительности. Остальная армия наблюдала за происходящим, и когда сгустилась тьма, британцы, хоть и понесшие горестные потери, все же занимали все стратегически важные позиции.

Я вышел к Тугеле вместе с кавалерией, провел тревожную неделю в ожидании атаки на нашу жидкую линию аванпостов и рано утром 17-го переправился через реку у Тричардского брода, после чего вечером участвовал в стычке у Эктон-Хоумс. Противоборство было увлекательным. Буры намеревались обойти нашу бригаду с фланга и устроить нам засаду, в то время как два наших эскадрона, незаметно проскакавшие по низине вдоль реки, подложили им такую же свинью. Враги, ни о чем не подозревая, попарно въехали в длинную котловину, и тут мы открыли по ним пальбу с трех сторон, сразу же выведя из строя половину с учетом тридцати пленных и сами потеряв всего человек пять. Обеим нашим кавалерийским бригадам надлежало бы на следующий день продолжить свой марш, дразня неприятеля и отвлекая его от нашей пехоты. Однако кавалерии было строго-настрого приказано отступить и воссоединиться с левым флангом армии. С этой позиции мы тремя днями позже (10-го) атаковали ряд высот за Вентерс-Спруит — притоком Тугелы. Под орудийным огнем мы рысью прошли к речушке и, спрятав лошадей в ее русле, полезли на крутой склон, обращая в бегство аванпосты буров. Строго следуя правилам военной науки, мы вскарабкались по выступам, взяли Чайлдс-Копье и добрались до гребня почти без потерь. Но вершина у этой гряды холмов плоская, как стол, и буры, чей военный инстинкт превосходил все учебники по тактике ведения боя, нарыли окопов и стрелковых ячеек примерно в трехстах ярдах от ребра «столешницы». Они встречали градом пуль

каждого, кто осмеливался поднять голову над гребнем, делая невозможным продвижение по гладкой, поросшей травой площадке. Поэтому мы до темноты сидели скрючившись под ее краем, пока нас не выручила пехота.

Следующий день мы отдыхали, однако утром 24-го, едва продрав глаза, мы устремили взгляды на Спайон-Коп, хмуро маячившую справа от нас. Нам сказали, что ночью высоту захватили наши части, но что буры контратакуют, в чем убеждал нас сплошной ореол шрапнельных разрывов вокруг вершины. После завтрака мы с приятелем поскакали верхом к Холму Трех Деревьев, чтобы поглядеть, что происходит. Там стояли шесть полевых батарей и гаубичная батарея — силища для такой войны немереная, — но они не понимали, куда стрелять. Рассредоточенные орудия буров, ведшие огонь по Спайон-Копу, обнаружить никак не удавалось, других же целей видно не было. Мы решили подняться на гору. Спешившись, мы взобрались, прыгая с валуна на валун, по тыльному склону. Жестокость противостояния была очевидной. Раненые, кто на руках, кто при поддержке четырех-пяти товарищей, стекали ручьем и даже потоком вниз к подножию, где уже выросли и быстро разрастались два полевых лазарета с палатками и повозками. За бровкой гребня укрывался целехонький резервный батальон с запасным командиром бригады, похоже изнывавшим от безделья. Здесь нам сообщили, что после гибели генерала Вудгейта его полномочия были переданы полковнику Торникрофту, и тот отчаянно отбивается. Командир бригады получил приказ не сменять его. Однажды ввысь уже взвивался белый флаг, и буры приблизились, чтобы забрать в плен несколько сдавшихся рот, но взбешенный Торникрофт, поспешив к флагу, сбил его, и яростная перестрелка, теперь уже нос к носу, возобновилась. Справа были видны Близнецы, по которым то и дело пробегали крохотные фигурки. Все думали, что это противник. Если так, то у него явное позиционное преимущество и путь к отступлению нам скоро будет закрыт. На самом деле там были наши друзья Камеронцы с Потджитерского брода. Мы вылезли на плоскую вершину и проползли немного вперед, но вокруг так шарахало, что нам пришлось наш наблюдательный пункт покинуть. Мы решили отправиться в штаб и доложить о ситуации.

Уже на закате мы добрались до штаба 2-й дивизии. Пятидесятидевятилетний начальник штаба сэр Чарльз Уоррен выглядел старше своих лет. Со времени экспедиции в Бечуаналенд, которую он возглавлял, прошло шестнадцать лет. Он был откомандирован из армии в полицию метрополии на должность главного ее комиссара. Теперь же его вернули к

активной деятельности, назначив на крайне ответственный пост. Сэр Чарльз казался обеспокоенным. Уже несколько часов он не имел со Спайон-Копом связи. Принесенные нами известия были неутешительны. Один из его штабных сказал:

— Мы весь день провели в тревоге, но худшее, надеюсь, позади. Мы пошлем туда свежие силы, окопаемся за ночь, и завтра будет намного легче. Отправляйтесь и сообщите это полковнику Торникрофту.

Я попросил письменного распоряжения, и офицер выполнил мою просьбу.

И вот я опять полез на гору, на этот раз в полной темноте. Миновав резервный батальон, все еще невредимый, я ступил на площадку вершины. Обстрел прекратился, лишь изредка слышался свист пуль. Повсюду валялись убитые и раненые, и я долго бродил среди них, прежде чем нашел полковника Торникрофта. Отдав ему честь, я поздравил его с назначением командиром бригады и передал письменное распоряжение штаба.

— Завтра от этого командира бригады останется один пшик! — воскликнул он. — Час назад я отдал приказ об отступлении. — Он прочел записку. — Ничего конкретного, — нетерпеливо заключил он. — Какое еще подкрепление? Здесь и так людей невпроворот! Где план операции?

— Может, мне стоит предупредить сэра Чарльза Уоррена о том, что вы покидаете высоту? — спросил я. — Он, без сомнения, желает сохранить позицию.

— Нет, — сказал Торникрофт. — Я принял решение. Отступление уже началось. Нас теснят. В любую минуту мы можем оказаться отрезанными. — И с большой убежденностью он произнес: — Лучше ночью снять с горы шесть боеспособных батальонов, чем утром получить здесь кровавое месиво.

Так как адъютанта при нем не было, а перенесенное им испытание измотало его как морально, так и физически, я провел с ним час или даже больше, пока его солдаты длинными шеренгами спускались с горы.

В воцарившейся тишине мы, наверное, были последними, кто покидал укрепления. Вдруг неподалеку от нас, под низкорослыми деревцами, мелькнули темные фигуры.

— Буры, — шепнул Торникрофт. — Я знал, что они нас окружат!

Мы выхватили револьверы. Но конечно, это оказались наши. Спрыгнув через сотню ярдов на склон, мы наткнулись на резервный батальон, так и не задействованный, свежий и полный сил. Минуту-другую полковник Торникрофт глядел на сгрудившихся солдат, словно пересматривая свое решение, но

плато уже было отдано неприятелю, и, тряхнув головой, он продолжил путь. Полчаса спустя, когда мы почти достигли подножия, нам встретилась колонна саперов с кирками и лопатами. Ее возглавлял офицер с затененным фонариком в руках.

— У меня послание для полковника Торникрофта, — произнес он.

— Прочтите, — кивнул мне Торникрофт.

Я вскрыл конверт. Послание было коротким. «Направляем к Вам 400 саперов и свежий батальон, — говорилось в нем. — К утру окопайтесь на позиции». Но полковник Торникрофт, взмахнув своей тростью, развернул подкрепление, и мы все вместе зашагали вниз. Тьма стояла кромешная, и, чтобы отыскать штаб Уоррена в лабиринте камней, мне потребовался целый час. Генерал спал. Я разбудил его, тронув за плечо:

— Полковник Торникрофт здесь, сэр.

Генерал, этот прелестный старый джентльмен, воспринял происшедшее очень спокойно. Мне было искренне его жаль. Как жаль и армию.

Полковник Торникрофт серьезно провинился, покинув вопреки распоряжению генерала позицию, которую сам же столь мужественно и ценой многих жертв защищал. Необычайная храбрость, которую он демонстрировал на протяжении всего этого дня, и тот факт, что лишь его решимость несколько раз предотвращала фатальную капитуляцию, освободили полковника от ответственности за военное преступление. Во всяком случае, не тем, кто так долго не давал ему внятных указаний, было судить его. Если бы молодой энергичный дивизионный генерал, разработавший план операции, с вечера сам поднялся к нему на вершину и лично все организовал, великой трагедии, возможно, удалось бы избежать.

Буры тоже понесли серьезные потери и были сильно деморализованы тем, что высота им никак не покорялась. Они уже начали отступать, когда подоспевший из Ледисмита Луис Бота, который за два месяца прошел путь от рядового до главнокомандующего, развернул их и повел на штурм. Масштабы бойни ужаснули всех. Неглубокие окопы полнились трупами и ранеными. Погибло почти сто офицеров. Водворившись на Спайон-Копе, Бота вывесил флаг перемирия, предлагая нам оказать помощь своим раненым и схоронить убитых. Двадцать пятого ничто не нарушало тишины. Двадцать пятого и двадцать шестого наш длиннющий обоз прогрохотал по мостам в обратную сторону, и ночью двадцать шестого за реку ретировались все наши боевые части. Я так и не понял, почему буры не

обстреливали мосты. Так или иначе, мы благополучно переправились, и сэр Редверс Буллер получил возможность объявить, что отступление он провел, «не потеряв ни единого солдата и ни единого фунта припасов». Что еще хорошего можно было сказать о шестнадцатидневных действиях целого армейского корпуса, унесших почти две тысячи жизней?

Затем Буллер нацелился на горный хребет, протянувшийся на восток от Спайон-Копа до пика Дорн-Клооф. Армия получила подкрепления. Артиллерия увеличила количество пушек до ста единиц, в том числе и за счет пятидесятифунтовых дальнобойных судовых орудий. План был хитроумным, но объяснить его нетрудно. Через реку в районе Потджитерского брода был наведен мост. Предполагалось, что пехотная бригада при мощной поддержке артиллерии ударит по центру расположения буров. Пока все внимание противника будет сосредоточено здесь, еще три бригады спустятся на две мили вниз по реке и быстро соорудят там второй мост. Одна из этих бригад двинется влево и атакует хребет Вааль-Кранц, а две другие пойдут на штурм Дорн-Клоофа. Чуть позже две кавалерийские бригады, регулярная и наша, с батареей конной артиллерии проскачут галопом к Клип-Поорту через брешь, которая, как надеялись, образуется в результате этих расходящихся дуговых атак. Мы несколько встревожились, когда нам рассказали все это накануне вечером в обстановке строжайшей секретности. Ведь местность, которую мы наблюдали в бинокли со Спирманс-Хилла, была очень неровной, бугристой, усыпанной валунами, изрезанной речушками и ручьями и поросшей кустарником. Преодолевать все это *верхом* — поистине тяжкое испытание. Однако мнения нашего на сей счет никто не спрашивал.

Первыми в дело вступили наши пушки, открывшие массированный огонь с гребня Зварт-Копа, и, когда наши длинные кавалерийские колонны медленно потянулись со Спирманс-Хилла к реке, нам представилась потрясающая картина. Позиции неприятеля на хребте Вааль-Кранц, разносимые взрывами, дымились подобно вулканам. Я добился назначения в ЮАЛК для моего девятнадцатилетнего брата. Он прибыл к нам двумя днями ранее, и сейчас мы ехали вместе. Бригада Литлтона, переправившись по второму мосту, развернулась влево и атаковала Вааль-Кранц с востока. Там, где наступление захлебывалось, рылись окопы. Наступил черед второй бригады, но местность за нижним мостом была крайне неподходящей для быстрого марша. Вскоре один из батальонов оказался втянут в жестокую схватку, и продвижение других частей бригады застопорилось. Таким образом, около четырех часов пополудни

сообщили, что до следующего дня нам дарована передышка. Мы разбили лагерь у подножия гряды, где вражеские снаряды нас почти не беспокоили. Хотя обоз наш находился всего в пяти милях позади нас, с собой мы могли взять лишь самое необходимое для планируемого прорыва сквозь брешь, буде эта брешь образуется. Ночь была холодная. Полковник Бинг и я спали под одним одеялом. Когда он поворачивался на бок, я мерз. Поворачиваясь сам, я стягивал с него одеяло. Ему это не нравилось. Он же был полковником! Когда настало утро, я перекрестился.

Между тем генерал Литлтон и его стрелки хорошо укрепились на склоне. С рассветом они ожидали обстрела, и ожидания их оправдались. Однако, окопавшись со всем тщанием, они целый день продержались под градом снарядов и отбили несколько ружейных атак ценой лишь двух сотен убитых и раненых. Мы наблюдали за ними из лагеря, сохраняя хладнокровие благодаря одной только мысли: час нашей скачки вот-вот придет. Но он не пришел. В ту же ночь бригаду Литлтона отвели обратно за реку. Понтонные мосты разобрали, и вся наша армия, потеряв около пятисот бойцов, без спешки двинулась назад к лагерям Чивли и Фрер, откуда мы за месяц до этого отправились освобождать Ледисмит. Между тем его защитники уже поедали лошадей и мулов. Сэр Джордж Уайт заявил, что способен обороняться еще полтора месяца. Однако на то, чтобы выдвинуться нам навстречу, у него уже не было сил. Он мог лишь сидеть на месте и подольше не поддаваться голоду. Перспектива, таким образом, вырисовывалась весьма мрачная.

Глава 25
Прорыв осады Ледисмита

Несмотря на досадные сбои в ходе военных действий, два месяца сражений за Ледисмит стали одним из счастливейших воспоминаний моей жизни. Хотя наша нерегулярная кавалерийская бригада проводила в сражениях по меньшей мере три дня из пяти, потери британцев, не считая потерь при Спайон-Копе в полку Торникрофта, были невелики. Не успев опомниться от одной стычки, мы ввязывались в другую, и каждая обходилась нам в пять-десять жертв. День за днем мы выезжали на рассвете то на левый, то на правый фланг и задирали буров, носились туда-сюда, взбирались на скалистые пригорки, видели вдали улепетывающик всадников, нет-нет да и слышали свист пуль, нет-нет да и делали пару прицельных выстрелов и благополучно возвращались в лагерь к хорошему ужину и веселой остроумной компании. В то же время я регулярно слал письма и телеграммы в «Морнинг пост», откуда мне сообщали, что мои корреспонденции завоевали широкое признание влиятельной публики. Я свел знакомство со всеми генералами и прочими шишками, имел доступ к любому и всюду встречал хороший прием. Мы жили здоровой жизнью на свежем воздухе, в прохладе — ночью, на ярком солнышке — днем, не испытывая недостатка в пиве, говядине и курятине. Отличные натальские газеты частенько доставлялись к нам еще засветло прямо на передовую и уж обязательно ждали нас вечером по возвращении. Существовало лишь настоящее, полное увлекательных событий. Никаких забот, никаких сожалений о прошлом, никакого беспокойства о будущем; никаких трат, никаких кредиторов, никаких сложностей, а жалованье мое между тем благополучно скапливалось дома! Попав в плен, я счел своим долгом написать из Претории в «Морнинг пост» и освободить их от обязательств по контракту, так как мне казалось, что в качестве корреспондента я утратил для них ценность. Они отвергли мое предложение, но прежде чем весть об этом меня достигла, я уже был свободен. Отношения мои с редакцией оставались превосходными, и лучших работодателей я и вообразить себе не мог.

Для меня большой радостью стало прибытие на фронт моего брата Джека. Я уже предвкушал, как буду его опекать и все ему показывать. Но удовольствие это было недолгим. Двенадцатого февраля мы совершали разведывательный рейд в шести или семи милях к востоку от железной дороги и несколько часов

находились на лесистой возвышенности, которую у нас в армии называли Гусарским холмом. Буллер и штаб, по-видимому, хотели изучить эту территорию. Действуя всей бригадой, мы отогнали бурские аванпосты и, установив свою патрульную линию, дали возможность генералу осмотреться. Но к полудню ружейный огонь усилился, и, когда поступил приказ возвращаться в лагерь, мы с великим трудом, и не без потерь, отвязались от помчавшихся вслед за нами буров.

Спустившись с Гусарского холма, мы перешли в галоп, а оторвавшись от неприятеля на милю, шагом поползли к лагерю вверх по длинному пологому склону. К тому времени я уже приобрел боевой опыт и часто чувствовал, откуда веет опасностью, — как чувствуем мы легкое дуновение ветерка на щеке или шее. Например, когда едешь на расстоянии ружейного выстрела от какого-нибудь незнакомого холма или речного русла, тебя словно прохватывает сквозняком. В тот день, помнится, то и дело оглядываясь на Гусарский холм и на плотную темную массу нашего арьергарда, так спокойно трюхающего по просторам вельда, я заметил приятелю:

— Эти ловкачи еще у нас на хвосте.

И не успел я закрыть рот, как раздался залп, подхваченный стрекотом двух-трех сотен маузеровских винтовок. Прошивший наши ряды шквал пуль выбил из седла нескольких бойцов и повалил на землю несколько лошадей. Наша кавалькада инстинктивно разомкнулась и перемахнула через гребень холма, до которого оставалось не более двухсот ярдов. Там мы спрыгнули с коней, которых тут же угнали в укрытие, распластались на земле и подняли ответный грохот и стрекот.

Окажись буры попроворнее и настигни они нас четвертью мили ранее, мы бы дорого заплатили за наше легкомыслие. Но нас уже разделяли две тысячи ярдов, мы были почти так же невидимы, как наш противник, и потому легко отделались. Джек лежал рядом со мной. Внезапно он содрогнулся и, скорчившись, откатился вниз. Так закончилась первая для него стычка: пуля, едва не задев его головы, угодила ему в икру. Я оттащил брата от линии огня и довел до санитарной повозки. Перестрелка вскоре прекратилась, и я поскакал в полевой госпиталь, чтобы удостовериться, что ему окажут необходимую помощь. В ту пору британские военные врачи очень ревниво отстаивали свой воинский статус, и потому я отдал доктору честь, назвал его «майором», в нескольких словах рассказал ему о происшедшем столкновении и только потом справился о ране, полученной братом. Любезный доктор, придя в наилучшее расположение духа, обещал мне применение хлороформа, отсутствие боли,

всестороннее внимание и заботу и, конечно, обещания не нарушил.

А теперь — о любопытном совпадении. В то время как я воевал в Южной Африке, моя матушка дома тоже не сидела без дела. Она создала фонд, очаровала одного американского миллионера и приобрела корабль, который превратила в лазарет с полным штатом медицинского персонала и всевозможными удобствами. После плавания по бурным волнам она прибыла в Дурбан, где с нетерпением ожидала поступления раненых. С первой же партией в этот плавучий лазарет, называвшийся «Мэйн», был доставлен ее младший сын. Я отпросился на несколько дней в отпуск, чтобы повидаться с ней, и провел эти дни на борту, словно на роскошной яхте. Так после полугода разнообразных приключений мы счастливо воссоединились. Самой большой величиной в Дурбане был капитан Перси Скотт, командир корвета «Грозный». Он нас всячески обласкал и продемонстрировал нам свой чудо-корабль. Еще он назвал именем моей матери огромную пушку, грузившуюся на железнодорожную платформу для отправки на фронт, и даже как-то раз организовал для матушки поездку на передовую, чтобы та посмотрела на свою крестницу в действии. Вообще, на этой войне царила атмосфера любезности и дружелюбия, которой не было и в помине пятнадцать лет спустя на Западном фронте.

Между тем Буллер предпринял четвертую попытку прорвать осаду Ледисмита. Осажденные дошли до последней черты, поэтому и для них, и для нас — брошенных им на помощь — это был вопрос жизни и смерти. Основные силы противника расположились на холмах и утесах по берегу Тугелы. Река, пробежав под разрушенным железнодорожным мостом в Коленсо, делает крутой поворот к Ледисмиту. На огибаемом течением полуостровке располагались: слева (если смотреть со стороны наших позиций) — Хлангване-Хилл, атакованный 15 декабря Южноафриканской легкой кавалерией; в центре — длинное травянистое плато, так называемый Грин-Хилл; и далеко справа — два поросших густым лесом горных хребта, Синголо и Монте-Кристо. Таким образом, правый фланг буров был обращен лицом к реке, левый же фланг и центр имели реку с тыла. Было решено осуществить широкий обходной маневр и постараться с налета занять эти две командные высоты, защищавшие противника слева. В случае удачи две пехотные дивизии при поддержке всей артиллерии должны были атаковать центральное плато и далее сразу же идти на захват Хлангване-Хилла. Покорение этой вершины делало уязвимыми позиции буров вокруг Коленсо и открывало нам путь к реке. Это был разумный и совершенно

очевидный план, и непонятно, почему им не воспользовались с самого начала. Раньше Буллер о такой возможности не подумал. При Коленсо, даже увидев, что Хлангване находится на *его* берегу, он глазам своим не поверил. До него это дошло с большим опозданием. Вот и все!

Пятнадцатого февраля вся наша армия, покинув биваки, проследовала вдоль железнодорожных путей к Гусарскому холму и изготовилась к атаке. Все, однако, зависело от того, сумеем ли мы захватить Синголо и Монте-Кристо. Задача эта была поручена полковнику Бингу и нашему подразделению с приданной ему пехотной бригадой. Осуществить ее оказалось на удивление просто. Ночью мы сделали крюк, пробираясь окольными тропами, и на рассвете 18-го поднялись на южные склоны Синголо. Своим неожиданным появлением мы спугнули с вершины горсточку буров, под чьей слабой защитой находилась эта ключевая точка. За два дня мы в спайке с пехотой вышибли их с Синголо, прогнали по седловине, соединяющей два хребта, и овладели всем Монте-Кристо. Оттуда нам открылся вид на расположения буров за Тугелой и на Ледисмит, который лежал прямо под нами не далее чем милях в шести. Между тем главный удар пехоты и артиллерии по редутам из мешков с песком и окопам Грин-Хилла увенчался полным успехом. Противник, ловко взятый в клещи, а затем атакованный да еще припертый к реке, оказал вялое сопротивление. К вечеру 20-го все бурские позиции к югу от Тугелы, в том числе и скалистый холм Хлангване, были в руках британцев. Буры оставили Коленсо, отступив по всему фронту на основную свою линию обороны за рекой. Пока что все шло хорошо.

Чтобы закрепить успех, нам надо было лишь развивать наступление правого фланга, так как Монте-Кристо доминировал над бурскими окопами на Бартонс-Хилле за рекой, а взятие Бартонс-Хилла проложило бы нам путь к следующей высоте, и так далее. Но тут Буллер, по наущению, как говорили, Уоррена, сделал ошибку, совершенно непростительную после полученных им тяжких уроков, дорого обошедшихся войскам. Наведя понтонный мост у Коленсо, он оттянул назад свое правое крыло, лишился высотного преимущества и выдвинул вперед левый фланг по линии железной дороги. За два последующих дня армия его скучилась в лабиринте холмов и горных отрогов позади Коленсо. В этих неблагоприятных условиях, без возможности маневра, Буллер атаковал заранее укрепленные, окруженные глубокими рвами позиции буров на подступах к Питерсу. Слепота и неправильность подобной тактики была многим совершенно очевидна. Беседуя в ночь на 22-е с одним из офицеров штаба,

впоследствии хорошо известным полковником Репингтоном, я услышал от него резкое:

— Ситуация пренеприятная. Мы все внизу. С главных высот сняты все главные пушки. Нас стиснули между этих дурацких бугров в долине Тугелы. Это все равно как стоять на арене Колизея под прицелом направленных на тебя с каждого ряда ружей!

Так оно и оказалось на самом деле. Буры, к досаде своей не сумевшие воспротивиться нашему широкому обходному маневру, уже начали движение к северу, но увидев, как британцы упрямо сами суют голову в петлю, хлынули назад.

Ночь с 22 на 23 февраля прошла в беспорядочных, с многочисленными жертвами боях. Атака на Питерс откладывалась и началась только к вечеру 23-го. Поскольку кавалерия задействована не была, я махнул верхом через реку и пробрался к скалистому отрогу, где генерал Литлтон[50], хоронясь за камнем, наблюдал за боем. Он был совершенно один и, кажется, обрадовался мне. Колонна пехоты с Ирландской бригадой генерала Харта во главе петляла вдоль железной дороги, теряя массу людей и мало-помалу разворачиваясь для нанесения удара слева. Линия обороны Питерса проходила по трем округлым взгоркам, легко атакуемым справа, но совершенно неприступным с противоположной стороны. Было четыре часа дня, когда Ирландская бригада начала карабкаться по крутизне Иннискиллинг-Хилла (в то время Хартс-Хилла), а когда подъем начали Иннискиллингские и Дублинские стрелки, солнце уже клонилось к закату. Это было драматическое зрелище. На фоне вечернего неба мы различали в бинокли крошечные головки буров в широкополых шляпах, то и дело осеняемые и застилаемые дымками. По голому травянистому склону, поблескивая штыками, медленно ползли вверх коричневые фигурки ирландцев, и настойчивый треск ружейной пальбы барабанной дробью отдавался в ушах. Россыпь фигурок поредела; они перестали двигаться; их поглотила сгустившаяся тьма. Из тысячи двухсот участников штурма оба полковника, три майора, двадцать офицеров и шестьсот солдат были убиты или ранены. Враг не отступил.

Только теперь сэр Редверс Буллер, вняв уговорам, постановил опять выдвинуть вперед правое крыло и возобновить наступление широким фронтом. Целых три дня ушло на то, чтобы извлечь людей из мясорубки, в которую он их кинул. Два первых дня сотни раненых, лежавших на Иннискиллинг-Хилле, терпели жестокие мучения. Тяжко было смотреть на этих бедняг, брошенных на огневом рубеже без всякой помощи и даже воды, в

немой мольбе машущих какими-то жалкими лоскутками. Двадцать шестого Буллер запросил перемирия. На официальное перемирие буры не согласились, но пропустили, с гарантией безопасности, докторов и санитаров с носилками, чтобы те забрали раненых и похоронили убитых. На закате, когда задача эта была выполнена, огонь возобновился.

Двадцать седьмого февраля, в годовщину Маджубы, Натальская армия пошла на решающий штурм. Все главные пушки возвратились на главные высоты, и наши бригады, перейдя реку по неразрушенному бурскому мосту, атаковали неприятеля справа. Сначала был взят приступом Бартонс-Хилл и следом за ним Рейлуэй-Хилл. Наконец настал черед грозного Иннискиллинг-Хилла. Уже обойденный и наполовину занятый, он не устоял перед натиском штыков. Последняя гряда холмов между нами и Ледисмитом пала. Поспешно вспрыгнув в седла, мы галопом помчались к реке в надежде догнать и проучить врага. Главнокомандующий встретил нас на мосту и сурово приказал вернуться.

— К черту погоню! — таковы, говорят, были исторические слова, произнесенные им тогда.

С таким же успехом можно сказать: «К черту возмездие за убиенных! К черту расплату за пролитую кровь! К черту награды, вдохновляющие на будущие битвы!»

Наутро мы не торопясь пересекли реку, перевалили испещренные военными шрамами взгорки и выехали на открытую равнину, за которой в шести милях от нас лежал Ледисмит. Буры бежали; их мощная зенитка на Булвана-Хилле была зачехлена, и пыль от их подвод, тянувшихся на север, застилала горизонт. Приказ «К черту погоню!» все еще действовал. Болтали, что главнокомандующий добавил также:

— Лучше их не трогать, раз они и так убираются.

Весь день мы кипели негодованием, и лишь к вечеру двум эскадронам Южноафриканской легкой кавалерии было дозволено, смяв арьергард противника, вторгнуться в Ледисмит. Вместе с этими эскадронами я летел во весь опор по поросшей редким кустарником равнине, обстреливаемой лишь двумя бурскими пушками. Внезапно из-за кустов нам навстречу поднялись изможденные фигуры с приветственно поднятыми руками. Мы еще поднажали, и на первой же городской улочке, среди разрушенных домиков под жестяными крышами, нас ждал сэр Уайт в безупречном мундире и в седле. Все вместе мы въехали в осажденный, едва не вымерший от голода Ледисмит.

Это был волнующий момент.

В этот вечер я ужинал со штабными. Иэн Гамильтон,

Ролинсон, Хедворт Лэмбтон принимали нас очень тепло. Были откупорены заботливо сбереженные бутылки шампанского. Я опасался увидеть на столе конину, но ради такого случая был принесен в жертву последний из оставшихся вьючных быков. Наши бледные и исхудалые хозяева выражали свою радость очень сдержанно. Я же, проделавший столь долгий, непростой и полный превратностей путь, веселился вовсю, очутившись наконец в Ледисмите.

Глава 26
В свободной Оранжевой республике

Лорд Робертс являлся давним другом моего отца. Лорд Рандольф Черчилль, будучи министром по делам Индии, в 1885 году настоял на назначении лорда Робертса командующим индийским корпусом, отодвинув самого лорда Вулсли, претендовавшего на это место. Дружба их с лордом Робертсом продолжалась до самой кончины отца десятью годами позже. Еще ребенком я часто видел генерала у нас дома и мог похвастаться несколькими замечательными беседами с ним. Он проявлял неизменную доброту и снисходительность к юности, прощая свойственные ей незрелость суждений и чрезмерную пылкость; сам же он в полной мере обладал всеми качествами, которые располагают к себе молодежь. В бытность мою молодым офицером я всегда чувствовал, что в рядах высшего военного командования есть благородный и дружелюбный человек, на которого всегда можно положиться.

Пока мы в Натале праздновали успех, тем более дорогой после стольких разочарований, пришли сообщения, что от Капской колонии на север, в Оранжевую республику, движется лорд Робертс, что он уже прорвал осаду Кимберли, а в крупном сражении при Пардеберге окружил и взял в плен бурскую армию под командованием Кронье. Ситуация на фронте изменилась, словно бы по мановению волшебной палочки, и Черную неделю ноября 1899 года заслонили повсеместные февральские победы 1900 года. Этот перелом в ходе войны общественное мнение ставило в заслугу лорду Робертсу. Говорили, что внезапное появление на сцене этого удивительного коротышки чудесным образом разогнало мрачные тучи и солнце вновь засветило британцам в каждом уголке необъятного субконтинента.

В результате множества неудач буры отказались от оккупации Наталя. Они ушли из него с обычным для них проворством, отступив через Дракенсберг на свою территорию. Волоча за собой тяжелые пушки и весь свой скарб, они убрались недели за две, отдав Наталь в распоряжение войскам Империи. Было ясно, что далеко не сразу удастся привести в движение наше неповоротливое войско, ставшее еще неповоротливее при Буллере, починить железную дорогу, перевести немереное количество продовольствия и амуниции и покрыть сто пятьдесят миль, отделяющие Ледисмит от границ Трансвааля.

А мне не терпелось поскорее попасть на этот главный театр

войны. Свободные и простые отношения, установившиеся у меня с командованием Натальской армии после того, как я сбежал из плена в Претории, позволили мне без труда отпроситься на неопределенный срок из Южноафриканской легкой кавалерии и, не прерывая службы, перенести мою корреспондентскую деятельность в расположение армии лорда Робертса, базировавшейся тогда в Блумфонтейне. Я сложил свой ранец, воспользовался услугами натальской железной дороги, проплыл из Дурбана в Порт-Элизабет, оттуда, меняя поезда, пересек Капскую колонию и очутился наконец в роскошном отеле «Маунт Нельсон» в Кейптауне. Между тем «Морнинг пост», считавшая меня своим главным корреспондентом, предпринимала необходимые шаги для аккредитации меня в армии лорда Робертса. Понимая, что формальности займут никак не меньше нескольких дней, я заполнил досуг интересными беседами с ведущими южноафриканскими и голландскими политиками, находившимися в столице.

До сих пор я слыл шовинистом и ура-патриотом, ратующим за безжалостное подавление буров, и потому меня ругательски ругали в пробурских кругах. Теперь же я вызвал недовольство тори. Уход захватчиков из Наталя поставил под удар тех, кто сотрудничал с бурами, помогал или сочувствовал им. Вся колония ополчилась против них. Однако британское правительство, одержав победу, поначалу думало лишь о том, чтобы похоронить прошлое. Заместителю министра лорду Вулвертону разрешили даже произнести соответствующую речь. Я всей душой приветствовал подобное великодушие. Двадцать четвертого марта я телеграфировал из Ледисмита:

> Вопреки чувствам, обуревающим верных жителей колонии, храбро сражавшихся за Империю, я искренне надеюсь, что возобладает политика примирения, которой и призываю следовать. Неустанно и неумолимо добивая вооруженных мятежников, совершенно излишне и непростительно стараться «проучить» тех, кто сложил оружие. Правильный и мудрый курс — это громить сопротивляющихся, даже до последнего человека, но не колеблясь дарить прощение и даже дружбу тем, кто готов покориться. Голландские фермеры, вступившие в неприятельские ряды, могут именоваться предателями лишь в юридическом смысле. То, что, повинуясь зову крови, они присоединились к соплеменникам, извиняет их, хоть и не оправдывает. И уж конечно, поведение их менее предосудительно, нежели поведение тех англичан,

которые, будучи простыми гражданами республик, яростно, как профессиональные солдаты, воюют против своих соотечественников.

Но даже и эти англичане заслуживали бы снисхождения, если б не находились под защитой своего гражданства. Предатель-голландец не так подл, как рожденный британцем ренегат, но оба они суть следствие ошибок и даже преступлений, совершенных нами в Африке в прошлые годы. В чисто практическом плане самое главное — различать тех мятежников, что сдались добровольно, и тех, что были схвачены в бою с оружием в руках. Надо использовать все средства для ослабления противника и приведения его к покорности. На одной чаше весов — могучие армии, неуклонно наступающие, убивающие и калечащие страшными военными машинами, а на другой — тихая ферма с женой и детьми, находящимися под защитой власти не только сильной, но и милосердной. Постоянное сопоставление этих двух картинок — вот истинно мудрая политика, открывающая кратчайший путь к «почетному миру».

Эти мои призывы очень не понравились в Англии. Англичанами овладел дух мстительности, что было естественно, хоть и непродуктивно. Правительство переметнулось на сторону масс; выступление заместителя министра замяли, а на меня со всей силой обрушился гнев консерваторов. Даже «Морнинг пост», публикуя мои корреспонденции, с грустью уведомляла о своем несогласии с моей точкой зрения. Натальские газеты во весь голос ругали и кляли меня. Я отвечал, что это не первый случай, когда победитель-гладиатор, к прискорбию своему, видит, что публика в императорской ложе опустила большой палец вниз, повелевая ему добить поверженного противника.

Гораздо большее понимание и чуткость проявил в беседах со мной сэр Альфред Милнер. Его адъютант, герцог Вестминстерский, для развлечения и моциона своего шефа собрал свору охотничьих собак. Мы поохотились на шакалов в подножии Столовой горы и после веселой скачки чудесно пообедали, расположившись в кустарнике.

Верховный комиссар Южной Африки сказал так:

— Я предвидел, что ваша публикация вызовет ропот, особенно в Натале. Само собой разумеется, что всем этим людям придется сосуществовать. Им надо будет простить, забыть, чтобы как-то отстроить общую для всех страну. Но пока что страсти

накалены. Те, кто потерял родных и друзей, те, в чьи дома вторгся, разрушив их, враг, сейчас и слышать не хотят о милосердии. Надо дать им успокоиться, прийти в себя. Я понимаю ваши чувства, но выражать их сейчас — несвоевременно.

Эти спокойные слова произвели на меня сильное впечатление. Трудно было ожидать такой объективности, такой широты взгляда от человека, повсеместно считавшегося воплощением жесткости и бескомпромиссности. В конечном счете, несмотря на суровые высказывания, отношение британского правительства к мятежникам и предателям оказалось в высшей степени мягким и снисходительным.

Здесь мне следует признаться, что на протяжении всей моей жизни я постоянно вступал в конфронтацию попеременно то с одной, то с другой из правящих английских партий. В войнах и всякого рода разногласиях я всегда выступал за твердые, решительные действия до победного конца, но потом первым протягивал руку дружбы побежденному. Таким образом, я всегда выступал против пацифистов в периоды конфликтов и против джингоистов по достижении мира. Через много лет после событий в Южной Африке лорд Биркенхед процитировал мне латинское изречение, на мой взгляд, отлично выражающее мою позицию: «Parcere subjectis et debellare superbos». В великолепном переводе лорда оно звучит так: «Щади поверженного и сокруши гордеца». Своим непросвещенным умом я, кажется, додумался почти до того же. Римляне не раз предвосхищали многие из лучших моих идей, и я вынужден отдать им патент и в данном случае. И нигде эта мудрость не пригодилась нам более, чем в Южной Африке. Забвение ее приносило страдания, в то время как следование ей вело к победе.

И не только в Южной Африке. Я полагал разумным сначала покорить ирландцев, а потом дать им гомруль; заморить немцев голодом, а затем возродить их страну; подавить Всеобщую забастовку, после чего пойти на серьезные уступки шахтерам. Я вечно подвергался нападкам, потому что очень немногие сочувствуют этому принципу. Однажды мне предложили придумать надпись на памятнике во Франции. Я написал: «В войне — решимость. В поражении — стойкость. В победе — великодушие. В мирной жизни — доброжелательность». Надпись мою не приняли. Беда наша, что мозг человеческий имеет два полушария, но мыслит только одно, поэтому все мы либо левши, либо правши, а будь мы сконструированы лучше, так могли бы одинаково ловко владеть обеими руками и пользовались бы то одной, то другой в зависимости от обстоятельств. Вот почему те,

что хорошо воюют и способны побеждать, почти никогда не умеют мириться и жить в согласии, тем же, кто умеет жить в мире, никогда не выиграть войны. Вряд ли стоит навязывать читателю вывод, что сам я умел как то, так и другое.

После нескольких дней весьма приятного времяпрепровождения в Кейптауне я начал беспокоиться, почему мне не присылают разрешение на мой выезд в Блумфонтейн. Потом минула неделя, но ответ на официальный запрос «Морнинг пост» все не приходил. Я понял, что возникло некое препятствие, но недоумевал, что бы это могло быть. Своими корреспонденциями из Наталя я неизменно старался вселить в англичан уверенность, всячески сглаживая многочисленные провалы и «печальные недоразумения», которыми отличалась Натальская кампания. В эпоху малых войн военные корреспонденты являлись значительными фигурами, я же, служивший влиятельнейшей газете, был в числе известнейших из них. Я ломал голову и допрашивал свою совесть в попытке найти хоть какую-нибудь разумную причину явного противодействия, с которым столкнулся.

По счастью, в штабе лорда Робертса у меня имелись два добрых и могущественных друга. Едва с Ледисмита была снята осада, лорд Робертс послал за Иэном Гамильтоном, прежним своим адъютантом и ближайшим наперсником. Генерал Николсон — Старый Ник из окружения Локхарта в Тире — тоже занимал видное положение в штабе. Эти двое оставались при Робертсе много лет, как в дни мира, так и во время войны, являясь частью сообщества, подобного тому, которое маршал Фош позднее именовал «та famille militaire»[51]. Оба пользовались особым расположением главнокомандующего и в любое время имели к нему свободный доступ. Несмотря на разницу в возрасте и положении, я мог рассчитывать на их дружеское участие. Поэтому к этим офицерам я и обратился. Они известили меня телеграммой, что стопорит дело не кто иной, как сам главнокомандующий. Лорда Китченера, похоже, обидели некоторые пассажи моей книги «Война на реке», и лорд Робертс опасался, что его начальнику штаба придется не по вкусу мое назначение корреспондентом в главное подразделение армии. Но существовало также, сообщали они, и еще одно неприятное обстоятельство, повлиявшее на лорда Робертса. В одной из своих натальских корреспонденций в «Морнинг пост» я разнес в пух и прах проповедь, которую армейский капеллан-англиканин произнес перед бойцами накануне сражения. Главнокомандующий счел крайне несправедливой такую оценку

духовного окормления солдат преданными служаками. Он был, как донесли мне мои друзья, «чрезвычайно строг». Однако они пытались его смягчить и надеялись через несколько дней в этом преуспеть. Мне же, пока суд да дело, оставалось только ждать.

Теперь я ясно вспомнил злополучный инцидент с проповедью капеллана и свой на него отклик. Происходило это все в воскресенье между Спайон-Копом и Вааль-Кранцем. Бригада, которую на следующий день или через день ожидал жесточайший бой, собралась для богослужения на лужайке возле Тугелы, куда едва не долетали неприятельские снаряды. В минуту, когда все сердца, даже самые равнодушные, готовы были открыться для веры, и прочувствованное слово могло пустить глубокие и прочные корни, нас вдруг стали развлекать какими-то нелепыми и малоубедительными байками о том, как израильтяне сокрушили стены Иерихона. Я позволил себе тогда замечание, возможно несколько язвительное, но, без сомнения, справедливое: «Слушая эти благоглупости, я вспомнил о роли доблестного и почтенного отца Бриндла[52] в Омдурманской кампании и задался вопросом, не воспользуется ли опять Рим шансом, которым пренебрег Кентербери!» Эта суровая критика, видимо, вызвала переполох в официальной церкви. Поднялся ропот негодования и был организован настоящий крестовый поход. Несколько священников, славившихся ораторским даром, покинули свои кафедры и выразили желание ехать на фронт, после чего были немедленно отправлены в Южную Африку помогать армейским капелланам в их самоотверженных, но довольно жалких усилиях. Но несмотря на результативность и, надо думать, благотворность принятых мер, сам повод к их принятию продолжал восприниматься как оскорбление. Лорд Робертс, человек глубоко религиозный, всю жизнь проведший на военной службе, считал, что институт армейских капелланов был оклеветан, а факт присылки подкрепления лишь усугубил нанесенную капелланам обиду. В этих обстоятельствах перспектива на следующие несколько дней выглядела унылой, и никакие мирские развлечения, предоставлявшиеся отелем «Маунт Нельсон», не могли меня утешить.

Однако в конце концов друзья мои одержали верх. Мне было дано разрешение на свободный проезд в Блумфонтейн с единственной оговоркой: к исполнению обязанностей корреспондента я приступлю только после того, как приму от помощника главнокомандующего предупреждение о недопустимости опрометчивой и жестокой критики. Благодарный и за это, я в тот же вечер отправился в долгий путь по железной дороге, по окончании которого был тепло встречен двумя моими

высокопоставленными приятелями, чьих влияния и авторитета хватило на то, чтобы сломить все протесты. В назначенный срок я с величайшей покорностью выслушал поучения помощника главнокомандующего, после чего получил полную свободу и возможность при минимальной и очень мягкой цензуре писать что угодно и обо всем, о чем мне вздумается. Но лорд Робертс, однако, продолжал держаться со мной отстраненно. Хотя он и знал, что я ежедневно общаюсь с его ближайшими соратниками и друзьями, и знал, что я знаю, как моя деятельность обсуждается за его столом, даже когда есть темы гораздо более насущные, он не только ни разу не принял меня, но даже не подавал вида, что знаком со мной. Когда однажды утром я вдруг столкнулся с ним на запруженной офицерами рыночной площади Блумфонтейна и отдал ему честь, он ответил на приветствие так, будто видел меня впервые.

Но повседневность была так увлекательна, так полна событиями, что не оставляла мне времени на то, чтобы чрезмерно печалиться из-за неудовольствия, которое вызвал я у великого человека и почтенного друга нашего семейства. Снабжаемый, благодаря щедрости «Морнинг пост», лучшими лошадьми и всеми необходимыми средствами передвижения, я летал взад-вперед от колонны к колонне, поспешая туда, где намечался бой. Иной раз, покрыв в полном одиночестве энное число миль невесть чьей земли, я прибывал в арьергард британской колонны, почти окруженной неприятелем на огромной равнине. Если командир не имел ничего против, я застревал там на три-четыре дня, а затем пускался в обратный путь по дышащему немой угрозой ландшафту, торопясь возобновить поток писем и телеграмм в газету.

После прорыва осады Ледисмита и своего поражения в Свободной республике многие буры, сочтя войну законченной, вернулись на свои фермы. Республики жаждали мирных переговоров, почему-то решив, что теперь, когда «британцы восстановили свой престиж», такие переговоры возможны. Однако никто из нас эту идею не поддерживал. Имперское правительство, ссылаясь на ущерб от бурского вторжения, сурово заявило, что о своих условиях будущего государственного устройства Южной Африки оно сообщит из Претории. Между тем тысячи буров Свободной республики разошлись по домам и поклялись соблюдать нейтралитет. Если бы лорд Робертс немедля продолжил наступление в сторону Претории, то весьма вероятно, что всякое сопротивление, по крайней мере к югу от реки Вааль, было бы подавлено. Но вначале армии следовало пополнить свои запасы. Главные железнодорожные мосты были разрушены, а по

возведенным на их месте временным конструкциям грузы переправлялись в час по чайной ложке. Большая часть того, что доставлялось за день, за день и потреблялась, так что дневной запас скапливался примерно за четыре дня. Было ясно, что возобновить наступление не удастся ранее чем через несколько недель. А между тем решительные бурские вожди, собравшись с силами, предприняли вторую попытку атаки, менее мощную, но более продолжительную и нанесшую нам более значительный урон, чем прямое вторжение. Началась партизанская война. Первым делом были мобилизованы горожане и фермеры, поспешившие заключить свой личный сепаратный мир. Тысячи давших клятву хранить нейтралитет под угрозой насилия вновь взялись за оружие. Британцы осудили такое предательство, и хоть никто за нарушение клятвы расстрелян не был, к борьбе теперь примешивались горечь и досада.

Выяснилось, что война жестоко обошлась с генералом Брабазоном. Начинал он ее командиром регулярной кавалерийской бригады. Но в ходе изматывающих выжидательных операций, предшествовавших Колсбургу, он поссорился с генералом Френчем. Френч был моложе и сильнее характером. Старый «Браб» с трудом приноравливался к новым условиям войны. Он постоянно ссылался на то, «как мы делали это в Афганистане в 78-м или при Суакиме — в 84-м», когда Френч был еще младшим офицером. Но теперь-то Френч командовал дивизией, а уроки 1878 и 1884-го устарели, превратившись в зыбкие воспоминания. Противоречие это усугублялось опасной насмешливостью Брабазона, его острым языком. Он часто подтрунивал не только над тактическими решениями, но и над мальчишескими замашками Френча. Остроты его передавались из уст в уста и дошли до штаба. Френч нанес ответный удар. Брабазона сняли с командования бригадой и поставили во главе десятитысячной Имперской территориальной конницы, постепенно собирающейся в Южной Африке. Казалось, что это повышение, как и было преподнесено Брабазону. Но на поверку вышло наоборот. Десять тысяч приехавших добровольцев были разбросаны по всему театру военных действий. Бедному моему другу досталась лишь одна-единственная бригада мало на что годных неумех. С ними он сейчас и воевал на юго-востоке от Блумфонтейна. Я решил навестить его.

Погрузив своих лошадей и кибитку на товарную платформу, я доехал поездом до Эденбурга. Утром 17 апреля я потащился оттуда под проливным дождем по очень неспокойному району. Путешествие прошло благополучно, и 19 апреля вечером я нагнал британскую колонну в восьми милях от Деветсдорпа. Оказалось,

что это 8-я дивизия, последняя дивизия нашей регулярной армии, составленная из гарнизонов крепостей в разных концах Империи. Командовал ею сэр Лесли Рандл, позднее получивший ехидное прозвище Тихоход. Рандла я знал по Нильской экспедиции. Бригада Брабазона ушла вперед в разведку. Рандл принял меня радушно, и утром следующего дня я выехал на встречу с Брабазоном. Тот был рад меня видеть и поделиться со мной своими горестями, нарассказал мне кучу историй о Френче, а также о войне и вообще о жизни. Несколько дней мы провели вместе.

Очень скоро мы приблизились к холмам, окружающим Деветсдорп. Тишину разорвал стрекот далекой ружейной пальбы, и наши патрульные поспешили обратно. Засим последовала одна из самых смехотворных операций из всех, которые мне довелось наблюдать. Брабазоновские ополченцы заняли ближний холм, и завязалась перестрелка с бурами, очевидно укрепившимися на поросших травой хребтах на подступах к городу. Три или четыре вражеские пушки открыли огонь. Дали знать Рандлу, и к вечеру он прибыл с двумя бригадами. Мне разрешили присутствовать на совете. Брабазон настаивал на сражении. Стали готовиться к атаке, назначенной на завтра. Однако уже ранним утром командир одной из бригад, сэр Герберт Чермсайд, доложил командующему о серьезности сложившейся ситуации. В 1878-м, то есть за двадцать два года до описываемых событий, Чермсайд воевал на русско-турецкой войне, поэтому говорил со знанием дела. Сейчас он заявил, что у буров здесь столь же грозная линия обороны, как была у турок под Плевной, а потому крайне опрометчиво бросаться на приступ, не мобилизовав прежде все наши ресурсы, если только мы не желаем заплатить за это тысячами жизней. В результате было решено подождать прибытия третьей бригады под командованием генерала Барр-Кэмпбелла с входящими туда двумя гвардейскими батальонами, которая уже двигалась от железной дороги и ожидалась к вечеру. Таким образом, мы приятно провели время в мелких столкновениях с бурами, и, едва смерклось, к нам присоединилась еще одна крупная пехотная часть. Теперь мы располагали одиннадцатью тысячами пехотинцев и восемнадцатью тяжелыми орудиями. Все было готово к завтрашнему штурму. Но в тот же вечер сорок бойцов Беркширского полка, отправившись в темноте к ближайшему ручью за водой, к несчастью, заблудились и вышли прямиком к бурам. Этот инцидент произвел удручающее впечатление на командующего, и он телеграфировал лорду Робертсу, испрашивая распоряжений. В то время всем генералам было строжайшим образом велено не допускать больших потерь в

живой силе. Фронтальные атаки, по существу, не разрешались. Действовать было предписано мягко и маневренно — инструкция замечательная в теории, но совершенно обескураживающая на практике!

На рассвете, когда все выстроились для атаки и наша территориальная конница ожидала сигнала двинуться в обход левого фланга противника, внезапно прибыл офицер из штаба с приказом отложить сражение — по крайней мере, на день. Тут уж Брабазон не выдержал. Он подъехал ко мне и, состроив насмешливую мину и покачав головой, громко, во всеуслышание произнес:

— Боб Акр![53]

Хватило ли штабному офицеру коварства передать по назначению этот непочтительный отзыв, сказать не берусь.

Чтобы успокоить Брабазона и заодно хоть что-то предпринять, кавалеристам разрешили совершить разведывательную вылазку — прощупать левый фланг этой так называемой «Плевны». И тут меня ожидало захватывающее приключение.

Чтобы не нафантазировать лишнего, я приведу здесь то, что было написано мной в тот вечер.

«Бригада, включавшая конную пехоту и состоявшая примерно из тысячи боевых единиц, двинулась в южном направлении под прикрытием наших аванпостов и, быстро описав широкую дугу, вышла к левому флангу неприятеля… Местность круто спускалась к широкому дну котловины, посреди которой стоял заметный, особенной формы холм. За ним скрывался Деветсдорп. Холм окружали буры — конные и пешие — числом около двух сотен.

Наш молниеносный рывок чуть ли не в самое их средоточие взбудоражил буров и испугал. Они не могли понять, разведка это или атака, и собрались разрешить все сомнения, попытавшись зайти во фланг заходящей во фланг им кавалерии. Едва наши дальнобойные винтовки заставили их укрыться за холмом, как словно выросшие из-под земли новые две сотни всадников, промчавшись в двух тысячах ярдов от нашего фронта, устремились к белому каменному взгорку справа от нас.

Энгус Макнил, принявший на себя после гибели Монморанси командование его разведчиками, бросился к генералу:

— Сэр, разрешите мы отрежем им путь! Думаю, нам это

удастся!

Разведчики навострили уши. Генерал погрузился в размышления.

— Ладно! — сказал он. — Попробуйте!

— По коням, по коням, разведчики! — порывисто вскричал офицер, сам вскакивая в седло. И тут же обратился ко мне: — Поезжайте с нами! Мы устроим вам представление — первый класс!

Совсем недавно я сгоряча дал обещание провести один день при разведчиках. Сейчас я глядел на буров: они ближе, чем мы, находились к белому каменному взгорку, но, с другой стороны, им предстояло еще взбираться по склону котловины и лошади у них, судя по всему, были хуже. Дело могло выгореть, а если выгорит — мне вспоминалась стычка при Эктон-Хоумс, — бурам на этой голой равнине не поздоровится! И потому ради „Морнинг пост“ и ее интересов я сел на коня, и мы полетели как из лука стрела — сорок-пятьдесят разведчиков, Макнил и я, — нещадно шпоря лошадей.

С первой же минуты это стало соревнованием в скорости, что отлично понимали обе стороны. Когда мы сблизились, я разглядел пятерых вражеских лидеров гонки: скача на лучших лошадях, они опережали остальных, исполненные решимости удержать стратегически выгодную высоту. Я сказал: „У нас ничего не выйдет“, но никто не хотел ни признать поражения, ни останавливаться на полпути. Финал нетрудно предугадать.

В ста, а чтобы быть точным, ста двадцати ярдах от вершины взгорка путь нам преградила колючая проволока. Спешившись, мы принялись ее резать, уже готовые ступить на вожделенные скалы, как вдруг — мрачные, волосатые, ужасные, какими я видел их на железнодорожных путях во Фрере, — показались головы дюжины буров; а сколько еще их было на подходе?

Последовала странная, почти необъяснимая пауза, а может, ее и вовсе не было; но в память успело врезаться многое. Прежде всего буры: один с черной длинной бородой, в шоколадного цвета куртке, другой — с красным шарфом на шее. Два разведчика, хладнокровно продолжающие резать проволоку. Еще один, целящийся в противника из-за крупа своей лошади, и твердый голос Макнила:

— Опоздали! Быстрее к другому холму! В галоп!

Тут раздался треск ружейных выстрелов, в ушах засвистели и зажужжали пули. Я вставил ногу в стремя. Испуганная пальбой лошадь прянула. Я попытался вскочить в седло, но оно соскользнуло, очутившись под брюхом лошади. Животное шарахнулось от меня и безумным галопом умчалось прочь.

Большинство разведчиков уже отскакали ярдов на двести. Я остался один, без лошади, под носом у буров, на расстоянии никак не меньше мили от какого-либо укрытия.

Единственным моим утешением оставался пистолет. Носиться от них безоружным по полю, как это уже однажды было, мне, по крайней мере, не придется. Но лучшее, что меня ждало, — это тяжелое ранение. Я повернулся и второй раз за эту войну бросился наутек от бурских стрелков. В голове промелькнула мысль: „Вот и мой черед настал“. И тут я увидел нашего разведчика. Он выскочил слева мне наперерез — высокий, с черепом и скрещенными костями на значке, верхом на бледном коне. Смерть из Апокалипсиса, но для меня — жизнь!

Я крикнул:

— Подсади!

К моему удивлению, всадник тут же остановился.

— Давай залезай, — коротко бросил он.

Я подбежал к нему и, не заставив себя долго ждать, через секунду уже сидел в седле за его спиной.

Мы поехали. Я обнимал разведчика сзади, держась за лошадиную гриву. С моей руки стекала кровь, потому что лошадь была серьезно ранена. Однако отважное животное держалось стойко. Летевшие нам вдогонку пули просвистывали у нас над головой, так как цель неуклонно удалялась.

— Не бойтесь, — сказал мой спаситель, — они в вас не попадут. — И не дождавшись от меня ответа, продолжал: — Бедная моя коняга, вот несчастье, ее ранило разрывной пулей. Черти окаянные! Но ничего, они еще поплатятся! Бедная моя коняга!

Я сказал:

— Зато вы жизнь мне спасли.

— А? Что? — не понял он. — Да я о лошади говорю.

На этом наш разговор прекратился.[54]

Судя по числу проносившихся мимо пуль, после того как мы покрыли первые пятьсот ярдов, опасность быть подстреленными практически для нас миновала, так как скачущая галопом лошадь — не очень удобная мишень для усталых, запыхавшихся стрелков. И все же, лишь завернув за дальний холм, я почувствовал облегчение и мог сказать, что мне опять выпала двойная шестерка».

Вернувшись в лагерь, мы узнали, что лорд Робертс, полагая,

что «Рандл попал в переплет», двинул из Блумфонтейна еще одну пехотную дивизию, и вдобавок все три кавалерийские бригады Френча атаковали Деветсдорп широким охватом с северо-запада. Через два дня операция была завершена, и две с половиной тысячи буров, которые в течение десяти дней изматывали превосходящих их, по крайней мере, вдесятеро британцев, спокойно ускользнули на север, прихватив с собой своих пленников. Было ясно, что с партизанской войной так просто не разделаться.

Пристав к кавалерийской дивизии Френча, я пошел с нею на север. Окружавшая меня атмосфера не отличалась особой дружелюбностью. Похоже было, что Френч, подобно многим другим тогдашним генералам, моей активности не одобрял. Соединение в одном лице младшего офицера и видного военного корреспондента по вполне понятным причинам претило армейскому уму. Но к этим общим предрассудкам добавлялась еще и личная антипатия. Было известно, что я являюсь ревностным защитником и другом моего старого командира полка. Поэтому я попал в зону этой генеральской вражды. Даже Джек Милбэнк, адъютант Френча, к тому времени оправившийся после ранения и увенчанный Крестом Виктории, был не в силах как-то смягчить неприязнь Френча по отношению ко мне. Хоть я и участвовал в маршах и мелких стычках вместе с его солдатами, генерал полностью игнорировал меня и не выказывал ни малейших признаков любезности и расположения. И я об этом сожалел, потому что меня восхищали слышанные мною рассказы о том, как мастерски оборонял он фронт при Колсберге, как летел он на лихом скакуне сквозь ряды буров на выручку осажденному Кимберли. Мне очень, очень нравилась личность этого храброго военачальника, уже озаренного в тот момент отблеском растущей славы. Таким образом, на Англо-бурской войне мне не довелось и словом перемолвиться с генералом, впоследствии ставшим одним из ближайших моих друзей и соратников во многих моих начинаниях, как в годы мира, так и войны.

Глава 27
Йоханнесбург и Претория

Только в начале мая у лорда Робертса собралось достаточно провианта для похода на Йоханнесбург и Преторию. Между тем война затягивалась и ход ее осложнялся. Штаб армии на два месяца застрял в Блумфонтейне, и перед наступлением сделалась страшная сумятица. В штабе лорда Робертса состояли на разных должностях герцог Норфолкский, герцог Вестминстерский и герцог Мальборо. Радикальные газеты изощрялись в сарказмах по этому поводу, и главнокомандующий, видимо склонный по натуре своей принимать чересчур близко к сердцу общественное мнение, решился произвести сокращение. В жертву был принесен герцог Мальборо. Такой удар по карьере сильно расстроил моего кузена. По счастью, Иэн Гамильтон как раз в это время получил чин генерала и вверенное его командованию отдельное подразделение из шестнадцати тысяч человек, включая четыре тысячи кавалеристов, должно было двигаться параллельно основной группе войск на расстоянии сорока-пятидесяти миль от их правого, или восточного, фланга. Я решил сопровождать в наступлении именно эту часть, зная, что моему присутствию там будут рады. Я телеграфировал Гамильтону, предлагая ему взять в свою свиту и Мальборо. Генерал согласился, и лорд Робертс, не любивший никого обижать, очень этому обрадовался. Я заложил свою четырехконную кибитку, и мы пустились догонять колонну на фланге. Мы без всякого сопровождения промахали сорок миль по кишащей бурами равнине и нагнали наших друзей на окраине Винбурга. С этого момента все было отлично.

Начался веселый поход, длившийся вместе с остановками около полутора месяцев. За это время мы покрыли четыре или пять сотен миль. Чудесный воздух и климат Южной Африки, великолепный ландшафт, жизнь, полная непрестанного движения и разнообразных случайностей, запечатлелись в моей душе так ярко, что и четверть века спустя воспоминания о них не утратили своей свежести и бодрящей силы. Каждый день мы видели новые места, каждый вечер мы устраивали бивуак возле какого-нибудь нового ручья. Питались мы овцами, которых гнали с собой, и курами, которых отлавливали в покинутых селениях. Под откидным дощатым дном моей кибитки лежал двухфутовый слой консервов и бутылок со стимулирующими напитками — наилучших из тех, какими мог снабдить меня Лондон. Мы не нуждались ни в чем, и дни напролет я только и делал, что в

юношеской беспечности своей рыскал в поисках приключений, подвигов и примеров для подражания. Почти ежедневно с рассветом, когда наш широкий строй людей и животных трогался с места, стрекот ружейных выстрелов, раздававшийся спереди, с флангов, а чаще в арьергарде, наполнял наши сердца особым предбоевым трепетом. Иногда, как, например, при переправе через Сэнд-Ривер, завязывался настоящий бой, и видно было, как большие войсковые соединения штурмуют холмы и хребты, удерживаемые стремительной, ловкой и вездесущей конницей буров. Сотни окружаемых, отрезаемых, заманиваемых в западни британцев свидетельствовали об отменной боеспособности этих вооруженных ружьями детей гор, которые выслеживали нас с упорством и зоркостью следопытов.

Лорд Робертс, вопреки выводам разведки, считал, что враг будет отступать скорее в Западный, чем в Восточный Трансвааль. Соответственно при нашем приближении к границам Трансвааля колонна Иэна Гамильтона была перекинута с правого фланга основного корпуса войск на левый. Мы пересекли железнодорожную магистраль и направились к броду через Вааль-Ривер. Предполагалось, что мы обойдем Йоханнесбург с запада и выдворим оттуда врага, избавив, таким образом, основной корпус от чреватого большими потерями лобового штурма. Буры разгадали наш маневр и, готовые сдать Йоханнесбург, все же выдвинули крепкий оборонительный заслон навстречу наступавшей колонне Гамильтона в местечке под названием Флорида по дороге из Йоханнесбурга в Потчефстром.

Первого июня 1900 года именно там, где за четыре года перед тем были схвачены участники рейда Джеймсона, мы встретили то, что называлось тогда ожесточенным сопротивлением. Буры, укрывшись среди обнаженных скал на горных грядах, не дрогнули под обстрелом, и их пришлось скидывать оттуда штыками. Гордонский горский полк, потеряв почти сотню убитыми и ранеными, выполнял эту трудную задачу, в то время как конница Френча предпринимала довольно слабые попытки сокрушить правый фланг противника и его арьергард. В этом бою я попал в опасную передрягу. Когда Гордонские горцы все-таки утвердились на гребне, генерал Смит-Дорьен, командовавший одной из бригад Иэна Гамильтона, пожелал немедленно поднять на занятую позицию свою артиллерию и для быстроты решил выбрать место самолично. Предложив мне его сопровождать, он без свиты поскакал по волнистым склонам. Буры, по обычаю своему, подожгли сухую траву, и длинные полосы дыма там и сям застили вид. В этом дезориентирующем куреве мы проскочили левый фланг Гордонских горцев и, проехав

сквозь завесу дыма с ее огненной кромкой, вдруг очутились всего в сотне ярдов от неприятеля. Тут же раздался треск ружейных выстрелов. Воздух наполнился взвизгами свежевыпущенных пуль. Резко развернувшись, мы вновь нырнули под дымовую завесу. Одну из лошадей оцарапало пулей, но в остальном мы были невредимы.

В утро операции войска сэра Иэна Гамильтона перекрыли подступы к Йоханнесбургу с запада. В двадцати милях к югу от города должен был уже расположиться штаб лорда Робертса. Эти части пока никак между собой не сообщались. Йоханнесбург все еще находился в руках неприятеля, а возвращаться на юг той дорогой, которой мы пришли, значило сделать крюк почти в восемьдесят миль в обход неприступного горного массива. По этому пути был немедленно отправлен отряд кавалерии. Однако назрела необходимость в более быстрой связи с главнокомандующим. Покинувшее город гражданское население давало разноречивые сведения о том, что происходит в городе. Буры постепенно уходили, но все еще не ушли. Один молодой француз, вроде бы хорошо информированный, заверил меня, что проехать в город на велосипеде, переодевшись в гражданское платье, не составит труда. В эти последние часы перед окончательной сдачей вряд ли существовала опасность быть задержанным и допрошенным. Француз обещал обеспечить меня велосипедом и сопроводить. Я решился рискнуть. Сэр Иэн Гамильтон вручил мне депешу, и я прихватил еще собственные заметки для «Морнинг пост». После полудня мы покатили в город прямо по главной дороге. Когда наши аванпосты остались позади, я остро почувствовал: вот оно, настоящее приключение. Вскоре мы уже были в Йоханнесбурге. Уже смеркалось, но на улицах толпились люди, среди которых я приметил буров — вооруженных и на конях. Город еще принадлежал им, и мы находились в их расположениях. По всем военным законам меня в случае ареста ждал трибунал. Я был офицером Южноафриканской легкой кавалерии, который, тайно переодевшись в гражданское платье, проник в лагерь противника. Ни один военно-полевой суд Европы ни секунды не стал бы колебаться, вынося свой вердикт. Я ясно сознавал это.

На улице, круто забиравшей в гору, мы вынуждены были спешиться и подниматься пешком. Толкая вперед велосипеды, мы услышали, что нас нагоняет трусящий потихоньку всадник. Ускорить шаг было бы для нас погибелью. Мы продолжали все так же ползти вверх, изображая беззаботность и время от времени перекидываясь французскими, как мы заранее условились, словами. Не прошло и минуты, как всадник поравнялся с нами.

Он придержал лошадь и стал внимательно нас рассматривать. Я поднял на него глаза, и наши взгляды встретились. За спиной у него была винтовка, на поясе — пистолет в кобуре и три полных патронташа. На конягу он, видимо, навьючил весь свой скарб. Какое-то время, показавшееся мне вечностью, мы двигались бок о бок, после чего наш неприятный спутник, пришпорив лошадь, пустил ее все той же трусцой и быстро оставил нас позади. Но радоваться было рано. В любой момент мы могли наскочить на вражеские пикеты, если таковые были выставлены против пикетов лорда Робертса. Мы сочли разумным ехать прямо по дороге, в открытую и не таясь. Однако ни вражеских, ни, к величайшему моему сожалению, британских пикетов мы так и не встретили. На окраинных улочках Йоханнесбурга мы увидели первых британских солдат из армии лорда Робертса. Совершенно безоружные, они валили в город в поисках еды, а возможно, и выпивки. Мы спросили, где стоят наши. Они только махнули рукой: мол, вот тут и стоят. Мы посоветовали им особо в город не углубляться, чтобы не угодить в плен или под пулю.

— Как так, генерал? — спросил один из них, вдруг заинтересовавшись этой странной возможностью.

Когда мы объяснили, что всего лишь в миле оттуда нам попадались вооруженные буры, наши вояки, отказавшись от плана набега на город, принялись шарить по окрестным домам. Я и мой товарищ продолжали нашу велосипедную прогулку вдоль по дороге, пока не нашли штаб передовой дивизии лорда Робертса. Оттуда нас направили в главный штаб, находившийся почти на десять миль южнее. Прибыли мы туда уже в полной темноте. В дверях меня встретил знакомый адъютант:

— Откуда это вы взялись?

— Прислан Иэном Гамильтоном. У меня от него депеша для главнокомандующего.

— Великолепно! — воскликнул он. — Нас так мучает неизвестность!

Он исчез. Мне надо было повидать цензора печатных сообщений, чьему вниманию я намеревался предложить целую кипу корреспонденций, содержавших новейшую эксклюзивную информацию. Но прежде чем я успел разыскать это официальное лицо, вернулся адъютант:

— Лорд Робертс незамедлительно просит вас к себе.

Главнокомандующий ужинал в обществе штабных офицеров. Их было человек десять. Когда я вошел, он поспешно встал и, сердечно протянув руку, шагнул мне навстречу.

— Как удалось вам добраться? — спросил он.

— По дороге через город, сэр.

— Через Йоханнесбург? Нам докладывают, что город все еще занят неприятелем.

— Какое-то количество буров там еще есть, но они уходят.

— Вы видели буров?

— Да, нескольких.

В его глазах сверкнул огонек. У лорда Робертса были замечательные глаза — яркие, очень живые. Помнится, я обратил на это внимание.

— Вы наблюдали вчерашнюю операцию Гамильтона? — был его следующий вопрос.

— Да, сэр.

— Расскажите мне о ней.

И я, тут же усаженный за стол и усердно угощаемый, предоставил полный отчет о действиях подразделения Гамильтона старому другу моего отца, вновь ставшему теперь и моим другом.

Претория капитулировала через четыре дня. Длинные караваны буйволов одолели сотни миль, таща за собой девятипятидюймовые гаубицы — «коровы», как называли тогда эти пушки, предназначенные для обстрела крепостей, но они так и не понадобились. Однако мой въезд в бурскую столицу был впечатляющим. Ранним утром 5-го мы с герцогом Мальборо, выехавшим вместе со мной, нагнали голову пехотной колонны, уже достигшей городских окраин. Ничего не остерегаясь, мы, большая группа офицеров, подъехали к железнодорожному переезду, где встали возле закрытого шлагбаума. Перед нашими глазами медленно прочухал вслед за двумя локомотивами длиннющий состав, до отказа набитый вооруженными бурами, выставившими из окон свои винтовки. Мы ошеломленно глядели друг на друга с расстояния не больше трех ярдов. Один-единственный выстрел мог стать началом жуткого побоища, кровопролитного для обеих сторон. Хоть и жалко было упускать поезд, мы испытали неподдельное облегчение, когда мимо скользнул последний вагон.

После этого Мальборо и я помчались галопом в город. Мы знали, что содержавшихся в Образцовой школе пленных офицеров оттуда перевели, и спросили, как проехать туда, где, как мы надеялись, они пребывали теперь. Существовала опасность, что их вывезли из города, возможно, последним поездом. Но едва завернув за угол, мы увидели территорию тюрьмы — длинный железный барак, окруженный плотным кольцом проволочного ограждения. Взмахнув шляпой, я издал приветственный клич. На клич этот моментально отозвались изнутри. Все, что произошло

потом, напоминало финал мелодрамы в театре «Адельфи». Нас было всего двое, а перед нами стояла бурская охрана с ружьями наизготовку. Мальборо, великолепный в пылании алых штабных петлиц, призвал коменданта немедленно сдаться, по счастью догадавшись пообещать ему расписку за сданное оружие. Заключенные хлынули во двор — кто в военной форме, кто в штатском, кто без шляпы, кто без кителя, но все в крайнем возбуждении. Караульные побросали винтовки, ворота распахнулись, и, пока последний из охранников (всего их насчитывалось пятьдесят два) стоял в замешательстве, не зная, что дальше делать, истомившиеся в заключении офицеры окружили их и разобрали оружие. У кого-то в руках появился «Юнион Джек». Герб Трансвааля был сорван, и под громкие крики восторга наших пленных товарищей над Преторией взвился первый британский флаг. Время: 8.47, 5 июня. Потрясающая картина!

В Южной Африке мне было суждено пережить и еще одно приключение. Приняв участие две недели спустя в битве при Даймонд-Хилле, предпринятой для того, чтобы отогнать буров подальше от Претории, я решил вернуться домой. Армейские операции оканчивались. Война приобретала партизанский характер и обещала стать хаотичной и неопределенной. Между тем далее откладывать всеобщие выборы становилось невозможным. С согласия командования я вернул себе гражданский статус и сел в поезд, отправлявшийся в Кейптаун.

Все шло как по маслу до тех пор, пока мы не миновали Копье-стейшн, местечко, находившееся милях в ста от Йоханнесбурга. Рано утром на рассвете я завтракал в обществе герцога Вестминстерского, ехавшего с каким-то поручением от лорда Робертса, как вдруг поезд, дернувшись, встал. Мы спрыгнули на землю, и в ту же минуту почти в ногах у нас разорвался снаряд, выпущенный из легкой бурской пушки. Раздался ужасный грохот, и с насыпи во все стороны полетел песок. Впереди, в сотне ярдов от нас, полыхал временный деревянный мост. Наш длинный состав был заполнен разнородной солдатней, которую по той или иной причине отсылали на юг или домой. Никто ею не командовал. Растерянные солдаты повыскакивали из вагонов. Офицеров в толпе я не заметил. От Копье-стейшн, где находился форт с двумя пятидюймовками, мы отъехали уже на три мили. История с бронепоездом была настолько жива в моей памяти, что я прежде всего подумал о пути отступления. Повторения того, что случилось 15 ноября, я не хотел и потому со всех ног бросился к паровозу, влез в кабину и приказал машинисту дать свисток,

чтобы, заставив людей вновь занять свои места, немедленно вернуться назад в Копье-стейшн. В то время как, стоя на подножке, я проверял, все ли солдаты возвратились в вагоны, в ста ярдах от нас в высохшем русле реки под горящим мостом я заметил кучку темных фигур. В последний раз я видел буров в роли врагов. Оперев о деревянную ручку свой маузер, я выстрелил в них раз шесть или семь. Кучка рассыпалась без единого ответного выстрела. Паровоз поспешно тронулся, и вскоре мы уже были на укрепленной Копье-стейшн. Здесь нам стало известно, что у Хонинг-спруйт, следующей за Копье-стейшн станции, разгорелось жестокое сражение. Поезд, шедший перед нами, был задержан большим бурским отрядом и как раз в этот момент подвергался яростному артиллерийскому обстрелу. Буры разбили рельсы перед нашим локомотивом, без сомнения, для того, чтобы не допустить прибытия британского подкрепления. Тем не менее, потеряв шестьдесят или семьдесят бойцов, наши друзья на Хонинг-спруйт ухитрились продержаться до следующего дня, когда с юга к ним подошла помощь и буры отступили. Поскольку на то, чтобы починить пути, требовалось несколько дней, мы добыли лошадей и, уехав с Копье-стейшн с отрядом Австралийских уланов, совершили с ними ночной марш-бросок, не омраченный никакими неожиданностями. Много лет после этого я считал, что двухдюймовый пушечный снаряд, взорвавшийся на насыпи в непосредственной близости от нас, — последний выпущенный в порыве злобы снаряд, который мне суждено было увидеть. Но ожидания мои оказались беспочвенными.

Глава 28
Выборы цвета хаки

Большинство англичан верило, что после взятия Претории, и особенно освобождения Мафекинга, войне настанет конец. Эту веру в них поддерживали речи лорда Робертса. Началось ликование. Но правительство имело на сей счет свои соображения. Опьянев от успеха, оно заняло позицию волюнтаристскую и опасную. Необходимость переговоров с бурскими республиками начисто отвергалась. Они подлежали полному уничтожению. Буры, которые пожелали бы сдаться — поодиночке или целым отрядом вместе со своим предводителем, — могли рассчитывать на хорошее с ними обращение, а впоследствии, когда территория их оказалась бы заселенной достаточным количеством англичан, а потому не представляла бы более угрозы, ей могло быть даровано самоуправление, подобное существовавшим в других английских колониях. Несогласных же ожидало преследование *w* искоренение вплоть до последнего человека. Позднее лорд Милнер заявил, что «в известном смысле война эта никогда не кончится»; затухнуть, сойти на нет она должна была лишь постепенно. Армии предстояло положить конец открытой партизанской войне, а уже добивать засевших в горах и в глубинах вельда разбойников надлежало вооруженной полиции.

Это было ошибкой, дорого нам обошедшейся. Еще многие тысячи бесстрашных и яростных воинов продолжали сражаться по всей стране под началом таких вождей, как Бота, Сматс, Девет, Деларей и Герцог, уже не за победу, а защищая свою честь. В, казалось бы, совершенно усмиренных районах вновь и вновь вспыхивало пламя партизанской войны. Даже в Капской колонии Сматсу удалось разжечь из искр настоящий костер, то полыхавший, то тлевший в течение двух трудных лет и потушенный лишь официальными переговорами. Это долго длившееся противостояние принесло неисчислимые беды. Одетые не по-военному враги мешались с местным населением, укрывались и питались на фермах, чьи хозяева поклялись соблюдать нейтралитет, и, неожиданно появляясь то там, то здесь, учиняли кровавые расправы, нападали на зазевавшийся патруль или одинокий караульный пост. Чтобы как-то справиться с ситуацией, британское военное командование придумало полностью очищать целые районы, сгоняя местное население в концентрационные лагеря. Так как железнодорожное сообщение

то и дело прерывалось, продовольствие и другие средства жизнеобеспечения поступали туда нерегулярно. Начались эпидемии, унесшие жизни нескольких тысяч женщин и детей. Практика поджога ферм, чьи владельцы нарушили клятву соблюдать нейтралитет, не только не утихомиривала мятежных буров, но, наоборот, ожесточала их. Британцы же, в свою очередь, питали лютую ненависть к мятежникам, клятвопреступникам и тем бурам, которые носили снятую с британских пленников военную форму (обычно это объяснялось отсутствием у них другой одежды, но иногда и военной хитростью). Тем не менее в распыл их пускали не часто. Китченер с холодной суровостью расстрелял одного британского офицера и нескольких солдат, обвиненных в убийстве нескольких бурских пленных, а буры до самого конца войны не боялись отправлять своих раненых бойцов в британские полевые госпитали. Таким образом, гуманность и цивилизованность не полностью были преданы забвению, и обе стороны, вопреки взаимным обидам и нанесенному друг другу страшному урону, сохраняли в эти два года хаоса и опустошения некое уважение к противнику. Но все это, однако, касалось уже будущего.

Дома меня ожидал триумф. Обитатели Олдхема, независимо от партийной принадлежности, устроили мне торжественную встречу. Я въехал в город в сопровождении процессии из десятка экипажей. По пути нашего следования на тротуарах толпились, приветствуя меня, взволнованные избиратели — рабочие и работницы. Я описал мой побег из плена собравшейся в Королевском театре огромной аудитории. Так как угольный бассейн Уитбэнк был уже к тому времени занят нашей армией и помогавшие мне в побеге люди находились под защитой британцев, я впервые мог рассказать всю правду без утайки. Когда я упомянул имя мистера Дьюснэпа, олдхемского инженера, провожавшего меня в забой, в публике раздались крики: «Здесь его жена, она на галерке!» — и весь зал разразился аплодисментами.

Но такое единение, естественно, было недолгим. Лидеры консервативной партии решили воззвать к народу, пока его энтузиазм еще не угас. Они находились у власти уже пять лет, всеобщие выборы должны были состояться через полтора года, и сложившаяся ситуация представлялась слишком благоприятной, чтобы ею не воспользоваться. По правде говоря, им не удалось бы проводить политику усмирения бурских республик, не набрав большинства в новом парламенте. Поэтому в начале сентября парламент был распущен и начались выборы, подобные тем, которые в декабре 1918 года, после Мировой войны, еще в более

ожесточенной форме сотрясали Империю. Все либералы, даже одобрявшие военные действия, включая тех, что потеряли на войне сыновей, подверглись огульному осуждению как «пособники буров». Мистер Чемберлен выдвинул лозунг «Каждое место в парламенте, потерянное правительственной партией, станет очком в пользу буров», и консерваторы приняли этот лозунг на вооружение. Однако либерально и радикально настроенные массы, убежденные, что война прекратилась, упрямо сплачивались вокруг своих партийных вождей. По всей стране развернулась нешуточная борьба. За консерваторами тогда шло большинство английского электората. Общественное мнение склонялось в их сторону, и лорд Солсбери с коллегами удержали свои места, победив противников со слегка уменьшившимся перевесом в 143 места над всеми оппонентами, в том числе восьмьюдесятью ирландскими националистами. В целом поддержка его по всему острову была безусловной.

Я шел в первых рядах к этой победе. В то время наш мудрый и осмотрительный закон отводил на всеобщие выборы шесть недель. Избиратели, вместо того чтобы голосовать вслепую в течение одного дня, а на следующее утро узнавать, что они сотворили, присутствовали при реальном сражении за результаты. По всей стране кипели ожесточенные, но серьезные дебаты, в которых принимали участие вожди обеих противоборствующих сторон. На электорат можно было воздействовать. Кандидат имел возможность выступить перед любым количеством своих сторонников, если те не прочь были выслушать его. Мастерское выступление того или иного выдающегося персонажа нередко меняло преобладающее настроение в округе или даже городе. Речи известных и многоопытных государственных мужей полностью печатались во всех газетах и изучались широкими кругами политически просвещенных читателей. Таким образом, в острых спорах шаг за шагом выковывалось единое общенациональное решение.

В эти дни, когда осуществлялась политика молота и наковальни, результатов выборов ждали с особым нетерпением. Выборы в Олдхеме проводились одними из первых. Моя политическая платформа состояла в следующем: война была справедлива и необходима; либералы были неправы, выступая против войны, и только сбивали с толку командование; войну нужно продолжать до полной победы, после чего проявить великодушие. Со мной в паре выступал мистер Крисп, купец из лондонского Сити. Мистер Модели из кампании выбыл. Он как-то погрузил свое могучее тело в фарфоровую ванну, и та кракнула под ним, поранив его осколками. В результате бедняга слег. Мои

оппоненты, мистер Эммот и мистер Рансимен, разделяли взгляды лорда Розбери на войну, то есть оба они, поддерживая Британию в этом конфликте, заявляли, что консервативная партия тем не менее допустила в ее ходе кучу промахов. Либералы, разумеется, тоже допустили бы кучу промахов, но размерами поменьше. Вдобавок они утверждали, что либералы так тонко смогли бы повести дипломатическую игру, что войны можно было бы и вовсе избежать и достичь ее целей — например, заставить Крюгера пойти на уступки — без пролития крови. Разумеется, все их доводы были совершенно голословными. Я возражал им, говоря, что, как бы ни велись переговоры, буры их прервали, вторгшись на британскую территорию, и какие бы ошибки в ходе войны ни были совершены, мы отразили вторжение и заняли обе вражеские столицы. Консервативная партия к тому же кричала по всей стране, что это особые выборы, в центре которых единственная национальная проблема — признание справедливости войны, ведомой ради достижения полной победы, следовательно, обычные классовые, партийные, сектантские и прочие разногласия сейчас должны быть забыты всеми, кто считает себя истинным патриотом. Тогда я искренне в это верил.

Поддержать меня вызвался сам мистер Чемберлен. В то время им восхищались больше, чем после Мировой войны мистером Ллойдом Джорджем и сэром Дугласом Хейгом, вместе взятыми. Существовала и огромная оппозиция ему, но и она, казалось, понимала, что фигура эта достойна преклонения. На главный наш митинг мы ехали с ним вместе в открытом экипаже. Наши сторонники заполнили театральный зал, противники же толпились на подступах к театру. Уже возле самых дверей проезд нам перекрыла орава враждебно настроенных избирателей. Они истошно вопили и улюлюкали, радостно скалясь при виде своего знаменитого соотечественника, противостоять которому почитали своим долгом и правом. Я пристально следил за реакцией почетного гостя. Ему явно нравился этот многоголосый рев, и казалось, что он, как и мой отец, может сказать: «Никогда я не испытывал страха перед английской демократией». Щеки его разгорелись, и, встретившись со мной взглядом, он лишь весело сверкнул глазами. Да, в те дни это был истинный демос, возглавляемый рядом выдающихся государственных деятелей, а не какая-то аморфная масса, которой манипулируют газетчики! И государственные деятели, и избиратели, и пресса играли в существовавшей структуре свою роль. На митинге мистер Чемберлен поразил всех своей сдержанностью. Его мягкая журчащая речь, его острые продуманные выпады, к которым он подводил аккуратно и постепенно, произвели неизгладимое

впечатление. Он говорил больше часа. Особенно оратор покорил слушателей тем, что, приведя факт или цифру, которые вызывали возмущение оппонентов, он поправлялся и извинялся, замечая, что не желает быть необъективным. С тех пор британская политическая система выдвигает фигуры пожиже.

Когда подсчитали голоса — а избирателей было почти 30 000, — выяснилось, что либералы и лейбористы имеют в Олдхеме перевес. Мистер Эммот стал лидером гонки. Однако оказалось, что около двухсот либералов, проголосовавших за него, второй свой бюллетень подали за меня — из личной симпатии и патриотизма. Таким образом, я оттеснил со второго места Рансимена и был избран в палату общин со скромным преимуществом в 230 голосов. Пройдя сквозь шумящую толпу, я со своими товарищами устремился в клуб консерваторов. Там меня ожидали пылкие поздравления лорда Солсбери. Старый премьер-министр, видимо, сидел на телефоне или около него, постоянно получая сведения. А потом на меня обрушился радостный шквал поздравлений и приветствий со всех концов страны. Я стал «гвоздем» выборов. Меня всюду ждали. На следующий вечер я должен был выступить в Лондоне, а мистер Чемберлен ангажировал меня на два следующих дня для выступлений в Бирмингемском округе. Уже на пути туда меня нагнал, сев ко мне в вагон, посланец от мистера Бальфура с известием, что тот просит меня отменить выступление в Лондоне и немедленно возвратиться в Манчестер, чтобы этим же днем выступать там с ним вместе, а вечером завершить кампанию в Стокпорте. Я повиновался.

Мистер Бальфур произносил речь перед большим собранием, когда я вошел. Все присутствующие встали при моем появлении и приветствовали меня громкими криками. Спикер палаты общин торжественно представил меня аудитории. С тех пор все мои выступления проходили при огромном стечении народа. Пять-шесть тысяч избирателей — сплошь мужчин, — живо заинтересованных и сведущих в политике, набивались в шикарнейшие залы, где в президиуме обычно сидели, в качестве группы поддержки, и партийные бонзы, и старейшие члены парламента! Так повелось с тех выборов и продолжается вот уже целое поколение. Два дня я провел у мистера Чемберлена в Хайбери. Один из них он пролежал в постели, но после того, как меня повозили по Мидленду, где я выступил на трех митингах, он пригласил меня к ужину и, будучи в превосходном настроении, угостил портвейном 1834 года. Три недели длилось то, что можно назвать моим триумфальным шествием по стране. Меня отправляли в самые неблагоприятные для партии округа, и я

поспособствовал многим победам. Мне было двадцать шесть лет. Стоит ли удивляться, что я считал, будто достиг всего? Но, к счастью, жизнь не так проста и прямолинейна, иначе мы слишком быстро добирались бы до ее финала.

Мне все же предстояло сделать еще два важных шага. Во-первых, надо было собрать достаточно денег, чтобы иметь возможность полностью посвятить себя политике и не отвлекаться ни на какую другую работу. Гонорар от продажи «Войны на реке» и двух сборников моих военных корреспонденций из Южной Африки плюс десятимесячное жалованье в «Морнинг пост», которого набралось уже две с половиной тысячи фунтов, в сумме сделали меня обладателем более четырех тысяч фунтов. Сейчас открывалась возможность приумножить этот запас. Я намеревался всю осень и зиму выступать с лекциями в Англии и Америке. Английский мой тур начинался сразу же по окончании выборов. После того как мне довелось на протяжении пяти недель ежевечерне произносить речи, я подрядился делать то же самое уже в течение двух с половиной месяцев с недельным перерывом для морского путешествия за океан. Лекции в Англии прошли успешно. На первой из них председательствовал лорд Вулсли, на последующих же лекциях, которые я читал, переезжая из города в город, во всех трех частях Британии, меня представляли публике виднейшие местные деятели. Самые большие залы бывали переполнены, и публика с большим сочувствием внимала моим рассказам, сопровождаемым показом диапозитивов, о войне, о моих похождениях и моем побеге из плена. Редко когда мне случалось зарабатывать меньше ста фунтов за один вечер, чаще же сумма бывала гораздо большей. В зале Филармонии в Ливерпуле выручка моя превысила триста фунтов. Всего же за ноябрь я с легкостью положил на банковский счет четыре тысячи фунтов, проехав из конца в конец чуть ли не полстраны.

Сессия парламента должна была открываться в первых числах декабря, и мне не терпелось занять мое место в палате общин, но вместо этого мне предстояло пересечь океан для выполнения моих обязательств по ангажементу. В совсем другую атмосферу окунулся я в Соединенных Штатах. Я был удивлен, убедившись, что такие гостеприимные и дружески расположенные американцы, говорившие со мной на одном языке и, как казалось, думавшие в основном так же, как и мы, вовсе не разделяли нашего энтузиазма в том, что касалось войны в Южной Африке. Более того, преобладало мнение, что буры правы, а уж ирландцы вообще не скрывали своей враждебности. Аудитория менялась от места к месту. В Балтиморе в зале, вмещавшем пять тысяч,

собралось лишь несколько сотен человек. В Бостоне же была устроена настоящая пробританская демонстрация, и даже на подходе к Тремонт-Холлу толпился народ. На сцене стояли триста членов Англо-американского общества в красных мундирах, и все выглядело очень торжественно. В Чикаго я был встречен громкими возмущенными криками. Однако, отпустив несколько шуток, в том числе и на собственный счет, и искренне отдав должное мужеству и великодушию буров, я утихомирил аудиторию. В общем, подружиться с американцами мне не составило труда. При всем их критическом отношении, они люди цивилизованные и доброжелательные.

Куда бы я ни приезжал, всюду мне оказывали помощь выдающиеся американцы. Вечера мои вели мистер Бурк Кокрейн, мистер Чонси Депью и другие ведущие политики, а первую мою лекцию в Нью-Йорке освящал своим присутствием не кто иной, как сам Марк Твен. Этот овеянный славой товарищ моих юных лет произвел на меня глубочайшее впечатление. Он был тогда уже очень стар, белоснежно сед и сочетал величественное благородство с восхитительной живостью беседы. Разумеется, мы заспорили о войне. В несколько приемов Твен загнал меня в цитадель: «Права она или не права, это моя страна»[55].

— Ах! — воскликнул старый джентльмен. — Когда несчастная страна сражается за свое существование, я согласен. Но это не ваш случай.

Однако я думаю, что сумел завоевать его симпатию, ибо он любезно подписал мне все тридцать томов своих сочинений, украсив первый из них надписью, содержавшей, как мне показалось, вежливое предостережение: «Творить добро — благородное дело, учить творить добро — дело еще более благородное, причем легкое».

Вся эта холодноватая сдержанность осталась позади, как только я пересек канадскую границу. Здесь опять меня встречали восторженные толпы, к которым я уже привык на собраниях дома. Но, увы, лишь десять дней я мог провести в столь воодушевляющей атмосфере. В середине января я вернулся в Англию, где возобновил свое турне по городам. Где я только не побывал! В Ольстер-Холле меня представлял публике достопочтенный лорд Дафферин. Он был несравненным мастером изысканного комплимента. У меня и сейчас, кажется, звучит в ушах его старомодный выговор:

— И этот юноша в возрасте, когда его ровесники еще только-только встали из-за парты, повидал столько сражений, сколько не видала и половина европейских генералов!

Раньше такая мысль мне и в голову не приходила. Это было

хорошо сказано.

К окончанию моего турне, пришедшемуся на середину февраля, я был совершенно измучен. Более пяти месяцев я почти каждый вечер, за вычетом воскресений, а иногда и дважды в день, говорил по часу и более и беспрестанно колесил по стране, перемещаясь главным образом ночью и редко когда ночуя дважды в одной и той же постели. И это после года маршей и боев, когда о крове и постели и помышлять не приходилось. Но итог был впечатляющим. У меня собралось почти 10 тысяч фунтов. Я обрел независимость, мог не беспокоиться о будущем и в течение многих лет заниматься только политикой. Десять тысяч фунтов я отослал старому другу моего отца сэру Эрнесту Касселу со следующей инструкцией: «Паси овец Моих»[56]. Что он и делал весьма разумно. Они не множились слишком быстро, но стабильно тучнели, и ни одна из них не околела. Год за годом они давали приплод, правда не столь многочисленный, чтобы на него жить. Ежегодно я съедал овцу-другую, так что мало-помалу отара моя уменьшалась и через несколько лет от нее остались рожки да ножки. Но пока она у меня была, я горя не знал.

Глава 29
Палата общин

Парламент возобновил свою работу в последних числах февраля, и тут же его сотрясли ожесточенные дебаты. Заседания в палате общин подробно освещались прессой, и избиратели внимательно следили за их ходом. Важнейшие вопросы дебатировались с неослабным жаром по три дня. Успевали выступить все главные ораторы, а под конец схлестывались ведущие партийные тяжеловесы. Палата обычно заседала до полуночи, и с 9.30 зал уже был переполнен. Мистер Бальфур в качестве спикера палаты обычно подводил итог важнейшим дебатам, и главы оппозиции, с десяти до одиннадцати излагавшие суть своей позиции, с одиннадцати до двенадцати выслушивали исчерпывающий ответ. Того, кто пытался взять слово после завершающих выступлений лидеров, заглушали громким ропотом.

Было огромной честью участвовать в обсуждениях прославленной ассамблеи, в течение многих веков ведшей Англию сквозь бесчисленные опасности к имперскому могуществу. И хоть последние месяцы я только тем и занимался, что выступал перед большими собраниями, того, что я считал главным своим испытанием, я ожидал с благоговейным трепетом и с нетерпением. Короткую зимнюю сессию я пропустил и потому всего четыре дня провел в парламенте, прежде чем взять слово. Нет нужды говорить о муках, в которых рождалась моя речь, равно как и об усилиях, предпринятых мною, чтобы она звучала не вымученно. Дебатировался вопрос о возможных исходах войны — единственный, по которому я был способен компетентно высказаться. Со всех сторон на меня сыпались советы. Одни говорили: «Выступать еще не время, подожди месяц-другой, пока не освоишься в парламенте». Другие возражали: «Это же твоя тема. Не упускай такой случай». Меня остерегали от излишней запальчивости, которая может оскорбить палату, готовую оказать мне благожелательный прием. Еще умоляли не злоупотреблять цветистыми банальностями. Самый лучший совет дал мне мистер Генри Чаплин, пророкотавший звучным своим голосом: «Не торопитесь, как следует разверните свои тезисы. Если у вас есть что сказать, палата вас выслушает».

Я узнал, что входящий в силу молодой защитник буров из Уэльса — чуть ли не самая главная наша «заноза» и источник постоянного беспокойства для лидеров либералов — Ллойд

Джордж, видимо, будет держать речь часов в девять.

Он собирался предложить умеренную поправку к закону, но в тот день или позже — было неизвестно. Я так понял, что при желании смогу выступить вслед за ним. В то время — а признаться, и долгое время спустя — я не мог произнести ничего путного (не считая коротких ответных реплик), не написав это заранее на бумаге и не выучив наизусть. Я не имел обычной для университетских студентов практики обсуждения разных тем в дискуссионных клубах. Мне надо было попытаться предвосхитить ситуацию и заготовить несколько вариантов на всякий случай. Вот почему я явился в палату, так сказать, с колчаном, полным стрел самых различных конфигураций и размеров, часть которых, как я надеялся, попадет в цель. Озабоченность мою вызывало и неведение того, что собирается делать мистер Ллойд Джордж. Но я рассчитывал, что заготовленный мною текст покажется естественным ответом на его слова.

И час настал. Я сел на угловое место над проходом прямо за спинами членов кабинета, как раз там, откуда мой отец объявил о своей отставке. Слева от меня сел мой доброжелатель и консультант, многоопытный парламентарий мистер Томас Гибсон Бауле. К девяти часам зал палаты начал наполняться. Ллойд Джордж произносил свою речь с третьей скамьи вниз от прохода, с мест оппозиции, где его окружала горстка уэльсцев и радикалов и поддерживала сзади партия ирландских националистов. Он начал с того, что не будет пока вносить свою поправку, а выступит по основному вопросу повестки дня. Слыша одобрительные крики «кельтской окаемки», он воодушевился и заговорил вдохновенно и даже яростно. Я силился придумать фразу, которую можно было бы использовать в качестве связки, когда Ллойд Джордж закруглится. Слабые плоды моих потуг мгновенно устаревали. Меня охватила тревога, я был даже близок к отчаянию, которое едва сдерживал, стараясь глубоко дышать. И тут мистер Бауле шепнул мне: «Вы можете сказать так: „Вместо того чтобы демонстрировать неумеренную ярость, лучше было бы внести умеренную поправку“». Слова эти показались мне небесной манной в пустыне. И прозвучали они как раз вовремя, потому что, к моему удивлению, оппонент мой вдруг сказал, что «сворачивает выступление, так как палате, без сомнения, не терпится услышать нового своего члена», и, сделав этот куртуазный жест, тут же сел.

Поспешно вскочив, я повторил придуманную Баулсом спасительную фразу, вызвав всеобщее оживление. Ко мне вернулась храбрость, и я без оглядки понесся вперед. Ирландцы, в презрении к которым я был воспитан, оказались прекрасной

аудиторией. Они помогали мне своими замечаниями и не позволяли себе ничего, что, по их мнению, могло бы мне помешать. Казалось, они даже не обиделись на шутку, которую я отпустил на их счет. Но когда я произнес: «…буры, которые сражаются в открытую, *а будь я буром, я, надеюсь, тоже сражался бы в открытую*…», мой взгляд привлекло какое-то движение скамьей ниже. Мистер Чемберлен, наклонившись к своему соседу, шепнул ему что-то, чего я не расслышал. Позднее я узнал от Джорджа Уиндхема, что сказал он следующее: «Вот так теряются места в парламенте!» Но берег уже маячил невдалеке. Энергично барахтаясь, я поплыл к нему и вскоре выкарабкался на сушу, еле дышащий и мокрый, образно говоря, как мышь, но живой. Все были ко мне добры и внимательны. В ход пошли обычные укрепляющие средства, и я сидел в блаженном оцепенении, пока не набрался сил, чтобы доплестись до дому. В целом выступление мое было принято благосклонно. Хоть многие и догадались, что шпарил я свою речь наизусть, но мне это простили за мое усердие. Палата общин, хоть и сильно изменившаяся, все еще продолжает оставаться коллективным верховным правителем, всегда снисходительным к тем, кто гордится своей службой ему.

После этих дебатов я познакомился с мистером Ллойдом Джорджем. Нас представили друг другу в баре палаты общин. Поздравив меня, он сказал:

— Судя по вашим чувствам, вас ослепляет блеск Британской империи.

Я ответил:

— А вы смотрите на нее слишком издалека.

Так началось наше долгое сотрудничество, выдержавшее множество испытаний.

С тех пор только две мои речи в этом парламенте имели такой же успех, и обе они были произнесены в первые месяцы моего членства. Военное министерство назначило командующим бригады в Гибралтаре некоего генерала Колвилла. Когда дело уже было сделано, всплыли подробности одного годичной давности сражения в Южной Африке, в котором генерал, по мнению министерства, проявил себя не лучшим образом. Его сняли с командования. Оппозиция защищала Колвилла и возмущалась этой запоздалой расправой. В часы подачи запросов поднялся шум, и на следующую неделю были назначены дебаты. На этой территории я чувствовал себя как рыба в воде и к тому же имел время выбрать наиболее эффективную линию защиты. Дебаты начались для правительства неудачно, со всех сторон сыпалась критика. В те дни поражение в дебатах было несчастьем для администрации, даже очень сильной. Считалось, что это

компрометирует партию. Министры страшно расстраивались, когда чувствовали, что Харкурт, Аскуит, Морли или Грей пробивают брешь в их обороне. Тут кстати явился я со своей, как все поначалу подумали, полемической речью; на самом же деле это был лишь результат счастливого предвидения того, куда повернут дебаты. По существу, я защитил правительство при помощи аргументов, которые одобрила оппозиция. Консерваторы остались довольны, либералы рассыпались в похвалах. Мой все более близкий друг Джордж Уиндхем, ставший теперь министром по делам Ирландии, передал мне лестные отзывы о моем выступлении, исходившие из самых высоких министерских кругов. Словом, я приобрел некий статус в палате.

И вместе с тем я обнаружил, что явно расхожусь с магистральной линией консерваторов. Я был всецело за войну, разгоревшуюся тогда опять, но приобретшую характер беспорядочный и хаотичный. Я считал необходимым воевать до победного конца, для чего задействовать больше живой силы и лучше организовать ее. Мне казалось разумным использовать индийский корпус. В то же время я восхищался отчаянным сопротивлением буров, осуждал чинимые над ними насилия и надеялся на то, что им будет дарован почетный мир, который навечно связал бы нас с этими храбрецами и их вождями. Поджог ферм я считал отвратительным самоуправством. Я протестовал против казни командующего Шиперса и, возможно, способствовал помилованию командующего Круитзингера. Расхождение мое с господствовавшим мнением простиралось и на более общие вопросы. Когда военный министр сказал: «В воинственную державу нас превратил случай. Теперь мы должны приложить усилия, чтобы таковой остаться», я был возмущен. Я считал, что нам следует положить войне конец с помощью силы и великодушия и поскорее вернуться на тропу мира, разумной экономии и реформ. Хотя я и пользовался привилегией общаться в свете с большинством вождей консервативной партии, хотя мистер Бальфур и проявлял ко мне неизменную доброту и расположение, хотя я и виделся с мистером Чемберленом и слышал его свободные и непредвзятые суждения по самым разным вопросам, я упорно склонялся влево. Розбери, Аскуит, Грей и в особенности Джон Морли, как мне казалось, понимали меня гораздо лучше, чем понимало мое собственное партийное руководство. Я восхищался интеллектуальной мощью этих людей, вдохновляющей широтой их общественных взглядов, не придавленных грузом практических соображений.

Читателю не следует забывать о том, что, не пройдя курса в университете, я не имел за спиной школы юношеских споров и

дискуссий, когда мнения формируются или претерпевают изменения свободно, в атмосфере счастливой безответственности. Я был уже известным политическим деятелем и, по крайней мере, сам придавал большое значение всему, что я говорил и что часто тиражировалось прессой. Мне хотелось направить консервативную партию в сторону либерализма. Я выступал против оголтелого национализма и сочувствовал бурам. Не разделяя полностью взглядов обеих партий, я был так неопытен, что полагал свою задачу лишь в том, чтобы, выработав правильную точку зрения, бесстрашно ее выражать и отстаивать. Верность своим идеям я почитал превыше всякой другой верности. Я не придавал значения партийной дисциплине и принципу единства партии, не считал нужным послушно жертвовать ради них своим мнением.

Третья моя речь была посвящена весьма серьезной проблеме. Военный министр мистер Бродрик обнародовал свой широкомасштабный проект реорганизации армии. Он предложил все воинские формирования — регулярные войска, добровольцев и милицию — разбить на шесть армейских корпусов, что свелось бы в конечном счете к простой канцелярской перетасовке. Я решил выступить с критикой проекта, присовокупив к этому вопросы бюджетных ассигнований. Речь свою я готовил полтора месяца и выучил назубок, так что мог начинать ее с любого места и двигаться в любом направлении. На дискуссию отвели два дня, и, по счастью и благодаря расположению ко мне спикера, мое выступление состоялось в одиннадцать часов первого дня. Б моем распоряжении был час до полуночи, когда предполагалось провести голосование по другому вопросу. Зал был полон, все места заняты, и меня слушали с неослабным вниманием. Я развернул атаку, подвергнув критике не только политику правительства, но и настроения и тенденции, возобладавшие в партии консерваторов, и призвал к миру и сокращению расходов и вооружений. Консерваторы были изумлены и озадачены, в то время как оппозиция ликовала. Речь моя имела безусловный успех, но она явно шла вразрез с мнением почти всех политиков, занимавших места вокруг меня, и не могла встретить их сочувствия. Я заблаговременно послал ее текст в «Морнинг пост», где она уже печаталась. Что было бы, если б выступить мне не дали или прервали на середине, трудно даже вообразить. Словом, моя проделка заставила-таки меня понервничать, и я испытал огромное облегчение, когда все благополучно закончилось. Но добиться того, чтобы палата внимала твоим речам затаив дыхание, — это дорогого стоило!

Между тем лорд Перси, лорд Хью Сесил, мистер Иэн

Малькольм, мистер Артур Стенли и я объединились в небольшой парламентский кружок и получили прозвище «хулиганы». Каждый четверг мы ужинали в палате, угощая кого-нибудь из знаменитостей. В гостях у нас перебывали все видные деятели обеих партий, а иногда мы приглашали и заметных людей со стороны, вроде мистера У.-Дж. Брайана. Мы попытались зазвать даже самого лорда Солсбери, но он ответил нам встречным предложением отужинать с ним на Арлингтон-стрит. Премьер-министр был в превосходном настроении и с важностью обсуждал с нами любые вопросы, которые мы поднимали. Выходя от него на улицу, Перси сказал мне:

— Интересно, каково это двадцать лет быть премьер-министром и понимать, что сходишь со сцены.

Вместе с лордом Солсбери уходило многое. Его отставка и смерть ознаменовали собой конец эпохи. Новый бурный век больших перемен уже неумолимо стискивал Британскую империю в железных своих объятиях.

Мир, которым правил лорд Солсбери, время и события, которым посвящены эти страницы, сами устои и отличительные черты консервативной партии и английского правящего класса скоро рухнули в бездну таких противоречий и провалов, какие редко обнаруживают себя в столь короткий промежуток времени. Лишь в очень малой степени могли мы предугадать те бури и мощные течения, которые понесут нас вперед или с неодолимой силой разбросают в разные стороны, и уж еще меньше предвидели мы катаклизмы, которым суждено было сотрясти и разбить в осколки мировой порядок, созданный XIX столетием. Но Перси, казалось, предчувствовал катастрофу, лицезреть которую ему не довелось. Тогда же осенью, гуляя со мной в Данробине, он разъяснял мне догматы ирвингианства. Выходило, что двенадцать апостолов были посланы в мир, дабы предостеречь его, но их не услышали. Последний апостол умер в тот же день, что и королева Виктория. С его уходом шанс на спасение был нами утрачен. Со странной уверенностью он предрекал нам эру ужасных войн и череду немыслимых, одно другого страшнее, жестоких потрясений. Он употреблял слово «Армагеддон», которое раньше попадалось мне только в Библии. Случилось так, что в Данробине гостил тогда германский кронпринц. Трудно было поверить, что этот милый молодой человек, наш товарищ по бильярду и шутливым драчкам, может сыграть роль в осуществлении мрачных прогнозов Перси.

В апреле 1902-го в палате общин разразилась буча вокруг некоего мистера Картрайта. Это был газетчик, опубликовавший письмо, в котором осуждалось обращение с бурскими женщинами

и детьми в концентрационных лагерях. Газетчика судили за подстрекательство к мятежу и приговорили к году тюрьмы в Южной Африке. Отсидев положенный срок, он выразил желание вернуться в Англию. Военные власти в Южной Африке отказали ему в этом, и когда парламент обратился к министрам за разъяснением, заместитель военного министра ответил, что «было бы нежелательно множить в стране количество людей, занимающихся антибританской пропагандой». Абсурдность этого заявления поражала! Где антибританская пропаганда могла принести меньше вреда, чем в самой Великобритании? Джон Морли предложил отложить рассмотрение дела. В те дни и такие предложения выносились на обсуждение. Лидеры оппозиции выражали свое негодование. Я и еще один член нашего маленького сообщества поддержали их со стороны консерваторов. Повод был незначительный, но страсти накалились.

В тот вечер на ужин мы пригласили мистера Чемберлена.

— Похоже, я ужинаю сегодня в дурной компании, — вызывающе заметил он, обводя нас взглядом.

Мы объяснили ему всю нелепость и неприличие этого шага правительства. Как же можно было ожидать от нас поддержки?

— Какой смысл поддерживать правительство в случае его правоты? — отвечал он. — Вот когда оно попадает в подобную неприятную ситуацию, тут-то вы и должны поспешить ему на помощь!

Впрочем, потом он оттаял, развеселился и очаровал нас всех. Он был в ударе и говорил как никогда. Собравшись уходить, он уже у самой двери обернулся и, помедлив, сказал:

— Вы, молодые джентльмены, по-королевски приняли меня, и я отплачу вам, дав ценный совет. Налоги! Вот что выйдет на первый план в политике в ближайшем будущем. Изучите этот вопрос, станьте доками по части его решения, и вы не пожалеете, что оказали мне гостеприимство.

Он был совершенно прав. Вскоре в финансовой сфере произошли события, кинувшие меня в гущу новых схваток и совершенно меня поглотившие, по крайней мере вплоть до сентября 1908 года, когда я женился, обретя счастье, которым и наслаждаюсь с тех пор.

notes

Примечания

1

На самом деле это был учебный корвет. *(Прим. автора)*.

2

Бенджамин Дизраэли, лорд Биконсфилд. *(Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, прим. перев.)*.

3

Снять весь банк *(фр.)*.

4

Из аллегорического романа Дж. Беньяна (1628–1688) «Путь паломника».

5

Ныне Женевском.

6

Роберт Клайв (1725–1774) — английский колониальный деятель, губернатор Бенгалии.

7

«Гранд Нэшнл» — крупнейшие скачки с препятствиями на ипподроме в Эйнтри.

8

Измененная цитата из Первого послания к Коринфянам (10: 26): «Ибо Господня земля, и что наполняет ее».

9

Уида — псевдоним Марии Луизы Раме (1839–1908), плодовитого автора «светских» романов.

Sancti Spiritus — Святой дух *(исп.)*.

11

Маккей, «Двадцать один день в Индии». *(Прим. автора)*.

12

Здесь названы аристократические спортивные клубы с площадками для поло и тенниса.

13

Имеется в виду шестидесятилетний юбилей царствования королевы Виктории.

14

Бостонское чаепитие — акция протеста американских колонистов в ответ на действия британского правительства, в результате которой в Бостонской гавани был уничтожен груз чая, принадлежавший Английской Ост-Индской компании.

15

В январе 1877 г. королева Виктория была провозглашена императрицей Индии.

16

А. У. Кинглейк (1809–1891) — английский историк Крымской войны (1853–1856).

17

Великая ремонстрация (The Grand Remonstrance; Великий протест) — один из наиболее значительных документов первого периода Английской буржуазной революции XVII в., содержавший список претензий Долгого парламента к королю Карлу I.

18

Граф Чатем Уильям Питт-старший (1708–1778) — политический деятель, премьер-министр; *Джон Хэмпден* (1594–1643) — член Долгого парламента, ярый оппозиционер короля Карла I; *Уоррен Гастингс* (1732–1818) — первый английский генерал-губернатор Индии; *Бертран Барер де Вьезак* (1755–1841) — французский политик, адвокат, деятель Великой французской революции; *Роберт Монтгомери* (1807–1855) — по единодушной оценке критиков, «рифмоплет».

19

У сердца свои резоны, уму невнятные *(фр.)* — из «Мыслей» Б. Паскаля.

20

Тупик *(фр.)*.

21

Восточнокентский полк. *(Прим. автора)*.

22

С холодным оружием *(фр.)*.

23

Нэпир Уильям Фрэнсис Патрик (1785–1860) — генерал, военный историк, автор шеститомной истории испанской кампании 1808–1814 гг. и биографии своего брата, генерала Чарльза Джеймса Нэпира, в начале 1840-х гг. главнокомандующего в Индии.

Впоследствии короля Эдуарда VII. *(Прим. автора)*.

25

Дж. Г. Байрон. Дон Жуан.

26

Цар. 15: 32.

27

«Юнион Джек» — флаг Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

28

Холодное оружие *(фр.)*.

29

Ирвингиане — религиозная секта, сочетает католический ритуал с элементами раннего христианства и верой в возможность чудес в наши дни.

30

Имеются в виду романы Дизраэли «Танкред, или Новый Крестовый поход» (1847) и «Конингсби, или Новое поколение» (1844).

31

«Лига подснежника» — политическая организация консерваторов. Создана в 1883 г. в память Дизраэли. Любимым цветком Дизраэли была примула (подснежник).

32

Слова герцога Веллингтона, сказанные им при Ватерлоо 18 июня 1815 г., когда англичане начали прогибаться под натиском войска Наполеона и спасти ситуацию могло лишь прибытие прусской армии под командованием маршала Блюхера.

33

Гораций. О поэтическом искусстве. Перевод А. Фета.

34

«Договаривать все до конца — верный способ наскучить» *(фр.)*. — Афоризм Вольтера.

35

«Ничем так не завоюешь авторитета, как спокойствием» *(фр.)*.

36

Это высказывание приписывается Генри Ричмонду, впоследствии королю Генриху VII Английскому (1457–1509).

37

Титус Оутс (1649–1705) — английский священник, приговоренный за лжесвидетельство к прогону плетьми от Олдгейта до Ньюгейта и через два дня — от Ньюгейта до Тайберна.

38

В 1917–1918 гг. соответственно главнокомандующий и начальник штаба. *(Прим. автора)*.

39

Лишь спустя лет десять, если не больше, я получил возможность выполнить мое обещание. Высшие военные чины ничего не сделали для этого человека, проявив полное к нему равнодушие, однако когда в 1910 г. я получил пост министра внутренних дел, я счел своим долгом рекомендовать королю наградить машиниста медалью Альберта. Я поднял старые архивы, связался с губернатором Наталя и железнодорожной компанией, в результате чего оба — и машинист, и его кочегар — получили это высшее гражданское отличие. *(Прим. автора).*

40

Время с 14.45 до 15.30 с понедельника по четверг отводится палатой общин для ответов премьер-министра и министров на вопросы членов парламента.

41

Молодой человек редкостного обаяния и способностей. Уже будучи полковником, погиб на Галлиполийском побережье 25 апреля 1915 г. *(Прим. автора)*.

42

Смелее! *(фр.)*.

Крюки *(фр.)*.

44

Роман Ф. Энсти (1882).

Кто там? *(нем.)*.

Салют *(фр.)*.

Екк. 4: 13.

48

Имеется в виду Энрико Дандоло (1107 или 1108–1205), избранный венецианским дожем в 85 или 86 лет.

49

Полковник Бинг, ныне лорд Вими. *(Прим. автора).*

Впоследствии сэр Нэвилл Литлтон. *(Прим. автора)*.

51

Моя военная семья (*фр.*).

52

Известный и почитаемый в английской армии того периода человек; впоследствии епископ Ноттингемский. *(Прим. автора)*.

53

Боб Акр — герой комедии Р. Б. Шеридана «Соперники», отъявленный трус, постоянно говоривший о своей храбрости.

Рядовой Робертс был награжден за этот поступок медалью «За отвагу». *(Прим. автора)*.

55

Афоризм германского и американского политического деятеля и публициста Карла Шурца (1820–1905). Полностью звучит так: «Права она или не права, это моя страна; если она права, я должен помочь ей остаться правой, если не права — помочь ей стать правой».

56

Иоанн 21: 16, 17.